
ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА

АРГЕНТИНА

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ЭНРИКЕ ЛАРРЕТА

ENRIQUE LARRETA

род. 1875

ПОД РЕДАКЦИЕЙ
Г. ЛОЗИНСКОГО



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЭНРИКЕ ЛАРРЕТА

ПОДВИГ ДОН-РАМИРО

ПЕРЕВОД К. ЖИХАРЕВОЙ С
ПРЕДИСЛОВИЯМИ Г. ЛОЗИН-
СКОГО И И. КРАЧКОВСКОГО
И С ПРИМЕЧАНИЯМИ Г. ЛО-
ЗИНСКОГО И Б. КРЖЕВСКОГО



БЕРЛИН МСМХХІІ

ПОДВИГ ДОН-РАМИРО
ИСТОРИЯ ОДНОЙ ЖИЗНИ ВРЕМЕНИ ФИЛИППА II.
LA GLORIA DE DON RAMIRO
РОМАН
1908

**КРИТИКО-БИОГРАФИЧЕСКИЙ
ОЧЕРК Г. ЛОЗИНСКОГО**

Энрике Родригес-Ларрета родился в 1875 году в г. Буэнос-Айрес. „Готский Альманах“ (изд. 1911—1916 года) сообщает, что с 29 декабря 1910 г. он состоял посланником Аргентинской республики в Париже. В более ранних выпусках „Альманаха“ его имя не встречается. Повидимому, Ларрета — новичок на дипломатическом поприще. Возможно, что назначением на пост посланника он обязан именно своей литературной славе, вернее — своему единственному роману.

В самом деле, вплоть до 1917 года Ларрета не написал ни одной книги, кроме „Подвига Дон Рамиро“. По крайней мере, в „Испано-Американском Библиографическом Архиве“ его имя упоминается только раз, в числе сотрудников журнала „Сервантес“ за 1916 год.

Ларрета начал свой роман в 1903 году и закончил 24 июля 1908 г. В том же году книга была напечатана в Мадриде. Широкую известность она приобрела лишь после того, как Реми де-Гурмон перевел ее в 1910 году на французский язык. Перед выходом в свет „La Gloire de Don Ramiro“ Реми де-Гурмон дал отрывок из своего перевода, именно описание ауто-да-фе в Толедо, помещенное в т. 85 „Mercure de France“ (1910 г., стр. 48—61). В том же томе на стр. 205 можно найти портрет Ларреты, — blanc et noir — (набросок Андре Рувера).

Вот и все, то немногое, что мы при настоящих условиях можем сообщить о личности и литературной деятельности автора „Подвига Дон Рамиро“.

Мы видим, что этот роман не случайная вещь, не очередная новинка плодовитого писателя, но продуманный, выношенный, зрелый труд. Едва ли мы ошибемся, если предположим, что роман от начала до конца написан в Испании. Американского в нем нет ничего, кроме эпилога, на наш взгляд, самой слабой его части. Авила и Толедо — вот, вероятно, те два города, которые в течение нескольких лет были источником вдохновения писателя. И мы в праве сказать, что аргентинец Э. Ларрета — один из наиболее национальных писателей Испании¹⁾.

Действительно, он с необычайной чуткостью понимает Испанию, Испанию конца XVI века, и дает, благодаря этому, образцовый во всех отношениях исторический роман.

„Подвиг Дон Рамиро“ предполагает длительную, упорную, любовную подготовку. Ларрета вошел в мировоззрение и нравы,

¹⁾ Характерно, что, по свидетельству В. Бласко-Ибаньеса („Аргентина и ее величие“, стр. 402), соотечественники ценят Ларрету, как первоклассного романиста, но не считают его национальным писателем.

быт эпохи. Портрет Филиппа II, занимающий всего две страницы, конденсирует в себе результаты целого исследования. Правда, он выходит за рамки этого отрывка (аудиенция Алонсо Бласкес-Серрано), так как незримое присутствие „державца полумира“ мы ощущаем чуть ли не на протяжении всей книги — отраженно, в мыслях и поступках действующих лиц. Сцена аудиенции является как бы кульминационным пунктом романа, который подготовляется всеми предшествующими событиями, а первая глава II части служит комментарием к ней. После этого начинается разорение Рамиро, происходит крушение честолюбивых планов близких ему людей и разыгрываются заключительные катастрофы: смерть Беатрисы и казнь Аиши. Мы едва ли впадем в преувеличение, если скажем, что в романе два героя: один на первом плане, действующий, но бессильный, другой где-то в глубине, невидимый, но более действительный, отдаленное отражение рока — Филипп II Испанский.

Факты из испанской истории, вкрапленные в основную фабулу, не кажутся присоединенными к ней искусственно, чем так часто грешат исторические романы. Невольно напрашивается сравнение метода и художественной манеры Ларреты с творчеством его современника — автора многотомных „Национальных эпизодов“, Б. Пёреса-Гальдóса. Правда, последний посвятил себя первой половине XIX века, так что некоторые его книги переходят в современный бытовой роман. Приключения героя, любовная интрига — помещаются в рамку действительных событий, и это соединение двух разнородных элементов нередко оказывается механическим, один налагается на другой, не сливаясь и не переплетаясь с ним органически. Второй элемент сводится часто к перечислению фактов, свидетелями коих были герои, чаще всего — свидетелями пассивными. Поспешность, с которой Пёрес-Гальдóс пишет свои нередко очень увлекательные книги, неизбежно сказывается на их художественных достоинствах. Иное дело Энрике Ларрета, автор одного только произведения, все обдумавший и все гармонично сочетавший.

В „Подвиге Дон Рамиро“ сталкиваются два мира, оба выпукло и ярко изображенные: один — пестрый, мавританский, другой — кастильский, мрачный, покаянный, подобие монастыря, где все подчинено строгому уставу, мир изображенный кистью Греко, мир гордых идалго Веласкеса, одетых во все черное.

Религия этих людей — религия чести¹⁾. „Честь! Смутное божество, с неясными велениями, но одно имя его уже ускорило биение сердца юноши и зажигало благородным румянцем его лицо.“ (ч. I, гл. 12).

Мысль об этом божестве преследует Рамиро. И нет такого безнравственного поступка, которого он не извинил бы, совершенно искренне, соображениями дворянской чести.

¹⁾ Идея чести в театре Лопе де-Вега обстоятельно разобрана проф. Д. К. Петровым в его книге „Очерки бытового театра Лопе де-Вега“ СПб. 1901. Но в этом исследовании речь идет преимущественно о супружеской чести.

Э. Ларрета верно схватил это противоречие, которое лежит в понятии чести и доведено у испанцев до крайних пределов.

Действительно, ни один народ не создал такого исключительного культа чести, ни один народ не знает более самоотверженных деяний, совершенных ради этого божества, и ни в одном языке не существует более полнозвучных слов для выражения требований чести, la honra (онра).

„Лучше смерть, только не бесчестие!“ таков возглас испанских рыцарей. Лучше претерпеть какие угодно невзгоды и лишения, чем поступиться заветами чести. „Раньше, чем я получу удовлетворение за понесенное зло и выйду с честью из дела, я никогда не соглашусь помириться.“ — говорит один характерный представитель кастильской знати в XIV веке Дон Хуан Мануэль. „Ведь все, что я претерпеваю в настоящее время с моими вассалами, все мои потери, все бедствия, которые выпали на мою долю, — все это ущерб или вред, но не бесчестие. И я скорее согласен претерпеть все, что угодно, только не бесчестие, так как я считаю себя одним из тех, кто готов умереть, но не быть обесчещенным.“

„Умер человек (nombre), но не умерло его доброе имя (nombre)“ — вот, что должен помнить испанец, который, подобно народному герою, графу Фернанду Гонсалесу (X век), ставит себе задачей „двигать вперед дело чести.“

„И даже смерть, — а что может быть тягостнее ее?“ — продолжает Хуан Мануэль, проза которого еще не отшлифована и в то же время так выразительна, — „должен человек претерпеть скорбь, чем испытать и претерпеть бесчестие, так как знатным людям, которые высоко себя ставят и многого стбят, надлежит умереть, но не быть обесчещенными.“

Страх бесчестия — слово, которое так настойчиво повторяется в приведенных отрывках, — неотступно сопровождает дворянина. Никому не прощает он оскорбления, и только перед королем — этим воплощением национальной идеи — опускается его мстящая рука. По отношению к законному государю — покорность, не переходящая в раболепство, которое влечет за собой унижение (omildosom, mas по omillado — другая формула того же рыцаря-писателя¹⁾).

Но в этом ограничении законов чести законом верности таится зародыш разложения. Не признающее запретов чувство чести ищет выхода, если оно уязвлено монархом, и находит выход в бунте, восстании. Оскорбленный идалго идет еще дальше: не располагая достаточными силами, чтобы отомстить королю-обидчику, он забывает о своей обязанности вредить врагам Креста, обращается за помощью к неверным, к маврам, и вступает с ними в союз против своего законного повелителя.

Но опасность заключается не только в возможности измены. Чтобы с достоинством носить звание идалго, необходима материаль-

¹⁾ Вопрос об отношении подданного к оскорбившему его монарху разбирается в испанской драме у Рохас-Соррилья: „Ниже короля — никто.“ (Del rey abajo ninguno.)

ная обеспеченность, позволяющая воспитать в себе чувство чести и довести его до самопожертвования, до отречения от всех земных благ и удобств. Щедрость — одно из необходимых качеств дворянина. Презрение к мирским благам, ради возвышенной идеи — тоже. И нас не удивляют речи могущественного графа Фернана Гонсалеса, имя которого уже упоминалось.

„Друзья“, отвечал он своим вассалам, когда, изнуренные военными трудами и лишениями, они просили у него передышки и ему самому советовали полечить раны, прежде чем предпринять новый поход: „друзья, не станем отказываться от этого дела ради наших ран, так как новые раны, которые нас ожидают, заставят нас позабыть те, что нам нанесены были в прошлую битву!“ — так как Фернан Гонсалес „больше болел душой за свою честь, чем за тело.“

Но неуклонно проводить подобные идеи могли только верхи испанского дворянства. Между тем, число дворян росло непомерно. Богатство их падало, а законы касты не позволяли прибегать к унизительному труду. Для идадьго приемлемы были только военное дело, управление собственными поместьями, служба при дворе короля или какого-нибудь вельможи. На наш взгляд, многие особенности этой службы не уживаются, если не с понятием чести, то, по крайней мере, с чувством самолюбия. Но соотечественники Рамиро заставляли себя думать иначе.

Сам Рамиро, очутившись в Толедо без денег, поступает на службу к графу де-Фуэнсалида. „Он должен был приносить таз для мытья рук, полотенца и лимон, когда граф изволил вставать, и держать перед ним таз, преклонив, согласно церемониалу, одно колено,“ и исполнять другие, еще менее возвышенные обязанности. „Но Рамиро знал, что служба у такого могущественного и высокородового вельможи скорее является честью, нежели бесчестьем, и согласился.“ (Часть III, гл. 2.)

Решение Рамиро несколько не противоречит идеологии людей его класса, именно тех его представителей, к которым судьба не была благосклонна. Тип „обедневшего идадьго“ часто попадает в испанской литературе, и наиболее ярко он изображен в небольшой повести середины XVI века „Жизнь Ласарильо с Тормеса“¹⁾.

„Идадьго никому ничем не обязан, кроме как Богу и королю,“ гордо проповедует дворянин, вторя словам племянника кастильского короля, Хуана Мануэля. Только королю простит он пренебрежительный тон, недостаточно почтительные слова приветствия.

Но и этот гордый испанец считает приемлемым для себя поступить в услужение к титулованному господину, хотя бы ему пришлось сносить его скудость: жизнь во дворцах представляет много заманчивого для честолюбивого человека — сходными со-

¹⁾ Русский перевод И. Гливенко „Лазарильо из Тормесь, и его удачи и неудачи“, СПб., 1897. Цитирую по своему переводу, напечатанному в 1913 году в „Вестнике Иностранной Литературы“, несколько исправляя его: „Лазарь с Тормеса, его бѣдствія и злключенія“, или „Лазарь-Поводыр“.

ображениями руководился и Рамиро, становясь пажом графа де-Фуэнсалида.

Правда, этой „высокомерной ленью“, приводящей к последствиям столь неожиданным для ценящего свою независимость дворянина, охвачены не только представители высшего сословия: простой солдат Медрано чувствует „отвращение ко всякому ручному труду“ и только службу в качестве пажа считает достойной своего прошлого.

Записки иностранцев, посетивших Испанию в XVI и XVII веках, а также сочинения самих кастильцев полны указаний на эту особенность национального характера. „Испанцы до такой степени презирают труд, что большая часть ремесленников у них иноземцы.“ „Они полагают, что работать и заботиться о будущем — оскорбительно для достоинства испанца.“ „Они готовы скорее сносить голод и другие лишения, чем работать, как наемники или невольники, — так говорят они.“ „Второй порок испанцев, — пишет в 1543 г. Аলেখо Венегас, — заключается в том, что только в Испании ручной труд почитается за бесчестье; отсюда — множество тунеядцев и дурных женщин; не говорю уже о прочих пороках, которые сопровождают праздность.“

Привычка пользоваться трудом невольников и морисков, укрепившаяся в Испанцах всех классов, начиная со средних веков, а также легкие способы обогащения, связанные с военной службой, особенно в Новом Свете, способствовали развитию в них „высокомерной лени.“

Но, если обнищание — естественное следствие такого мировоззрения, то разорившийся идальго не только вынужден сносить все тягости нищеты, — он переживает одновременно величайшую трагедию. Он безмолвно терпит все лишения, пока голод не хватает его за горло. И тогда он часто идет на сделку с совестью дворянина. Так и Рамиро крепится до последней минуты. Он уже на пороге разорения, но на требование университетских властей представить доказательства чистоты своей крови он отзывается так: „В первую минуту я хотел было послать попоны своих мулов, для ознакомления с нашими гербами.“ (Часть I, гл. 29). Высокомерный ответ, на который он в сущности не имеет права. Сохранить родовой дом, хотя бы совершенно пустой, затем — хотя бы портреты предков, — вот на что рассчитывает Рамиро, лишь бы соблюсти внешность идальго. „Скорее просить милостыню по дорогам, скорее изглодать себе пальцы, чем продать, за какие-то жалкие монеты, эти изображения, с которыми он никогда не расстанется, чтобы они охраняли его будущее и при каждом случае, вблизи и вдали, напоминали ему об образцах чести и набожности.“ (Часть II, гл. 5). Когда же это ему не удастся, он, виновный перед Богом в гнусном предательстве, бежит в Толедо, где вновь обретает свою гордость, позволяющую ему в безделии проводить время. Но деньги у него опять на исходе, и он задумывается над вопросом, стать ли ему разбойником или отшельником.

Кажущееся на первый взгляд невероятным падение человека, продолжающего считать непопороченной свою дворянскую честь,

ни мало не противоречит тому, что мы знаем об испанцах XVI, XVII и XVIII веков.

Так Диего Торрес Вильярроэль, впоследствии профессор математики в Саламанке (с 1751 года), тяготясь в молодости обстановкой родительского дома и будучи лишен возможности принимать участие в студенческих проделках, как-то: похищать у ректора и профессоров с'естные припасы, проводить ночи на-пролет с подонками общества, — бежит в Португалию и по дороге встречает отшельника, который и принимает его к себе в скит. Этот бывший сборщик податей проводил время „без особых трудов и среди приятных развлечений“. Наконец, и это безмятежное житие надоедает будущему профессору, он уходит из скита, разыгрывает из себя то шарлатана, то учителя танцев, затем поступает на военную службу, дезертирует и возвращается под родительскую кровлю.

Похождения подобного рода сближают человека хорошей семьи с простолюдными, которые из отвращения к труду, ищут всевозможных приключений, не признавая никаких законов, без конца меняя профессии. Это — *pisagos*, плуты, термин, свойственный только Испании, так как именно там этот тип получил особенно широкое распространение. Литература XVII века наполнена рассказами о похождениях этих героев бытового романа. К породе *pisagos* принадлежит и Пабильос, слуга Рамиро.

Но и сам Рамиро, как мы можем убедиться, постепенно спускается до этого уровня. Сбросив ливрею пажка, он превращается в отшельника-тунеядца; он не сделался разбойником, а выбрал именно эту профессию совершенно случайно и вслед за тем, как и Торрес Вильярроэль, поступает на военную службу. Разбойником же он становится в Америке!

Но этому периоду жизни Рамиро предшествует период борьбы и колебаний, когда он желает вести образ жизни, подобающий его имени, а средств у него не хватает. Здесь Рамиро воплощает тип „обедневшего идалго“ из „Ласарильо с Тормеса“.

Связь между повестью, приписываемой Диего Уртадо-де-Мендоса, и романом несомненна. Ларрета использовал ее в той же мере, в какой он вообще применил свое знакомство с эпохой. Обращу внимание на одну мелкую подробность, показывающую, что Ларрета имел в виду третью главу „Ласарильо“.

В главе 5-ой II части Рамиро впервые встречает Пабильоса. „Рамиро спросил:

— Мальчик, ты ищешь службы? — (*Muchacho, buscas amo?*)“

И точно такой же вопрос (*Muchacho, buscas amo?*) задает маленькому Ласарильо его третий хозяин, обедневший дворянин, встретив его на улицах Толедо.

Но не этим одним штрихом ограничивается сходство. Рамиро II части во многих отношениях списан с „*escudero pobre*“.

Новый хозяин тоже терпит муки голода, но, как Рамиро, старается не подавать об этом виду.

Он не кормит своего пажка, утешая его нравоучительными рассуждениями. Но изголодавшийся мальчик вытаскивает из-за пазухи принесенные им с собою куски хлеба.

„Он увидел это и сказал:

— Поди сюда, мальчик. Что ты там ешь? — Я подошел и показал ему хлеб. Он взял один из трех кусков, самый большой и хороший, и сказал:

— Клянусь жизнью, вот добрый хлеб. Где ты достал его? Чистыми ли руками его месили? —

— Этого я не знаю, — сказал я, — но меня не тошнит от его вкуса.

— На все Божья воля, — сказал мой бедный хозяин и, поднеся хлеб ко рту, стал так же стремительно отгрызать от него огромные куски, как и я от своей краюхи. — Очень вкусный хлеб, — сказал он, — ей-Богу!

А я, заметив, на какую ногу он хромает, заторопился, сразу сообразив, что он готов помочь мне с'есть и остальные куски хлеба, если ему удастся кончить раньше меня: и вышло так, что мы кончили одновременно.“

Точно так же он рассуждает, когда Ласарильо добывает себе пропитание Христа ради.

„... Украдкой я поглядывал на своего несчастного господина, не отводившего глаз от моей куртки, полы которой служили мне тарелкой... Как только я начал есть, он стал расхаживать по комнате. И вот, он подошел ко мне и сказал:

— Уверю тебя, Ласаро, ты ешь очень привлекательно: я еще не видал никогда в жизни, чтобы так ели; даже у кого нет аппетита, и тот почувствует голод, глядя, как ты уписываешь.

— Ей-Богу, мне это понравилось, как-будто у меня сегодня ничего во рту не было,“ — заканчивает свой завтрак изголодавшийся дворянин, перед тем уверявший мальчика, что, не дождавшись его, уже пообедал один.

Точно такие муки голода испытывает и Рамиро. Но внешне он невозмутимо спокоен.

„Рамиро размышляет. Две глубоких морщины залегли между его бровями. Лицо осунулось, лоб стал еще бледнее, орлиный нос обрисовывается резче; но весь его облик по-прежнему величав и пышен. Красивая цепь блестит на камзоле из черного горгорана. Золотые шпоры позванивают на каблуках.

— Три часа, — проговорил он, — а паж все не несет обеда.

Он вспомнил, что не мог дать ему денег, так как истратил все содержимое своего кошелька на покупку бриллиантового украшения для Беатрисы.

Накануне он лег спать, за весь день не проглотив ни кусочка хлеба, а за два предыдущих дня, — если бы не ветчина и капуста, принесенные Касильдой... .

Еще день без пищи! Он принесет эту эпитимию воздержания в дар Господу. Голод свят.“ (Часть II, гл. 5.)

Когда Пабильос приносит похищенные им припасы, Рамиро ест „с достоинством, не позволяя своему лицу выражать низменную

радость желудка.“ О достоинстве своем заботится и хозяин Ласарильо.

„— Ты поступаешь, как честный малый, так как лучше просить Христа ради, чем красть . . . Только одно я тебе ставлю на вид: пусть никто не знает, что ты живешь у меня, так как это затрагивает мою честь. —

А что касается до его злосчастной, так называемой, чести, — рассказывает Ласарильо, — то он брал в рот соломинку . . . и выходил на улицу, ковыряя ею в зубах, т. е. там, где ничего не было.“

Быть чисто одетым — главная забота идадьго. Образ Рамиро, мертвенно-бледного Рамиро, в черной епанче, приподнятой концом шпаги, с черным пером на шляпе и с золотыми шпорами — преследует Беатрису.

Так же старается держаться хозяин Ласарильо.

„Он вложил шпагу обратно (в ножны) и опоясался ею, затем подвесил к кушаку четки из крупных зерен и, держась прямо и производя всем телом и головою бесконечное множество движений, то отбрасывая полу епанчи на плечо, то придерживая ее под рукою, то подбочениваясь, он спокойным шагом вышел из двери.

Бедняжка уходил по утрам со своей благородной осанкой и, размеренно шагая по улицам, питался воздухом, а злосчастный Ласаро должен был заботиться о том, чтобы накормить его более существенным образом.“

„Особенно жестоко — говорит Ларрета (Часть II, гл. 1) — нужда давала себя чувствовать безземельным дворянам, которым древность и знатность рода не позволяла пачкать руки каким-нибудь ремеслом или службой. Не один из них питался крохами, украденными его пажом, и с величавой грустью вдыхал на ходу, под плащом, вкусный запах паштетных. Студент, чтоб прожить, усваивал собачьи уловки. Его проворные ноги сделались грозой торговцев. . .“

Кроме этих отдельных падений, на душе Рамиро лежит грех непростительный — клятвопреступление. Для испанца данное слово свято. Слово самоценно, оно даже выше клятвы, как говорит герой одной поэмы Соррилья, современник Дон Рамиро:

Поклянись мне, — требует его невеста, — что, вернувшись с похода, ты женишься на мне.

— Я уже дал тебе слово, — отвечает тот, — и никакая клятва не будет действительнее моего слова. И затем — забывает о своем обещании.

Мы не слышим от Рамиро такого горделивого ответа, когда мориск берет с него клятву, что он не предаст Аишу. Но и честное слово и клятва одинаково легко забываются им под влиянием хитро-построенных рассуждений Варгас-Ороско.

Католическая церковь не знает препятствий в борьбе с врагами истинной веры. И на этой неравной борьбе могущественной церковной власти, опирающейся на всю силу власти светской, с насильно

обращенными в христианство мусульманами построена другая часть романа Ларрета.

Это, действительно, трагическое противоположение двух миров — „все было загадка, тайна, иные люди, иной мир,“ — создает высокооблагороженную картину жизни гонимых морисков. Там и горячая вера, приводящая на костер, и поэзия религии, и самоотверженная любовь к дорогому человеку и к соплеменникам, любовь обреченных, в неравной битве венчающих свои головы цветами в знак готовности погибнуть за святое дело. На другой стороне — слепая преданность своей религии, не различающая, где чрезмерное рвение переходит в отрицание заветов христианства, где кончается область веры и начинается область политики и полицейского сыска, религия Варгас-Ороско и людей его круга, сочетающая мистические порывы и преклонение перед Святой Тересой с черствой ненавистью к людям другой веры.

Все симпатии автора — хотя и без малейшего подчеркивания — на стороне соплеменников Аиши. О знакомстве Энрике Ларреты с миром Ислама ниже высказывается более компетентное суждение. Я же ограничусь указанием на то, что наш роман стоит особняком в ряду испанских литературных произведений, переносящих действие в среду мавров или морисков. Вся литературная история вопроса еще раз подтверждает, до какой степени чужды друг другу были всегда эти два мира.

Подход испанских писателей к теме неизменно поверхностен. Если они и обнаруживают желание проникнуть в психику, верования мавров, то попытки эти неизменно оканчиваются неудачей. Писатели ограничиваются внешностью, порою мишурною внешностью, и поэтому мусульманская жизнь оказывается не просто идеализированною, но изображается односторонне, одномерно, с утратою всякой национальной окраски.

Для испанцев мавры, в сущности, были легко-доступной экзотикой. Вместо того, чтобы удовлетворять свой вкус к необычному фантастическими приключениями героев рыцарских романов, они могли черпать новый и в то же время доступный читателю материал у себя поблизости, из быта соседей-врагов, мавров, а после 1492 года у подчинившихся кастильским королям морисков.

Рядняя испанская литература интересуется маврами, главным образом, в „романсах“, в которых описываются эпизоды из пограничных стычек мусульман с христианами, или рассказываются моменты жизни какого-либо мавританского воина¹⁾. Особенно большое число их группируется вокруг последних годов существования независимой Гранады. Постепенный и неизбежный упадок ее могущества породил несколько прочувствованных поэм, напр., те, что посвящены судьбе последнего властителя Гранады,

1) Мавры появляются и значительно раньше, напр., в поэме о Сиде (XII в.), в сборниках новелл, но это отдельные случаи, а автор поэмы о Сиде не ставит себе задачей верно воссоздать психику противников „Кампеадора“.

Боабдила. В романах нередко упоминаются представители знатного мавританского рода Абенсерраджей (Абенсеррахов), игравшие видную роль в политической и военной истории города. В своей деятельности они постоянно сталкивались с враждебными им родами и партиями. Наконец, в результате разных интриг, они навлекли на себя немилость Боабдила, который предал жестокой казни большое число Абенсерраджей. Истории их посвящен первый испанский роман из мавританской жизни „Гражданские усобицы Гранады“, написанный Хинесом Пéрес-де-Ита (издан в 1595 году). Он дает картину общественной жизни Гранады накануне ее падения. Мы присутствуем при непрерывных празднествах, турнирах, боях быков, поединках с испанскими рыцарями, в которых соперники стараются превзойти друг друга не только в отваге, но и в благородстве; при любовных интригах, влекущих за собою столкновения враждующих семейств и при пышно обставленных бракосочетаниях счастливых любовников.

Но во всей этой однообразной картине — однообразной, как по изложению постоянно повторяющихся фактов, так и по описанию характеров — мы тщетно ищем специфически-мавританских моментов. Мавры Гранады те же испанские *caballeros*; их дамы не отличаются от тех красавиц, ради которых кастильские рыцари ломают копыя на турнирах. И те и другие проводят время совершенно одинаково, в одинаковых развлечениях, схватках, романических похождениях. Народные массы не принимают участия в романе. Психика действующих лиц крайне примитивна. Ислам как бы не существует. Действующие лица словно торопятся как можно скорее принять христианство: наивный прием автора, желающего доказать превосходство своей религии над верованиями, которые ему совершенно чужды. Отрекаются от своей веры одна из жен Боабдила и прекрасная Галиана и весь род Абенсерраджей, примеру которых следуют другие знатные мавры. Внутренней борьбы мы при этом не видим никакой: в решении креститься главную роль играет оскорбленное самолюбие или просто указанное только что наивное желание автора.

Такое сведение мавританского элемента к нескольким чисто внешним признакам — именам, костюмам, — к банальной любовной интриге, обычно сопровождающейся переходом героев в христианскую веру — под *заавес* — можно сказать, обязательно для испанской литературы. Например, популярный рассказ об „Осмине и Даррахе“, вставленный в первую часть известного „плутовского“ романа „Гусман де-Альфарраче“ (1599 г.), современника Сервантеса, Матео Алемана. Осмин подвергает свою жизнь опасностям, чтобы служить прекрасной Даррахе, пленнице испанского короля. Роман кончается благополучно для влюбленных, с переходом их самих и их родителей в христианство.

Особенно посчастливилось мавру Абиндarráесу, похождения которого рассказывает мальчику Рамиро его дядька Медрано.

В „Гражданских усобицах Гранады“ этот представитель рода Абенсерраджей влюблен в прекрасную Шарифу и играет второстепенную роль. Вместе со своими сородичами он принимает

христианскую веру и переходит на сторону испанцев. Имя его, равно как и имя его возлюбленной, Хинес Пéрес-де-Ита заимствовало из „Истории Абиндarraésа и Шарифы“, которая помещена в сочинении некоего Антонио де-Вильегас, озаглавленном „Inventario“ (1565 г.) и, повидимому, основана на более древней литературной традиции. Рассказ Вильегаса был внесен с некоторыми изменениями в посмертное (1561 г.) издание знаменитого пастушеского романа „Диана“, написанного по-испански португальцем Жоржем де-Монтемайор (4-ая книга), и вдохновил многочисленных поэтов, в том числе Лопе де-Вега, обработавшего этот сюжет в комедии „Спасение в несчастье“ („El remedio en la desdicha“). Суть дела заключается в том, что Абиндarraés, — один из немногих избежавших смерти потомков Абенсерраджей, — пробираясь на тайное свидание к Шарифе, попадает в плен к алькайду крепости Алора, Родриго де-Нарваэс. Узнав о цели путешествия храброго мавра, Родриго отпускает пленника на честное слово под тем условием, что он вернется через два дня, повидав Шарифу. Абиндarraés сдерживает слово, но Шарифа не желает отпустить его одного, и в назначенный день влюбленные вместе являются к Родриго. Пораженный их благородством, испанец возвращает им свободу, не требуя никакого выкупа.

Ряд романсов воспевает любовь Абиндarraésа и великодушные кастильского алькайда; напр., бесконечный „Романс о прекрасной Шарифе“ в „Розе Любви“ Хуана Тимонеды (1573 г.), или более поздний, вставленный Лопе де-Вега в его автобиографическую пьесу „Доротеа“. И, наконец, имя Абенсерраджей вошло в мировую литературу, благодаря Шатобриану. Но повесть о последнем представителе этого рода не совпадает с рассказом о бескорыстном поступке Родриго де-Нарваэс, разве только в изображении безупречно рыцарского характера действующих лиц. Таким образом, „Последний Абенсерраж“ является одним из замечательных произведений в длинном ряду мавританских сюжетов, которые, благодаря успеху испанского театра и популярности по ту и по сю сторону Пиреней „Гражданских усобиц Гранады“, из Испании проникли во Францию, и нашли здесь почитателей и подражателей в лице м-ль де-Скюдери, мадам де-Лафайет, Флориана и других. Все это направление — если не считать повести Шатобриана — построено на той поверхностной идеализации мавров, о которой мы говорили, и которая тесно связана с глубоким непониманием и незнанием мусульманского мира.

Эдрик Ларрета не имеет ничего общего с „мавританской“ традицией Лопе де-Вега и его преемников, ни с манерой ложномавританского театра XVIII и XIX столетий (Моратин старший, Артценбуш, Мартинес де-ла-Роса); он выступил, как совершенно оригинальный художник, на основании серьезного изучения предмета или путем гениальной интуиции воссоздавший мир гонимого Ислама в эпоху Филиппа II.

Предшествующее изложение имело целью показать на нескольких примерах, насколько верно схвачен и выдержан истори-

ческий, бытовой и психологический фон романа, и что нового внес Эврике Ларрета в испанскую литературу. Если же мы обратимся к композиции „Истории одной жизни“, то должны будем констатировать чрезвычайную насыщенность романа содержанием, его многосторонность и разнообразие, а это само по себе усложняло задачу писателя, так как автор рисковал увлечься эффектными положениями и ради них принести в жертву историческую и художественную правду.

В романе несколько убийств, ауто-да-фе, романтические похождения героя, которые при другом отношении к делу легко могли бы превратить „Подвиг Дон Рамиро“ в банальный роман приключений. Ларрета с большим искусством обошел эту опасность.

Конечно, центральное место в романе занимает эпизод Рамиро с Аишей. Но, ничуть не совпадая с первым, не повторяя его, не теряясь из-за него в тени, развивается роман с Беатрисой. Здесь другие краски, другой тон, другие приемы, видоизменяющиеся в зависимости от хода событий. И, наконец, третий любовный мотив — это робкая, самозабвенная и немая любовь Касильды к не желающему снизойти до нее идалго.

Но, помимо этих трех романтических интриг, сколько еще содержания вложено в небольшой томик романа: история рождения Рамиро, политическая деятельность его близких, столь разнообразная у каноника Варгас-Ороска, у дон Диего, у Бласкеса-Серрано. Длинная галерея типов — испанцев и морисков, — при чем самые незначительные действующие лица очерчены с такой определенностью и выступают перед нами так выпукло и ярко, что ни одного из них нельзя смешать с другим лицом в романе. Массовые сцены полны жизни: в мавританской таверне, на улицах Авилы, ауто-да-фе в Толедо. Ларрета достигает нужного ему эффекта при помощи минимума слов и образов. Но фразы его до конца продуманы, в них нет ничего недосказанного, ничего лишнего. Его язык, чеканная кастильская проза, чрезвычайно чуток к постоянно меняющемуся тону романа. Нежно-лиричный и проникнутый религиозным воодушевлением в сценах с Аишей, жеманный и цветистый, когда действие переносится в гостиную Беатрисы, вкрадчивый в речах каноника, горделивый, когда дело касается чести предков Рамиро, язык Ларреты изобилует меткими, небанальными образами.

Окрестности Авилы: „Пейзаж сурового, сухого, каменного колорита, ослепительно отражавший солнце. Пейзаж холодный и спокойный, как душа монаха“. (Часть I, гл. 1).

„Дерзость этого человека напоминала одиноко возвышавшуюся зубчатую башню.“ (Часть I, гл. 21.)

Наибольшей выразительности язык Ларреты достигает в местах патетических: напр., в главе 4-ой II части предсмертное признание дон Иньиго; Аиша на костре:

„Когда первые почти невидимые языки пламени лизнули ей ступни, Аиша подняла глаза к небу и устремила взор на тонкий серп месяца, слабо мерцавший над городом среди золотых облаков.“ (Часть III, гл. 3.)

Без малейшего подчеркивания, одной, на первый взгляд незначущей деталью, автор еще раз раскрывает всю душевную сущность мученицы за веру.

Некоторые места производят сильное впечатление своей неожиданностью: например, смерть Беатрисы (часть II, гл. 7), или переход в рассказе о том, как Рамиро пробирается на собрание морисков.

Глава 17-ая части I, конец:

„Он направился к комнате омовений, шпагой ощупывая мрак.“

Глава 18-ая неожиданно начинается:

„Рана была большая и круглая, словно от удара рогом и т. д.“ и рассказ прерывается, чтобы быть возобновленным в форме постепенных припоминаний выздоравливающего Рамиро.

Отметим, наконец, что для знающих арабский язык некоторые обстоятельства романа утрачивают свою загадочность гораздо раньше, чем для большинства читателей и для самого Рамиро: на этой тайне, ключ к которой дан тут же, зиждется один из эффектов книги.

Г. Лозинский.

Наша статья была уже сдана в печать, когда мы получили из очень компетентного источника несколько дополнительных сведений об Энрике Ларрете. Приносим искреннюю благодарность автору заметки, пожелавшему остаться неизвестным.

„Блестяще окончив курс университета в Буэнос-Айресе по юридическому факультету, Энрике Родригес-Ларрета защитил диссертацию на степень доктора. Уже в ранней молодости он занялся политической деятельностью. В Национальном конгрессе, депутатом которого он неоднократно избирался, он обратил на себя внимание своими глубокими познаниями в области международной политики. За пять лет своего пребывания на посту Чрезвычайного и Полномочного Посланника Аргентинской республики в Париже он завоевал живейшую симпатию в ученых и литературных кругах Франции, благодаря своей всесторонней образованности и тонкому художественному вкусу. Г. Родригес-Ларрета, исполнявший свои высокие обязанности с исключительным тактом и достоинством, покинул дипломатическую карьеру в 1917 году, чтобы всецело отдаться литературе, которую он любит превыше всего.“

Г. Лозинский.

**„ПОДВИГ ДОН РАМИРО“ И АРАБСКАЯ
СТАРИНА**

На одну сторону романа хотелось бы обратить особое внимание: на пронизывающий некоторые главы его отсвет былого величия и мощи арабского духа, царившего в Испании с VIII века и еще в XVI с прежним очарованием влекущего к себе души морисков, для которых „все в прошлом“. О политическом могуществе арабов, конечно, не может быть речи: „реконкиста“ Испании кончилась, и не даром с падением Гранады в 1492 году народная легенда проникновенно связала „последний вздох мавра“, окинувшего прощальным взором свою былую столицу, которую пришлось ему покинуть для Африки — близкой по кровным связям, но чуждой по духу. И несмотря на падение последнего оплота давнего могущества, в том же веке ученый монах из арабов Педро де Алькала должен писать „Искусство легко изучить арабский язык“¹⁾, так как у его соплеменников он в большом почете, чем хотелось бы католической церкви.

Стойкость языка со всей литературой так же поражает теперь, как бурное и стремительное распространение его в IX веке, когда Альваро, епископ кордовский, обрушивался с негодующими филиппиками на своих единоверцев:

„Многие из моих единоверцев читают стихи и сказки арабов, изучают писания мухаммеданских философов и богословов не для того, чтобы их опровергать, а чтобы научиться, как выражаться по-арабски с большей правильностью и изяществом. Где теперь найдется хоть один, кто умеет читать латинские комментарии на священное писание? Кто среди них изучает Евангелие, пророков и апостолов? Увы! Все христианские юноши, известные своимиспособностями, знают только язык и литературу арабов, читают и ревностно изучают арабские книги, с затратой громадных денег составляют из них большие библиотеки и, кроме того, громко провозглашают, насколько заслуживает изумления эта литература. Если им говорят о христианских книгах, они с презрением отвечают, что эти книги не заслуживают внимания. О горе! христиане забыли даже свой язык, и едва ли найдется на тысячу один, который сумел бы написать приятелю сносное латинское письмо. Наоборот, бесчисленны те, которые умеют выражаться по-арабски особенно элегантно и составляют стихи на этом языке с большей красотой и искусством, чем сами арабы.“

Язык живет еще и теперь, но давно уже завял и погиб другой цветок мавританской культуры, который пышно расцвел по земле, создавшей теперь инквизицию, — широкая духовная терпимость к инако верующим и инако мыслящим. Далеким легендой прозвучали бы для XVI века рассказы про византийского монаха Николая, кото-

1) Arte para legeramente saber la lengua arabiga. Granada 1505.

рый вместе с любимцем халифа Абдурахмана III, евреем Хасдаем-ибн-Шапрутом, готовил арабскую обработку фармакологии Диаскорида. Фанатизм распространился и на книги: те костры, на которых дед дона Рамиро жег случайно уцелевшие рукописи мавров (глава 2), только слабые отблески грандиозного ауто-да-фе, устроенного кардиналом Хименесом; христиане Испании в этом могли бы видеть достойное отмщение Омару за сожжение александрийской библиотеки, если бы последняя легенда была историческим фактом. Повторение такого ауто-да-фе пришлось бы верно по душе и канонику Варгас-Ороско, воспитывающему дону Рамиро.

До глубоких низов по обоим направлениям проникает этот фанатизм: пафосом псалма, обращенного к „дщери Вавилона окаянной“ звучат речи нищей старухи мориски, бросающей с презрением милостыню, поданную ей христианином (глава 10). Но в своем кругу мориски не вешают лиры на пальмовых ветвях: она продолжает звучать далекими песнями прародины. Порой действительность слишком сурова: не надо забывать, что роман почти захватывает эпоху открытого восстания морисков 1568—1570 гг., доведенных до полного отчаяния политикой Филиппа II; не надо забывать, что около 100 тысяч их вслед за этим были изгнаны из пределов Испании. Но и такая тяжелая действительность не мешает им вспоминать (глава 15) историю Марии, матери Иисусовой, трогательно полюбленную в Коране (сура 19); рядом с ней автор в тонком проникновении воссоздает (глава 16) одну оду в честь Мухаммеда, ярко рисующую стиль мусульманской духовной поэзии. Сопоставление не случайно.

На высшей ступени экстаза, навеянного на Аншу мистическим трактатом философа Ибн-Туфейля (в испанской передаче Абентофайль), герой романа справедливо видит те же черты, которые проникают подвиги св. Тересы (глава 15). Так, даже в моменты резких разделений, создаваемых самими людьми и в области веры и в области национальных различий, живой и человеческий дух находит сферу, где он может возвышаться до конечных пределов единой человечности, в которых сглаживаются всякие различия между эллином и иудеем, угнетенным и поработителем.

Трактат философа Ибн-Туфейля, который играет такую роль в этой главе, уцелел до наших дней. Выдающийся представитель мусульманской Испании (ум. 1185 г.), составляющий вместе с Авенпазе (Ибн-Бадже) и Аверроэсом (Ибн-Рощдом) знаменитую триаду философов, он старается доказать в этом трактате, что высшее познание может быть достигнуто не только путем изучения философских систем, но и непосредственным наблюдением над природой. Истины, достигаемые на высших „стоянках“ экстаза при интуитивном восприятии, те же самые, что открываются в догматических истинах религии, облеченных для усвоения их незрелыми умами в аллегорическую форму. У европейских исследователей трактат заслужил название психологического романа или новеллы: с большим литературным дарованием в нем развернута история „philosophia autodidacti“ заброшенного на необитаемый остров младенца, который единственно своими усилиями доходит до победы над природой, познания высших духовных истин и непосредственного созерцания необходимо сущего бытия. Ренан, в

котором часто художник одерживал верх над ученым, быть может, с некоторым увлечением называет это создание „едва ли не единственным памятником восточной философии, имеющим абсолютное, а не только историческое значение“¹⁾. В духовной жизни арабов он играл, во всяком случае, более длительную роль, чем можно думать по указаниям источников; художественное провидение Laretta оказывается здесь, повидимому, более близким к действительности, чем покорный агностицизм ученых. Одна такая деталь с полной ясностью показывает, что „Подвиг Дон Рамиро“ не имеет ничего общего с теми экзотическими произведениями, где восток привлекается лишь для бутафории, для археологического реквизита. Возможно, что и здесь нельзя было бы найти полной исторической правды; в обрисовке Аишы и старого мавра, отца Дон Рамиро, чувствуется идеализация. Есть она и в ярких картинах всей обстановки жизни морисков, но едва ли за это следует серьезно осуждать автора.

В творчестве писателя нельзя искать исторической правды; его цель — художественная правдоподобность пред судом искусства. При такой постановке вопроса и придиричивый критик-историк найдет, вероятно, не много промахов в „Подвиге Дон Рамиро“.

И. Крачковский.

¹⁾ Перевод этого произведения подготовлен к печати в издании „Всемирной литературы“.

ПОДВИГ ДОН РАМИРО
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I.

Рамиро часто засиживался по вечерам в верхнем этаже башни, слушая рассказы и разговоры женщин.

Там кончалась чопорность барского дома. Там пели песни и смеялись. Там, в теплые дни, вольный воздух широкими струями вливался в окна и приносил слабый аромат костров с полей, глухой шум мельниц и сукновален, расположенных по берегам Адахи.

Как радовался ребенок, что может побыть вдали от угрюмого лица деда и безмолвных зал старого дома, где обыкновенно даже днем зажигали лампы и канделябры! Не видеть этих зал, оживляемых только фигурами на обоях; мрачных, туманных от дыма курильниц гостиных, по которым мать его, одетая всегда в монашескую рясу, проходила, как тень.

Служанки очень его любили. Они с почтительной нежностью смотрели на грустного, хорошенького мальчика, еще не достигшего двенадцати лет, но, казалось, уже носившего на челе печать непонятной заботы. Все наперебой старались угодить ему и побаловать его.

За работой, под жужжание веретен, говорили о простых, понятных ему вещах, и почти всегда, в сумерки, рассказывали сказки. Старые сказки, не знавшие времени и неведомо где родившиеся. Одни — мрачные, другие — полные волшебства и очарованья. Предания о зарытых кладях, о колдунах, принцессах, отшельниках. Одна старая рабыня с клеймом на лбу знала много рассказов о привидениях. Рамиро слушал их с особым вниманием, с каждым разом все жаднее ловя новые страхи и тайны.

Обширная комната занимала почти весь этаж башни. Бревна еще не утратили блеска своей старинной окраски, и бордюр из дворянских гербов, тянувшийся по верхнему карнизу четырех стен, сверкал нетронутым багрянцем и зеленью. В самом темном углу дремал старый сло-

манный ткацкий станок. Никто не подумал починить его, и он стоял, источенный червями и затянутый паутиной, а в деревянной рамке его еще уцелели нити тонкой тафты, начатой, быть может, в прошлое царствование.

В толще стен окна образовали глубокие ниши с несколькими каменными уступами. Рамиро, обыкновенно, садился на такой уступ и долгими часами смотрел наружу, облокотясь на амбразуру.

Из того окна, что выходило на северо-восток, был виден почти весь город. С этой высоты Авила Святых, сбегавшая вниз к Адахе и тесно опоясанная красной, с башнями, стеной, напоминала скорее огромный горный замок, чем город. Мальчик видел домовые службы и внутренние дворики, монастырские постройки, обнесенные оградой черепичные кровли церквей. Невдалеке, на самом возвышенном месте, вздымалась зубчатая, серая, похожая на крепостную башню, колокольня собора.

Из другого окна открывался грандиозный вид: Валье-Амблес, — вся равнина, пастбища, река, горы. Растительность была скудная, только по берегам рек тянулись зеленые заросли дерев. Редкие, издали казавшиеся черными, каменные дубы едва выделялись на каменистых холмах. Пейзаж сурового, сухого, каменного колорита, ослепительно отражавший солнце. Пейзаж холодный и спокойный, как душа монаха.

Местами, яркие блики света меж ясеней и ракиот отмечали течение Адахи, раскинувшейся по песку, как осыпающийся серебряный галун. Задний план замыкали высокие, в снежных шапках, пики Авиланского хребта. Порой, из-за Серроты или Сапатеро, поднимались клубы облаков, похожие на пар огромного котла; они бросали черные тени на горные иглы и одевали склоны гор длинными горизонтальными полосами пушистой шерсти.

В этот вечер женщины чинили церковные облачения. Сидя на кружках из плетеной орешной травы, они расстилали по полу старинные покровы и пелены, заменяли выцветшую золотую канитель свежей, возобновляли отрепавшиеся гирлянды, священные символы, лики святых, а порой и мусульманский стих, украдкой вкрапленный в

ткань рабочим-мориском¹⁾. Это была богоугодная работа. Ризы и пелены принадлежали монастырям, и монахи уверяли, будто каждый стежок засчитывается у Бога за целый перебор четок.

Тут были готические бархаты, ломавшиеся угловатыми складками, были тонкие и твердые, как картон, бархаты времен Исабеллы и Фердинанда²⁾, с четкими линиями, обрисовывавшими тонкий контур гранаты на зеленом или кармазиновом фоне; прелестные серебряные холсты, точно полонившие в нитях своей основы седой луч луны; брокаты и брокатели³⁾, потускневшие от пыли веков, словно церковные витражи. Свет заходящего солнца придавал дивный блеск всем этим драгоценным уборам, озаряя косыми лучами многоцветные шелка, выдержанные в ящиках ризниц и тонами напоминая столетние вина.

Свет в небе погасал. Порошинки пепельной тени точно влетали снаружи и ложились в комнате. Рамиро, приклонившись к окну, смотрел, как умирали сумерки. Внизу, на улицах, уже царил ночь.

Пурпурный отсвет озарял сверху стену и зубцы, кое-где окрашивая в цвет коралла стволы сосен в садах. В доме напротив осветилось окно, и в просвете его моталась взад и вперед тень какого-то идадьго⁴⁾, читавшего молитвенник. Огромная печаль парила над городом воинов и монахов, и среди благоговейной тишины мальчику вдруг послышался далекий хор, призывный, настойчивый гимн. Должно быть, пели монашенки-августинки. Временами по голосам их пробегало как бы священное дуновение, и они трепетали, как пламя восковых свечей.

¹⁾ Мориски — см. примечание I позади текста.

²⁾ Под именем „Католических королей“ известны Исабелла, королева Кастилии (1474—1504), Фердинанд, король Арагона (1479—1516). При них произошло объединение этих двух главных частей Испании, покорение Гранады, последнего оплота мавров в Испании (1492), и открытие Америки.

³⁾ Брокат — тяжелая шелковая ткань, парча, затканная золотом и серебром.

Брокатель — полупшелковая ткань, похожая на брокат, с большими цветами.

⁴⁾ Идадьго (hidalgo) — дворянин; собственно hijo d'algo — сын человека, означающего „ничто“, сын родовитого человека.

Рамиро вспомнились рассказы матери о Рае и Чистилице.

Почти каждый день, перед вечерней молитвой, в комнату являлся старый оруженосец. Стук сапогов по ступенькам безошибочно извещал о его приходе. И все таки он появлялся неожиданно, сразу распахнув дверь. Потом, игриво приподняв сзади концом длинной шпаги плащ, он снимал огромную шляпу и, касаясь плюмажем пола, приветствовал таким образом служанок, словно испанских инфант⁵⁾. Обитый желтым эспаньолетом⁶⁾ большой сундук, заменял ему стул. Когда сапоги его бывали грязны, он подходил к брасеро⁷⁾ с горящими углями просушить подошвы.

Он был родом из Турéгано, местечка в Старой Кастилии⁸⁾. Совсем мальчиком он смертельно ранил навахой⁹⁾ сына альгуасила¹⁰⁾. Отсидел за это четыре года в тюрьме, а потом, когда родители хотели отдать его в ученики ювелиру, бежал навсегда из дома. Отвращение ко всякому ручному труду и страсть к бродяжеству побудили его избрать военную карьеру. Больше половины своей жизни он прослужил императору Карлу Пятому и теперешнему монарху, Филиппу Второму, на легковооруженных галеотах¹¹⁾ и парусных галерах, которые снаряжались для набегов на плохо защищенные города или для внезапных нападений на турецкие товарные суда. Он побывал на всех левантинских¹²⁾ островах и знал малейшие извилины заливов. Он был одновременно и солдатом и моряком, и потому чесотка, чирьи, дурные болезни, за-

5) Инфант, инфанта — титул присвоенный детям испанского короля.

6) Тонкая шерстяная материя.

7) Брасеро — круглая жаровня, обыкновенно из меди, служащая в Испании для отопления комнат; ставится на пол.

8) Старая Кастилия — область в Испании с главным городом Бургос.

9) Наваха — испанский нож.

10) Всякий служитель правосудия. — Обычно под этим названием подразумеваются жандармы, полицейские.

11) Военное судно средних размеров. Гребцы были вооружены мушкетами.

12) Левант — восток (ближний).

получаемые в портах, раны копьем, мечом, шпагой, стрелами, удары дубиной и ожоги при атаках — были постоянными приправами, в которых варилась его бурная жизнь. Два раза он чуть не погиб на виселице. В 1560 году, в сражении при Хельвес¹³⁾, попал в плен к туркам. Его посадили на весла на галеру, шедшую в Константинополь с грузом для султанского дворца, но он вместе с товарищами перебил камнями стражу и бежал на том же судне в Сицилию.

Привычка к постоянной настороженности и к стремительным, как удар клюва, нападениям, придала выражение быстрой решительности его острым глазам: серым глазам хищной птицы, со стальными зрачками, и донныне горевшим огнем отваги, как и в те дни, когда кастильские шпоры его звенели на улицах Неаполя¹⁴⁾.

История его жизни представляла ряд более или менее славных подвигов; но, проникнутый высокомерной ленью, он никогда не старался выслужиться из звания простого солдата и на старости лет довольствовался должностью оруженосца, примирившись со спокойной обязанностью сопровождать по улицам высокородных дам.

Кроме случаев из собственной жизни, он рассказывал служанкам отрывки из рыцарских романов и фантастические предания Авила и Сеговии¹⁵⁾. Он знал песни цырульников и бродяг, помнил наизусть стихотворное жизнеописание мавра Абиндарраэса¹⁶⁾ и бесконечное множество баллад, и пел их резким голосом под аккомпанимент гитары, при чем выворачивал себе веки, чтоб походить на слепцов.

Бледный шрам горделиво пересекал сверху его бронзовый от морского воздуха лоб.

В этот вечер, не успев сесть на сундук и рассказать несколько базарных сплетен, как одна из девушек, проведя пальцем по бровям, спросила:

¹³⁾ Хельвес — остров у северных берегов Африки в Тунисских водах. Здесь в 1560 году произошла кровопролитная битва испанцев с турками, кончившаяся поражением первых, несмотря на проявленную ими необычайную храбрость.

¹⁴⁾ Неаполь с 1424 г. был подчинен Испании (Арагону).

¹⁵⁾ Сеговия — город в Кастилии, к северу от Авилы.

¹⁶⁾ См. прим. II позади текста.

— Скажите, сеор¹⁷⁾ Медрано, кто вам вышил эту гирлянду?

Оруженосец, не отвечая, на мгновение потупил глаза и, вынув из кожаного кошель красный платок, шумно высморкался. Это действие служило иногда введением к пространному повествованию.

Прислонившись к колену старого солдата, мальчик, как всегда, играл его шпагой, ощупывал лезвие, рассматривал пятна на клинке или размахивал им перед собой с детским задором. Но, заметив задумчивое выражение старика, воткнул шпагу концом в пол и, обхватив обеими руками широкую рукоятку, приготовился слушать.

Медрано начал неохотно. Это был старый эпизод из злосчастного сражения при Хельвес. Он говорил медленно, голосом, напоминавшим бой продавленного барабана, и не раз глаза его становились влажными при воспоминании о позоре этого дня.

Он описал расстройство и бегство христианских кораблей при внезапном появлении турецкой флотилии. Одни сели на мель; у других, от поспешного бегства, поломались реи; третьи сдались без боя. Он, к счастью для своей чести, находился в форте. И он рассказал об ужасах осады, о страшных, неведомых болезнях, чудовищных ранах, о голоде, жажде! Говорил о солдатах, совершавших по ночам вылазки и питавшихся трупами турок; о женщинах, в безумии отгрызавших друг у друга куски грудей; об испанских матерях, бросавшихся вместе с детьми с высоких стен! Когда генерал дон Альваро де-Саде задумал совершить свою роковую вылазку, Медрано был в числе избранных сопровождать его.

Чтобы лучше описать эти моменты отчаянной борьбы, он встал на ноги:

— Мы уже почти дошли до галер, — говорил он. — Мавританские фузилеры растратили весь порох и не могли причинить нам вреда, сдерживаемые нашими пиками. Но один из них — трудно поверить! — сам вонзил себе мою пику в живот и так, словно нанизанный на вер-

¹⁷⁾ Сеор — сокращение слова сеньор — господин.

тел, сделал несколько шагов и ухитрился — будь он проклят! — здоровенным ударом раскроить мне лоб. Ну, да оставим это! — воскликнул он с изменившимся от злобы лицом и опять сел на сундук.

Одна из девушек пропела:

„Хельвес, мамаша, взять не легко.“

Но старый солдат, не слушая, прибавил:

— И когда только христианство избавится от этих приспешников дьявола?! Впрочем, иногда я и сам говорю себе: в случае чего, кто сможет с ними справиться, когда не стало дон Хуана, героя Лепанто¹⁸⁾.

При последних словах Рамиро отодвинулся от оруженосца и, взмахнув шпагой, воскликнул с странной выразительностью:

— Ну, об этом не беспокойся, я сделаю то же, что дон Хуан, если король мне прикажет!

Служанки улыбнулись, но мальчик, глядя на них в упор, топнул ногой и крикнул:

— Говорю вам, что сделаю то же самое, и даже больше, с помощью Божьей и Пресвятой Девы!

В это время позади него дверь на лестницу отворилась, и в комнату вошла красивая, необычайно бледная женщина, вся в черном. Это была донья Гиомар, мать Рамиро. Глаза ее светились в сумраке влажным блеском, как от недавних слез; низким, чуть глуховатым голосом, она проговорила с мягким укором:

— Я уж много раз говорила вам, Медрано, что Рамиро ни к чему эти игры. Зачем вы дали ему шпагу?

Мальчик обернулся к ней и поспешно ответил:

— Он не давал, мама, я сам незаметно взял у него.

— Когда ты вступишь на путь служения Богу и святой церкви, сын мой, — грустно сказала донья Гиомар, — тебе придется иметь дело с иным оружием; и теперь в твоих руках была бы гораздо уместнее какая-нибудь божественная книга, а не это железо.

Она умолкла на минуту, а мальчик, увидя, что она

¹⁸⁾ Дон Хуан Австрийский, брат Филиппа II. — блестящий военачальник; в 1571 г. он нанес поражение турецкому флоту в Лепантском заливе (Греция).

поднесла к глазам смятый платок, бросил шпагу и побежал к ней.

— Вы плачете об этом? — спросил он.

— Нет, сын мой, — ответила сквозь слезы мать. — Меня печалит очень горькая весть. Мы уже не увидим больше мать Тересу де-Аумада¹⁹⁾ . . . Она, как святая, соединилась в вечной радости с Господом, третьего дня, в Альба-де-Тормес²⁰⁾.

В полумраке комнаты послышались горестные возгласы и вздохи. Многие женщины зарыдали.

Солнце скрылось, и тихо, медленно зазвонили к вечерней молитве колокола. Тò был хор, непрерывная жалоба певучих, жалобных, стонавших в тихих сумерках колоколов. Казалось, город стал звучным, металлическим, и весь вибрировал и гудел, весь возносился чудесным образом к небу на крылах своей молитвы.

Донья Гиомар упала на колени и громким голосом запела слова ангельского приветия Богородице²¹⁾. Все последовали ее примеру и вторили ей.

Оруженосец шептал молитвы, подняв липо и по-детски сложив ладони.

В открытые окна плыла сумеречная тишина и струилось первое дремотное дыхание вечера.

II.

Иньиго де-ла-Ос и дочь его Гиомар поселились в Авиле в 1570 году, переехав из Вальсаина, близ Сеговии, где у них было родовое поместье. Переезд был решен неожиданно, и в одно дождливое октябрьское утро, обитая зеленой клеенкой карета, без колокольчиков и бубенцов на хомутах, в'ехала в город через Ворота Большого Рынка, примерно через час после восхода солнца.

¹⁹⁾ Св. Тереса, в миру Тереса де-Сепеда-и-Аумада, — монахиня, родом из Авилы, автор замечательных мистических сочинений (1515—1582).

²⁰⁾ Альба-де-Тормес, местечко к югу от г. Саламанки.

²¹⁾ Ave Maria — молитва Богородице и вечерний благовест в католических церквах.

С тех пор отец и дочь вели в Авиле какую-то таинственную жизнь и выходили из дома лишь очень ранним утром, отправляясь, каждый порознь в крытых носилках, в какую-нибудь из соседних церквей к заутрене.

Старинный особняк, где они поместились, и триста фанегад²²⁾ земли в Валье-Амблес достались идальго от его жены доньи Брианды дель-Агила; дом стоял на небольшой площади в нескольких шагах от Ворот Недоброй Судьбы.

Четырехугольная башня из тесаного камня возвышалась на его юго-восточном углу, вырисовываясь на небе гордым венцом своих мавританских зубцов. То была надменная и угрюмая громада, местами покрытая пятнами красноватого, похожего на ржавчину, налета. Кое-где ее прорезывали узкие тюремные окна, а основание четырех башенок и некоторые выступы были украшены лепным орнаментом, напоминавшим четки. Остальная часть дома была грубой, полу-варварской постройки. Большие, неправильной формы, обожженные солнцем камни выпирали из толстой штукатурки стен. Ближе к земле косая бойница для метанья стрел, похожая на огромную замочную скважину, защищала в былые времена подступ к двери. Окна с грубыми и мрачными решетками.

Портал занимал почти всю ширину башни. Это был пышный барский портал, из тех, что так распространены в Авиле Рыцарей. Свод над входом, состоявший из огромных цельных глыб, представлял полукруг, вставленный в готическую прямоугольную рамку. По обеим сторонам, в каждом из образованных этим полукругом треугольников, красовались, на полях лепного щита, гербы знатнейших фамилий Авилы: орел семейства Агила, монеты Бласкесов, подъемный кран и молот Бракамонте. Деревянные полотнища ворот были усажены красивыми гвоздями; у калитки висел большой фигурный молоток, вывезенный вероятно из какого-нибудь андалузского замка. Справа, повыше первого, висел другой молоток, которым

²²⁾ Испанская поземельная мера, равная приблизительно 1350 кв. саж.

всадник мог постучать, не слезая с коня. В вестибюле, перед статуей Богоматери, держащей на коленях усопшего Сына, горела неугасимая лампада.

Двор имел вид обширного прямоугольника и был обведен монастырскими галереями, без всяких украшений, кроме больших дворянских щитов, вделанных в капители колонн. Густой и высокий бурьян рос повсюду, щадя лишь кое-какие места, покрытые обломками каменных плит, и эти разбросанные в траве камни вызывали в уме представление о кладбище разоренного монастыря.

Идальго не подумал привести в порядок этот заброшенный уголок, где он чувствовал себя, как среди запущенного поля. Иногда он прогуливался по солнцу, вслушивая на ходу бабочек; а то по целым часам простаивал у старого колодца с источенным срубом, размышляя или рассматривая свое лицо, отражавшееся в круглом и глубоком зеркале воды. Казалось, галереи эти были полны для старика неотвязных воспоминаний, и самый воздух застаивался в них, словно пропитанный монастырским спокойствием и сельской тишиной.

Отец и дочь занимали только верхний этаж дома. Роскошь и запустение царили в его огромных покоях. Вдоль пыльных стен, где смутно вырисовывались сцены фламандских тканых обоев, висели старинные фамильные портреты, и стояла всевозможная мебель, находившаяся в доме, или привезенная идальго из Вальсаина. Когда проходили по гостиним, поломанные или расшатанные плиты пола скрипели под турецкими коврами. Золототканые и парчевые балдахины, с накопившейся в древних складках пылью и паутиной, украшали фамильные кровати, изъеденные червями. Окна открывались редко; но непрерывный дым роскошных серебряных курильниц заглушал своим ароматом запах сырости и мышей.

Запершись с зари до ночи в библиотеке дворца, дон Иньиго проводил долгие часы в размышлениях или за чтением. Он привез из Сеговии целую грудку испанских хроник, много рыцарских романов, не мало книг религиозных, Послания Сенеки, De Officiis Цицерона, по

тому Саллюстия²³), Валерия Максима²⁴), Виргилия, несколько трактатов по астрономии и армиллярную сферу²⁵) с бронзовым зодиаком. К ним прибавились книги и рукописи, найденные в доме; среди последних оказалось несколько арабских, которые он сейчас же приказал сжечь посреди двора, в присутствии каноника кафедрального собора.

Вскоре книги образовали на полу целые горы. Том, попавший в руки идалго, редко возвращался на полки. К чему? Ему оставалось прожить так мало лет! Припадки подагры повторялись все чаще, и тайный изнурительный недуг иссушивал его жизненные соки и глодал селезенку. По временам им овладевала сонливость, и с полуоткрытых губ срывался кошмарный шопот, словно в мозгу его кипели, разогретые сном, образы прошлой жизни.

Одевался он всегда в черное или темно-серое, и не признавал никаких украшений, кроме золотой цепи и маленького красного крестообразного меча ордена Сантьяго²⁶), вышитого на всех его камзолах и плащах. Зимой, повинаясь древним правилам своего ордена, носил лишь скромные шубы на бараньем меху. Соблюдал два поста в году: один от дня Четырех Коронований²⁷) до Рождества, другой — от мясопустного воскресенья до Светлой Пасхи.

Телом был щедеушен; лицо лимонно-желтое, точно сплетенное из корней. Короткие, еще черные усы резко отделялись от пепельно-седой бородки. Глаза водянистые, монашеские, печальные. Нрав угрюмый. Он вел свою родословную от какого-то арагонского короля и этимологически производил свою фамилию от имени одного рим-

²³) Саллюстий — римский историк (86—34 г. до Р. Хр.).

²⁴) Валерий Максим — римский историк, живший в I веке по Р. Хр.

²⁵) Особого устройства шар, изображающий небо и движение светил.

²⁶) Наиболее известными в Испании были рыцарские ордена Сантьяго (т. е. Св. Иакова, покровителя страны), Калатравы, Алькантара.

²⁷) День четырех коронований — начало Рождественского поста.

ского консула. Сборник грамот Сеговии постоянно упоминал о каком-нибудь из его предков, как участнике ежегодных походов рыцарей против мавров Хаэна, Севильи или Андúхара²⁸⁾.

До пятидесяти двух лет, считая всякий труд недостойным своих дворянских рук, и живя исключительно на доходы со своих поместий и на золотые червонцы, постепенно извлекаемые из сундука, он вел праздную и уединенную жизнь в своем поместье в Вальсаине или в „Доме с острьями“ в Сеговии²⁹⁾, и единственным крупным событием за это время была его женитьба на девушке из знатной Авиланской семьи, умершей через год после замужества от родов. Но, когда в конце 1568 года, вспыхнуло восстание морисков, дон Иньиго, почувствовав в своей крови наследственную вражду, собрал однажды у себя друзей и родственников и красноречивыми доводами доказал им настоятельную необходимость помочь монарху в борьбе с этими неверными собаками. Многие решили сопровождать его. Он затратил большую часть своего состояния и вооружил на собственный счет внушительный отряд, наподобие самых знатных вассалов прежних времен.

Находясь под командой маркиза де-Мондехар, он отличался в битвах необузданной яростью, которая не раз могла стоить ему жизни, потому что, в пылу преследования, он врзался совершенно один в гущу врагов. Он проповедывал войну без пощады и поголовную кастрацию.

Это он путем жесточайших пыток заставил знаменитого вождя Абен-Джавара открыть два тайных склада оружия в Сьерре-Неваде.

В ущелье Альфахарали один мавр, из тех, что сражались в венках из роз, как обреченные на мученическую смерть, нанес ему брошенным издали кривым ножом рану в лоб. Но, в самом разгаре похода, разбитый страшным припадком подагры, он должен был удалиться в свое

²⁸⁾ Хаэн, Севилья, Андúхар, — города в Андалузии.

²⁹⁾ Casa de los Picos — этот дом, фасад, которого усеян острыми каменными выступами в виде четырехгранных пирамид, еще до сих пор существует в Сеговии.

поместье, и вскоре получил в награду за свои заслуги орден Сантьяго.

До последних лет жизни он в величайших своих скорбях утешался воспоминаниями об эпизодах этой жестокой альпухарской резни³⁰⁾.

Он унаследовал от предков героическое чувство чести и вельможное презрение ко всем делам, связанным с корыстью и наживой. И в Авиле, и в Сеговии, не желая утруждать себя личным управлением имениями, он поручил его всецело, вместе с ключами от сундуков и обязанностями домоправителя, дворецкому-фламандцу, честность которого время от времени укреплял каким-нибудь проявлением рыцарского доверия или несколькими афоризмами из „Las Partidas“³¹⁾. За исключением Мадригальского вина, хранившегося в мехах, в доме не имелось никаких запасов, и прислуга постоянно забирала все необходимое в долг в соседних лавках.

Денежные стеснения не замедлили обнаружиться; тогда идалго, в высокомерии своем не признававший унизительной экономии, стал постепенно закладывать свои имения генуэзцам³²⁾. Если нужда становилась особенно велика, он приказывал снять ковер, продать драгоценность, или оплачивал часть расходов каким-нибудь предметом из своего неисчерпаемого буфета: его тарелки, выкованные из серебра американских рудников, легко могли сойти за огромные монеты. Однако, сам он отличался чрезвычайной умеренностью. Похлебка с салом, подававшаяся в миске с замком в предохранение от прожорливости пажей, яйцо, слоеный пирожок с начинкой из рубленого мяса с перцем, составляли обычную его

³⁰⁾ Альпухарра — горы на юге Испании, арена кровавой борьбы между испанцами и восставшими в 1568—1571 г. г. морисками.

³¹⁾ Las Partidas или Las Siete Partidas — свод законов, составленный по повелению кастильского короля Альфонса X в середине XIII века и распадающийся на семь частей, откуда и его название: partida — часть, siete — семь.

³²⁾ Генуэзцы в описываемую эпоху и в более раннее время играли выдающуюся роль в мировой торговле (ср. генуэзские поселения в Крыму) и в банковском деле; не пренебрегали они и ростовщичеством.

пищу. По пятницам, как бы в исполнение священного обряда, он выпивал иногда кубок вина и с'едал несколько кусочков свинины.

III.

Гиомар и дон Иньиго виделись только за обедом и ужином. Старик сидел во главе стола, дочь — на противоположном конце, между Рамиро и капелланом; никто не разговаривал. И среди этого щемящего молчания малейший шум, звон серебра, шаги паж, крик разносчиков на улице, рождали гулкое эхо.

Встав из-за стола, старик, если позволяла подагра, несколько минут ходил по комнате. Гиомар с сыном подсаживались к брасеро. Тикали часы. Все трое молчали.

Трудно было сразу определить, что диктовало эту сдержанность: скрытая ли антипатия, или общее горе. Каждый осведомлялся о другом через прислугу. Комната Гиомар, находившаяся рядом с молельней, суровостью обстановки напоминала келью, и по другим комнатам она проходила, точно по чужому дому, оставляя за собой, словно разлитую в воздухе, скорбь. Краски юности и даже блеск глаз, умеряемый в прежние времена жеманным прищуриванием — все преждевременно сбежало с ее лица, изможденного горем. И черная монашеская ряса навсегда изгнала цветные шелка и грациозные девичьи баскиньи ³³⁾.

Ей еще не минуло пятнадцати лет, когда дон Иньиго обещал ее руку своему двоюродному брату Лопе де-Алькántара, с которым его связывало, помимо братской любви, благородное соревнование в верности и самопожертвовании. Этот Лопе был мужчина лет пятидесяти, весьма непривлекательной наружности, и единственную красу его составляли строжайшие добродетели. Девушка питала к нему непреодолимое отвращение; но, не чувствуя в себе силы бороться с упрямым нравом отца, примирилась с мыслью стать залогом этой идеальной дружбы, о которой говорили все в Сеговии.

³³⁾ Короткая шелковая или бархатная юбка.

Как всякой благородной девице, ей своевременно запретили читать рыцарские романы, которых в доме было такое множество, выставив их, как произведения совершенно пустые и искусно вовлекающие в грех. Быть может, именно поэтому она и начала потихоньку брать их из отцовской библиотеки и зачитывалась ими по ночам, при свете ночника, когда все спали.

Рассказы об этих необычайных приключениях подействовали на нее, как волшебное зелье. Она думала только о дивном, благородном рыцаре, который явится освободить ее и увезет далеко-далеко на крупе своего коня. Она стала жить только этими любовными бреднями, беседами и похищениями, описанными в романах, грезила на яву, забывая о повседневной жизни, отвечала невпопад и ощупывала вещи, как сомнамбула, не зная сама, чего ищет. Пристрастилась к духам, к вышитым канителью и бисером нарядам. Усердно следила за руками и прической. Духовники укоряли ее, но было уже поздно.

Однажды летом, в Сеговии, любуясь из своей комнаты алым увяданием заката над долиной Эресмы, она увидела преходившего по улице статного молодого человека, который остановился и стал смотреть на нее. Он был в военном платье, с пышным пером на шляпе. Осыпанный драгоценными камнями кинжал блистал поверх его коротких штанов с разрезами.

Эта немая сцена повторялась несколько раз. Иногда по ночам глухой и жалобный голос пел под ее окном под звуки однострунной мавританской скрипки. Привязанная к камню записка не заставила себя долго ждать. И, наконец, крючки шелковой лестницы зацепились за решетку ее балкона, и, над спящей Сеговией, уста ее вкусили отраву первого ночного поцелуя.

Когда она целиком отдалась греху, и первые признаки грядущего материнства заставили ее очнуться от упоения, она чуть не сошла с ума. Не медля она открылась во всем отцу. Тем временем соблазнитель исчез из Сеговии. На поиски его был отправлен Медрано. Вскоре, в Арёвало, незлакомец сам явился к оруженосцу и сообщил свое имя и происхождение. Он был мориск.

— Скажите вашему господину, — воскликнул он уxo-

дя, — что я хотел запятнать его честь, чтоб отмстить за своего отца, доблестного Абен-Джавара, которого он заставил претерпеть адские пытки в Альмерии. Но если теперь он согласится отдать за меня свою дочь, я приду земно поклониться ему.

Получив эту ужасную весть, идальго бросился на Гиомар с обнаженным кинжалом; но почувствовал себя дурно и, думая, что умирает, проклял плод, который она носила в утробе.

Какие наступили дни! Лопе де-Алькантара сообщили обо всем, и этот человек, обезумевший от любви или от верности слову, услышав отчаянное признание из уст друга, вместо того, чтоб придти в ярость, потребовал, чтобы предположенная свадьба состоялась сейчас же; и через три дня после венчанья уехал один во Фландрию³⁴).

Спустя несколько месяцев дон Иньиго получил письмо от своего приятеля Санчо Давила, с сообщением о доблестной гибели зятя в сражении с французскими гугенотами.

Словно раздирая обеими руками рану, открывшуюся в ее груди от стольких несчастий, Гиомар, казалось, изгнала из себя избыток преступной крови, жаром своим запятнавшей ее честь. Болезненная бледность покрыла ее лицо. Руки жутко белели на траурной одежде, и вся душа ее потянулась к светлому лучу божественной надежды. Несмотря на беременность, она подвергала свое тело самым тяжким карам и искусам, по возможности выполняя дома новый устав кармелитского ордена.

Перед наступлением родов дон Иньиго решил переменить местожительство, и они навсегда переехали в Авилу Святых. Там и появился на свет Рамиро, 21-го декабря 1570 года, в день святого Фомы, под созвездием Сатурна и знаками Водолея и Козерога.

³⁴) В подавляющей при короле Карле I (императоре Карле V) под испанское владычество Фландрии постоянно происходили восстания на политической и религиозной почве; особенным ожесточением они отличались при Филиппе II и его заместнике, во Фландрии, герцоге Альба.

IV.

В этой монастырски-унылой и замкнутой атмосфере, с инстинктивной пугливостью детей, растущих в обстановке больших несчастий, без развлечений, без сверстников, воспитываемый угрюмыми существами, говорившими всегда шопотом, прожил Рамиро первые бессознательные годы детства. Малейшая ребяческая шалость, даже улыбка его, всегда встречали в ответ приложенный к губам палец. К семи годам и он погрузился в печальную молчаливость и целыми часами просиживал в каком-нибудь уголке, опустив руки, с удрученным лицом. Было что-то чудовищное в контрасте между его нежными чертами и хмурым лбом, точно обремененным зрелыми мыслями.

С самых ранних лет мать приучала его к неуклонному исполнению религиозных обрядов. Она ежедневно водила его к заутрене в церковь Святого Иоанна или Святого Доминика; заставляла заучивать трудные молитвы, затемнявшие его ум, и бесконечные литании, от которых в бессильной злобе корчился дьявол. Кроме того, дала ему, для постоянного употребления, четки о пятнадцати ступенях, какие носили монахи. Он должен был смиренно целовать пол перед иконами Кармелитской Божьей Матери и лобызать нараменник монахов, чтоб получить отпущение грехов.

После первого причастия строгости еще усилились. Донья Гиомар стала карать малейшую его провинность монастырскими эпитемьями и внушала ему презрение к миру, ужас к греху. По вечерам она садилась у его кровати и читала из *Flos Sanctorum*³⁵⁾ житие святого истекшего дня, а иногда, отложив книгу, рассказывала сама о чудесах какой-нибудь местной монахини или о трудах и подвигах матери Тересы-де-Хесус, своей родственницы по материнской линии. Она рассказывала о ежедневных беседах этой святой с Господом и о том, как среди молитв небесное дыхание неожиданно касалось ее и поднимало ее тело на несколько четвертей от пола.

³⁵⁾ *Flos Sanctorum* — собрание житий святых.

Мать говорила обо всем этом дрожащим голосом, словно разливавшим в ночном мраке жуткий жертвенный аромат святости.

Большую часть дня Рамиро был предоставлен самому себе. Дед никогда с ним не разговаривал. Бродя по дому, мальчик засматривался на игравших на площади детей, забирался в рабочую комнату в верхнем этаже башни, или спускался во двор, в поменение для пажей, и раздавал им лакомства, которые сберегал от своей доли. Завидя его, они подходили, улыбающиеся и голодные, к дверям. Большая комната, похожая на мавританскую харчевню, была уставлена кожаными и железными сундуками, точно перенесенными из времен Сида ³⁶⁾, и узкими скамьями, накрытыми грязным тряпьем. При входе, в нос ударяла горячая и едкая струя. На полу всегда валялись чешуйки чесночных головок и обрывки игральные карт. Часть прислуги проводила здесь по многу часов в день, спала или играла, как в таверне. По стенам висели шелковые или бархатные, расшитые серебряным позументом, ливреи.

Иногда Рамиро пробирался в темную кухню; рассматривал хлебную печь, способную напитать целый монастырь; заглядывал в кладовую, где хранились мешки с отделенной для церкви десятиной; или, спустившись по каменным ступенькам, шел в подземные конюшни, направо от ворот, погладить мулов и старую лошадь.

В каретном сарае стояла одна только обитая зеленой клеенкой карета, привезенная из Сеговии, да и та выкатывалась лишь летом, когда хозяева выезжали в загородный дом в Валье-де-Амблès. В остальное время года карета стояла заброшенная в темном сарае. Мальчик каждый день влезал в нее и брал с ее тисненых золотом сафьянных подушек яйцо, снесенное таинственной курицей.

Когда Рамиро было десять лет от роду, его, по видимому, коснулся Бог. Мать заметила, что он, как все, обре-

³⁶⁾ Сид Кампеадор — герой испанских народных преданий. Под этим именем известен дон Руи Диас, род. в 1040 и умерший в 1099 г., отличавшийся блестящими военными подвигами.

ценные Господу, стал предаваться суровому благочестию и сосредоточенности. Часто она слышала сквозь портьеры, что он с экзальтированной страстностью читает религиозные псалмы, пылавшие на его устах, как огонь, или же видела, как он подолгу списывает замечательнейшие деяния Христа и его Пречистой Матери; она заметила, что он всегда выписывал имя Спасителя золотыми чернилами, а имя Пресвятой Девы — голубыми. Уверившись в его призвании и опасаясь, что замкнутая жизнь, от которой желтело его личико, может повредить его здоровью, она стала изредка отпускать его погулять с оруженосцем.

Медрано являлся вскоре после полудня. Мальчик, одетый горничными в черный бархатный костюм, башмаки с серебряными пряжками и фиолетовую шапочку, в свежем воротничке и с короткой шпагой на боку, шел проститься с матерью. Она расчесывала ему волосы на боковой пробор, по испанской моде, приказывала прочитать Молитву Богородице и Отче Наш и, поцеловав, отпускала.

Таким образом, Рамиро узнал город, его окраины и окрестности. Это было неизменным откровением для его глаз, утомленных однообразием старого дома. Жизнь внезапно предстала пред ним в новом свете. Гордые стены заговорили с ним своим легендарным и геронческим языком, а храмы, с торжественными гробницами, рассказывали о подвигах отдельных людей и о величии целых родов.

Оруженосец поддерживал знакомство с несколькими клириками приходских церквей; беседуя в ризницах, они часто рассказывали или спорили о древних преданиях города, и память Медрано напичкивалась необыкновенными историями, которыми он затем пленял служанок или расплачивался за угощение в тавернах и паштетных. Рамиро тоже извлек пользу из этих нахватанных знаний. Старый солдат поучал его наглядно, на самих предметах, по своему толкуя надписи и развязно указывая места происшествий. От него Рамиро узнал о трагической любви знаменитого рыцаря Нальвильос и мавританки

Ахи Галианы³⁷⁾. Оруженосец же впервые рассказал ему, перед Воротами Недоброй Судьбы, историю шестидесяти авиланских заложников, чьи головы король Альфонс Воитель приказал сварить в оливковом масле; и о дерзости самоотверженного Бласко Химено, который сам поехал в лагерь и вызвал на поединок вероломного и клятвопреступного короля.

О славном подвиге Химены Бласкес Медрано рассказал на одной из башен Ворот Сан-Висенте; и с тех пор Рамиро не мог поднять глаз на стену, не вспомнив о хитрости этой женщины: узнав в отсутствии рыцарей о приближении мавров-альморавидов³⁸⁾, она собрала всех женщин в городе, велела им подвязать себе бороды и надеть мужские шляпы и в таком виде подняться на стенные зубцы; неверные подумали, что город хорошо защищен, и в страхе спаслись бегством.

У Медрано было в Авиле много друзей; но самым завидным его приятелем, шла ли речь о том, чтоб распить в компании бутылочку Сан-Мартино, или раздобыть несколько дублонов в случае нужды, был португалец Диэго Франко, звонарь кафедрального собора; он был раньше сукновалом в Сеговии, а потом барабанщиком в Брюгге и Антверпене, откуда и вывез страсть к колоколам.

Каждое посещение жившего на вершине башни „колокольного бакалавра“, как звал его оруженосец, было для Рамиро праздником.

Переступив порог собора, Рамиро дергал веревку, висевшую позади двери, и почти тотчас же наверху, на головокружительной для его детских глаз высоте, у сделанного в своде окошечка, появлялось маленькое мужское или женское лицо. Немного спустя, внутри толстой колонны направо слышалось постукивание каблуков, визжала задвижка, и в отворившейся дверце появлялись звонарь или его жена с связкой ключей в одной руке и с зажженным фонарем в другой.

³⁷⁾ См. прим. II позади текста.

³⁸⁾ Альморавиды — династия мавританских государей, владычествовавших с 1111 по 1172 г. в Испании.

Затем они начинали подниматься по лестнице внутри этой полой колонны. Ступени были так высоки, что Рамиро приходилось карабкаться при помощи рук. Лишь изредка узкая щель бойницы пропускала во мрак луч солнца, окрашенный цветным стеклом витража и благоухающий ладаном.

Гостей обыкновенно принимали на вершине усеченной башни под черепичным навесом; все присаживались к досчатой стенке свинарника, где у супругов воспитывалось с полдюжины черных, как смола, поросят. Рамиро развлекался исследованием тайн кровельной кладки, или смотрел на город и широкий горизонт; эта высота вызывала во всем его существе волнуемое желание какого-то фантастического полета.

Франко был тщедушен телом. Когда его что-нибудь заботило, он нервно кусал свои усы. Жена его Альдонса Гонсалес, которую все звали „эстремадуркой“³⁹⁾, наоборот, была плотного и сильного сложения. Она управлялась с двумя самыми большими колоколами, предоставляя мужу средние и маленькие.

Часто, в дни торжественного благовеста, все четверо взбирались на колокольню. Оруженосец помогал, а Рамиро, хотя и потрясенный до мозга костей, с наслаждением прислушивался к чудовищному гулу, грозившему опрокинуть колокольню и унести его самого, как соломинку, в воздух, в вихре звуков. У Альдонсы, увлеченной своим делом, юбки развевались так, что видны были все чулки, вплоть до полоски тела.

Она была довольно красива. Нежная, как сливки, кожа, алые, словно канделедский перец, губы; но непосрнные волосы и густой пушок на верхней губе говорили о задорном и крутом нраве. Она обращалась с мужем, как с невольником, изливая на него избыток сил, постоянно обновлявшийся в крови чистым воздухом высских башен. Рамиро украдкой поглядывал на нее. Ей же мальчик чрезвычайно нравился. Иногда, если никто не видел, она поднимала его на руки, клала на скамейку и щекотала и тормошила, стараясь рассмешить его.

³⁹⁾ Уроженка Эстремадуры, области на западе Испании.

Праздники оруженосец предпочитал проводить у себя дома, играя в карты с приятелями. Когда заходил туда с мальчком, сейчас же звал свою дочь Касильду, хорошенькую девочку, она, озаряя своей прелестью бедное жилище, напоминала покинутых принцесс, о которых говорится в легендах. Мать ее была пспанка из Амальфи⁴⁰⁾; оруженосец похитил ее ночью, ранив ее отца и убив одного из братьев; когда через два года ее разыскали, она умерла во время пыток, но не выдала его.

Квартирка состояла из двух комнат с садиком, в глубине старого дома, за церковью Св. Петра.

Несмотря на кротость и красоту Касильды, Рамиро обращался с ней с высокомерной холодностью. Она же восторженно ловила каждое его слово, сщицала с его платья пятна извести и пыли, поминутно целовала ему руки. Когда они играли в садике, она бегала за камешками для пращи или за прутиками для импровизированного лука, а он ждал, важный и величавый. Однако, иногда, прощаясь, Рамиро приикал губам к губам оборванной, как хитана⁴¹⁾, девочки, и это машинальное движение с течением времени стало вызывать у него какое-то странное, но приятное ощущение, напоминавшее характерный привкус поднятых с земли плодов.

V.

Дон Иньиго прожил в Авиле девять с лишним лет, и единственный человек, с кем он решился завязать дружеские отношения, был кабальеро⁴²⁾ дон Алонсо Бласкес-Серрано. Владения их в Валье-Амблэс соприкасались, их жены были обе из семейства Агпла, и потому они не замедлили познакомиться.

Среди местного дворянства не было рода более знаменитого, чем род Бласкес. История его была отмечена

⁴⁰⁾ Амальфи — город в Италии, на Салернском заливе.

⁴¹⁾ Хитана — цыганка.

⁴²⁾ Кабальеро — рыцарь, дворянин; соответствует английскому „джентльмен“.

такими высокими подвигами и такими пылкими любовными страстями, какие можно найти не во всяком рыцарском романе. Дон Алонсо происходил по прямой мужской линии от адалида⁴³⁾ Химено Бласкеса, первого губернатора и алькальда⁴⁴⁾ города, когда он стал вновь заселяться при графе Раймунде Бургундском⁴⁵⁾. Бласко Химено, герой поединка, Химена Бласкес, хитростью прогнавшая мавров, и знаменитый Нальвильос, женившийся на мавританке Ахе Галлиане и прославленный не меньше, чем Сид, были его предками. Еще в очень давние времена Советом было вынесено постановление, что во всяком конном отряде, выступающем из города на защиту короля, „начальник или адалид должен быть потомком благородного смельчака Бласко Химено и отнюдь не какого-либо иного рода; равным образом, его знаменщик или альферес“⁴⁶⁾.

В старинной церкви Сан-Педро можно видеть часовню рода Серрано с украшенными гербами и источенными временем гробницами. Род этот тоже был очень древний и знаменитый. Дон Алонсо мог по желанию пользоваться гербом с пятью лилиями, вперемежку с белыми крестами на серебряном поле, или же гербом со львами, разбросанными по голубому полю. Род его всегда был осыпаям почестями.

Унаследованный от жены дворец его находился в северной части города и примыкал к городской стене, по обычаю, принятому с незапамятных времен в значительных семьях. Одна из зубчатых башен возвышалась в конце сада, и защита ее всегда возлагалась на род Агила. Идальго проводил в Авиле лишь незначительную часть года: двор притягивал его, словно мощный магнит. Безмолвное же и монашеское существование в Авиле Святых, где долгими часами он не слышал иного живого

⁴³⁾ Адалид — военачальник.

⁴⁴⁾ Алькальд — глава общинного совета.

⁴⁵⁾ Раймунд Бургундский в числе других французских рыцарей в конце XI века прибыл в Испанию для участия в борьбе с маврами; он породнился с кастильским королевским домом.

⁴⁶⁾ Альферес — офицерский чин, соответствующий чину поручика.

звука, кроме звона колокола да пения петуха, угнетало его, как тяжкий плен.

За исключением битвы при Лепанто, когда вооруженный широким солдатским обоюдоострым мечом, он храбро дрался на носу галеры и был ранен пулей из аркебуза в плечо и копьем в бедро, — в жизни его не было других выдающихся событий. Почти вся она прошла на придворной службе. Восемнадцать лет он поступил пажем к Руи Гомес-де-Сильва⁴⁷⁾, а в тридцать состоял при особе короля, пожаловавшего ему впоследствии, за его участие в действиях флота, орден Калатравы.

Учился он в Саламанке⁴⁸⁾, два года прожил в Милане, три в Венеции. Воспоминание об этом последнем городе приводило его всегда в состояние неистового восторга. Он любил рассуждать об искусстве и подробно пересказывал свои беседы с Тинторетто⁴⁹⁾, с которым был очень дружен. Латынь и звучный тосканский язык знал, как родную речь. Оставаясь один, среди своих книг, он охотнее раскрывал „Метаморфозы“ или „Освобожденный Иерусалим“⁵⁰⁾, чем суровые послания Апостола Павла. Все знали, что он предложил причту собора пристроить на собственный счет к готическому portalу Апостолов греко-романский перистиль. Ящики его письменных столов были полны поэтическими опытами, в которых он, по примеру Боскана и Гарсиласо⁵¹⁾, воспевал Клориду и Галатею. Имел законченный перевод „Лю-

47) Руи Гомес-Сильва — влиятельный царедворец, времени Филиппа II, глава партии, враждебной герцогу Альба.

48) В средние века и в начале нового времени Саламанкский университет славился на всю Европу.

49) Тинторетто — итальянский живописец (1512—1594).

50) „Метаморфозы“ — произведение Овидия (ум. в 17 г. по Р. Хр.). „Освобожденный Иерусалим“ — поэма Торквато Тассо (1544—1595).

51) Боскан Альмогавер — знаменитый испанский поэт, род. в 1493 г. в Барселоне, ум. в 1542 г. Он и его друг Гарсиласо первые приложили итальянский способ стихосложения к испанскому языку и могут быть названы основателями итальянской школы в испанской литературе.

бовного лабиринта⁵²⁾, несколько глос⁵³⁾ на сонеты Петрарки и написал удачное подражание Саннадзаровой „Аркадия“⁵⁴⁾. Унылая и спаленная солнцем природа, со всех сторон обступавшая его родной город, не стояла в его глазах и полустигия.

Пышные модные костюмы, постоянные коленопреклонения и низкие поклоны, атмосфера дворцовых зал и вся искусственная игра сложных или притворных чувств, вся гуттаперчевая гибкость, весь актерский грим придворной жизни, еще усиленный изощренными тонкостями, „которыми, по словам дон Иньиго, предусмотрительное коварство чужеземцев подкупает испанцев, чтобы ижежить их и ослабить мужество“, — в конце концов, покрыли обманчивой оболочкой суровый кастильский остов дон Алонсо. Однако, всякий не замедлил бы заметить, что под расшитым бархатом этого парадного футляра скрывается твердая, как сталь, душа, и что честь его так же щепетильна, как была в сердцах или на ланитах его предков, почивавших в церкви Святого Петра со шпорами у истлевших каблуков. С тою только разницей, что ход времен с ранних лет заронил в его душу семена тонкой чувствительности, которую пленительная итальянская жизнь разбрасывала по соседним государствам вместе с любовью к пышности и тонким наслаждениям.

Он любил дорогие вещи, роскошную обстановку дворцов, многочисленную челядь. Большое богатство, по его мнению, прежде всего, служило для того, чтобы человек не унижал себя стараниями приобрести его и мог лучше выказать высокие свойства своей души. Направление мыслей у него было возвышенное и благородное. Он думал, что всякий поступок человека должен быть укра-

⁵²⁾ „Лабиринт Любви“ — второе заглавие произведения Бокаччио (1313—1375), направленного против женщин — „Корбаччо“. Но под этим названием в Испании был известен также перевод отрывка 4-ой части романа того же писателя „Филоколо“, именно того места, где собеседники Фиаметты разрешают 13 вопросов о любви.

⁵³⁾ Глоса — стихотворное толкование поэтического произведения, или вариация на тему отдельного стиха.

⁵⁴⁾ Якопо Санадзаро — итальянский поэт (1458—1530); написал пастушеский роман в стихах и прозе — „Аркадия“.

шен великодушным и красивым жестом, как шляпа развешивающимся пером.

Роскошь его одежды не считалась ни с какими предписаниями. Никто при дворе не носил такой длинной шпаги, таких широких и пышных брыжей. Он заказывал миланским ткачам парчи и брокаты по старинным образцам своего фамильного гардероба, и одни лишь флорентинские резчики удостоивались чести гравировать оникс и сердолик для печатей его перстней и рукояток его кинжалов.

В молодости он несколько лет был без памяти влюблен в юную супругу одного кастильского советника⁵⁵⁾, и при дворе очень восхищались его поступком, узнав, что он заплатил две тысячи золотых дукатов за переданный ему врачом платок с пятнами крови красавицы. Антонио Перес⁵⁶⁾ всегда оказывал ему большое расположение, и он рассчитывал с его поддержкой получить, при первой же возможности, кресло в Итальянском Совете.

Любовь его к редким и художественным вещам была безусловно искренняя; но в то же время он знал, что подчеркнутый культ этой страсти придает особый блеск дворянской жизни, и потому еще в молодых годах начал, при помощи миланских и венецианских друзей, собирать в своем доме подлинные сокровища.

Сильнее всего чаровали воображение идадьго изделия из стекла и слоновой кости. Тонкие, холодные, запыленные, почти золотистые костяные предметы приводили его в неопишуемый восторг. Чисто влюбленными движениями он брал их из витрин и подносил к свету. Казалось, руки его с братской нежностью сжимали аристократическое и бледное вещество, в котором солнечные лучи просвечивали алой кровью.

⁵⁵⁾ В эпоху усиления королевской власти в Испании (начиная с царствования Католических Королей) и связанной с этим попыткой централизации главнейшие дела решались в Мадриде в особых советах, из которых главными были: Советы по делам Кастилии, Арагона, Италии, Индии (Американских владений), Совет Инквизиции и др.

⁵⁶⁾ См. прим. III позади текста.

Посреди большой залы, на двух длинных столах, выложенных сплошь маленькими зеркалацами, красовались тонкие, почти бестелесные венецианские кувшины, вазы и бокалы, и покрытое амальгамой стекло отражало, словно в пруду, отпрокинутое изображение этих драгоценных цветов.

Чудесная жизнь некоторых из этих предметов длилась сотни лет. Произведения прошлого века, прообразы несметного поколения, украшенные человеческими фигурами и фантастическими зверями — были творениями резца Вистори, Баллорино, Беровиеро, в эпоху страстного увлечения стеклянным производством. Мутное стекло, свинцового белесоватого оттенка, как вода в каналах, от которой оно словно заимствовало свою фантастическую причудливость. Обращение с этими хрупкими сокровищами изощряло руку лучше, чем слоновая кость. Дон Алонсо брал их с бесконечными предосторожностями, как будто малейшее негармоничное движение могло оборвать их жизнь. Один его приятель, долго живший в Венеции художник, по имени Эль Греко⁵⁷⁾ научил его любоваться ими ночью, при лунном свете. Астральное сияние зажигало на тонком стекле молочно-белые мерцающие отсветы. И дон Алонсо, как если бы в глаза ему попала капля волшебного зелья, вдыхал ароматы ночи над водами, видел чешуйчатые следы гондол, синеватую белизну дворцов, темноту окутанных тайной узких каналов.

Так, при помощи брэнного стекла, идальго переносился из своей засохшей и пыльной Кастилии в город лагун, где, под черной или зеленой маской, провел столько незабываемых часов.

Между дон Иньиго и дон Алонсо Бласкес-Серрано быстро завязалась тесная, бодрящая дружба, обычно соединяющая недовольных. Один повышенным и пророческим тоном обрушивался на политику монарха, который, уничтожая привилегии старинного дворянства, в

⁵⁷⁾ Эль-Греко — прозвище художника, „Доменик Теотокопули“, родом из Греции, большую часть своей жизни, проведенного в Толедо (1550—1614).

то же время терпел в своем католическом государстве позорную язву морисков. Другой, косясь на двери, рассказывал о низостях и преступлениях, вознаграждаемых великими милостями и почестями.

Однажды, уходя от дон Иньиго, Бласкес-Серрано увидел в прихожей Рамиро. Мальчик сидел на стуле с высокой резной спинкой. Казалось, он пристально рассматривает какой-то горестный образ, рожденный его собственной фантазией. Он был похож на заколдованного принца.

Под мужественным обликом у дон Алонсо скрывалось сердце, способное на глубокое умиление, от которого у него сейчас же увлажнялись глаза, как у женщины. Он всегда относился к Рамиро с полным равнодушием; но тут, увидя его погруженным в такую печаль, почувствовал странное и для него самого непонятное волнение. С этих пор он стал интересоваться мальчиком. На следующий же день послал за ним своего карлика. Приказал показать ему весь дом, сад, стены, а потом сам отвел его познакомиться с своей дочерью Беатрисой, прелестной маленькой десятилетней женщиной, принявшей их в полутемном и благоуханном покое, сидя на голубой подушке, в кругу своих дуэний⁵⁸).

Когда девочка встала, Рамиро подошел к ней и хотел обнять, но она встретила его церемонным реверансом. Глубокое, невыразимое волнение сжало грудь мальчика. Карлик положил ему на плечо руку, и они удалились.

VI.

Поместье Иньиго де-ла-Ос в Валье-Амблэс было расположено у подножия горной цепи, около четверти мили к западу от Совсолес. Вначале оно состояло из большого леса и трехсот фанегад пахотной земли; но вследствие денежных затруднений хозяина, быстро уменьшалось, и, наконец, свелось к участку густого дубняка, и узенькой полоске луга, в конце которой стоял развалившийся дом предков доньи Брианды. Вереск, дрок и колючий кустар-

⁵⁸) Дуэнья — так пазывались гувернантки, компаньонки молодых девушек в Испании.

ник. запленили прежние сады. Об аллеях можно было догадаться только по рядам деревьев. По лесу трудно было пробраться. Природа, властно царившая здесь в долгие годы заброшенности, защищалась теперь непролазными зарослями, больно ударявшими ветками, колючками.

А из высоких окон дома виднелся вытянутый по линейке плодовый сад дон Алонсо с полными прудами, чисто выметенными дорожками, с аккуратно подстриженными, как в садах Италии, кустами бирючины и миртами. Оттуда же можно было различить и знаменитые балюстрады — выдумку идальго — с мозаикой из белых, черных и цветных камешков, изображавшей Метаморфозы Овидия. Иногда по вечерам, в порозовевший воздух взлетали брызги фонтанов и, падая, орошали ступеньки и листву.

Рамиро очень нравилась свободная жизнь, какую он жил в поместье. Когда ему исполнилось тринадцать лет, Медрано, переселившийся с своей дочерью Касильдой в низкие комнаты на чердаке, обучил его, на крестьянской лошаденке, всем правилам верховой езды. Кроме того, смастерив легкое копьё с древком и ремешками, показал, как с ним обращаться, и вечерами, при свете ночника, заставлял Рамиро упражняться на собственной тени в опускании и поднимании руки к уху, чтоб научить молодецким выпадам.

Над кроватью Медрано висели два меча: один узкий и необыкновенно длинный, с чеканными украшениями, другой — с тяжелой фигурной рукояткой и широким обоюдоострым клинком.

— Этот клинок, — говорил он, указывая на тонкий меч, — чист, как девица, он не знает, что значит погрузиться до рукоятки в тело. Этот же, — прибавлял он, любовным движением снимая свой старый солдатский меч, — выпустил крови больше иного брдобрея и проводил на тот свет больше душ, чем иная монахиня. Им я выпустил кишки не одному храбрецу, рассек голову не одному сопернику и перерезал на-чисто, уж и не знаю, сколько турецких глоток!

Рамиро слушал его в каком-то ослеплении, и когда

сам брал в руки меч, ему казалось, что сердце растет у него в груди.

Начались уроки фехтования. Оруженосец щупал его полудетские мускулы, и по мере того, как крепили его силы, преподавал все заветные приемы, которым всякий доживший до старости солдат приписывает свою удачу.

Иными днями, в часы спесты⁵⁹⁾, они ускользали от бдительности доньи Гиомар и уходили искать тенистого местечка в лесу. Мальчик с наслаждением вдыхал терпкий дым костров, горевших обыкновенно в соседнем владении, и солнце и аромат травы внезапно вызывали в нем чрезвычайное волнение.

А Медрано, усевшись в тени какого-нибудь дерева, некоторое время безмолвствовал, без единого движения во всей фигуре, — только красное перо вздрагивало на шляпе, колеблемое ветром. Но немного погодя, тоже взволнованный видом долины, ясной далью своей напоминавшей ему светозарное и спокойное море, начинал рассказывать о пленении могучих кораблей или о какой-нибудь смелой высадке на берегах Леванта. Рамиро не упускал ни одного движения, ни одного слова рассказчика, и по временам увлечение борьбой охватывало его с такой силой, что он видел самого себя на палубе корабля или окруженным конями и ятаганами неверных.

В другие же дни, наоборот, не слушая старика, он рассеянно устремлял свои большие глаза на стены города: зубчатая и рыжеватая тень их извивалась по ту сторону долины, похожая на огромную железную корону; и мечтал в это время, что он призван прославить эти стены новыми христианскими подвигами и будет, с высоты их, провозглашен первым из всех по храбрости и славе.

Несколько рыцарских романов и два-три руководства по верховой езде, найденные на столе в комнате сына, уяснили донье Гиомар его душевное состояние. Она посоветовалась с своим духовником, старым монахом-фран-

⁵⁹⁾ Спеста — полуденный отдых; собственно, шестой час после восхода солнца.

дисканцем, обучавшим грамматике Рамиро, и он рекомендовал ей обычные церковные средства: молитву, покаяние, сосредоточение мыслей.

Мальчик кротко подчинился, полный набожного смирения.

VII.

Стоял один из тех летних знойных дней, от которых не избавлена вся эта местность Кастилии, расположенная, однако, на большой высоте и открытая ветрам. Палящий воздух тяжело дремлет над равнинами, лазурь безоблачного неба плавится, как смальта⁶⁰⁾ в горне. Камень трескается от ярости солнца, дерево обгорает. Там и сям, по дорогам, караваны вьючных мулов или стада поднимают густые тучи пыли, словно марширующие войска.

Тусклый металлический отсвет был разлит над Валье-Амблэс. Под этим беспощадным светом пейзаж казался еще сурсвеем.

Начиналась молотьба. Зерно блестело на токах.

Работники то и дело сменялись и ходили пить в тени повозок. Тем временем, одни лениво поднимали вилы, другие, выпрямившись столбами на молотильных катках, вяло кружились, злобно подстегивая мулов и волов, и поминутно соскакивали на землю, чтоб звонко ударить их палкой по крестцу или по зубам.

Соскучившись за чтением религиозных книг, Рамиро взял „Приключения Сильвес де-ла-Семьва“⁶¹⁾ и запрятался в темный уголок в лесу, образованный тремя большими камнями в тени дуба.

Растянувшись на земле и подложив под висок кулак, он изредка прерывал чтение, чтоб ярче почувствовать прелесть своего тайного убежища. Иногда светлый луч пробирался сквозь листву и бросал на книгу зыбкий солнечный кружок. И ему казалось, будто эта тень отзывается земистой свежестью воды в глиняных кувшинах.

⁶⁰⁾ См а л ь т а — королевская синь, синяя минеральная краска.

⁶¹⁾ См. прим. II позади текста.

Вдруг шум быстрых шагов заставил его поднять голову. Он взглянул. Это был Медрано, бежавший наперекос к дому.

-- Куда вы? — крикнул Рамиро.

Оруженосец коротким жестом позвал его за собой.

Придя на чердак и ища свою перевязь, Медрано вкратце рассказал, что случилось. В соседнем поместье, Цербер, большой пес, стороживший у ворот, взбесился, укусил одного из слуг и убежал в лес. Дон Алонсо был в Мадриде, и дочь его осталась одна с дуэньями; они-то и послали за Медрано, чтобы он руководил крестьянами при поимке собаки. Рамиро весь загорелся. Он вспомнил о юношах-рыцарях, что в сказках обезглавливают драконов, чудовищ и лютых львов, спасают принцесс, разбивают заклятья и чары. В то же время в воображении его мелькнуло лицо Беатрисы.

Когда оруженосец стал опоясываться широким обоюдоострым мечом, он, не говоря ни слова, положил обе руки на рукоятку, смотря на Медрано умоляющим и вместе решительным взглядом. Старый солдат понял. И, взяв себе меч поменьше, оставил другой Рамиро. Потом воскликнув: „Пойдем скорее, нас ждут!“ — вышел из комнаты.

Они дошли до дома дон Алонсо, не встретив ни души. Дом был заперт, точно покинутое жилье. Но проходя мимо амбара, они увидели шестерых мужчин, вооруженных кольями и вилами.

Оруженосец отдал распоряжения. Каждый займет определенное место в лесу и, как только увидит животное, три раза громко призовет на помощь. Рамиро он поставил в нескольких шагах от кухонь, дал ему охотничий рог и приказал не трогаться с места.

Немного погодя, утомившись ожиданием, Рамиро начал постепенно пробираться вглубь между деревьями.

Из многих рассказов, слышанных дома, в старой башне, он знал, как велика опасность бешенства, и какой ужас распространяет в деревнях и селах опущенная собачья морда, сеющая ярость и смерть. Задвигались все заборы, загонялись кошки, собаки, ослы; женщины за-

жигали одну свечку Святой Катерине, другую Святой Китерии, заступницам от бешенства, а мужчины храбро выходили в поле, вооружившись всеми острыми орудиями, какие попадались под руку.

Рамиро быстро подвигался вперед, перескакивая через камни и кучи старого хвороста.

Густой кустарник и колючки не мешали солнцу прогревать своими лучами серую, пересохшую землю, и душистый запах полыни, лаванды и тмина наполнял воздух. Цветы дрока желтели там и сям меж свинцово-серых камней, сверкая золотыми лепестками на темно-синем фоне неба.

Рамиро задышался. Испарина выступила на его лице.

Полчаса спустя одна из служанок Беатрисы увидела входившего во двор внука дон Иньиго; в одной руке он держал широкий меч, весь красный от крови, в другой — собачью голову.

— Спаси меня Бог и Святая Китерия! — воскликнула женщина. — Уж убили его?!

Потом внимательно глядя на кровавый трофей, прибавила:

— Бедный Цербер, а как он клал мне лапы на грудь, чтоб лизнуть в лицо! Но ничего не поделаешь! Надо было его прикончить: бешеная собака и на хозяина кидается. Наверное, это Медрано так молодецки с ним справился?

— Нет, не Медрано.

— А кто же?

— Я шел один по лесу, и когда проходил мимо сложенных дров, увидел, что он бежит на меня. Я так хватил его мечом, что он покатился, как мячик. А потом отрубил ему голову.

— Пресвятая Дева, что же это будет за храбрец, когда у него вырастет борода! — воскликнула женщина, пораженная тем, что такой юный мальчик один, без посторонней помощи, справился со страшным животным.

Потом позвала его за собой; но Рамиро, подойдя к калитке, выходившей в поле, приставил меч к забору и,

взяв рог, громко протрубил трижды. Три протяжные ноты отдались в горах, как сказочный призыв.

Служанка повела его через анфиладу темных комнат. Наконец, подойдя к незатворенной двери, Рамиро услышал женские голоса, жалобно призывавшие Святую Катерину и Святую Килтерню. Вошли. Луч солнца проник в комнату сквозь полураскрытый ставень. Какой крик поднялся в темноте, когда мальчик поднес к полосу света окровавленную голову, пятнавшую ковер! Одна из дуэний сразу лишилась чувств и упала навзничь.

Сопровождавшая Рамиро женщина весело рассказала о подвиге мальчика. Тогда, среди глубокого молчания, Беатриса решительно направилась к нему. Дуэнья потянула ее за платье; но дочь дон Алонсо, не отрывая глаз от его рук, которые храбрость так рано обогрела кровью, сняла голубую ленточку, украшавшую ее локоны, и, приблизившись к Рамиро, продела ее в петлицы его камзола и завязала дрожащими и бледными, как луна, ручками.

VIII.

Рамиро сразу отдался упоению первой любви. Мечта оттеснила жизнь, и весь мир вскоре принял для него окраску, ритм и аромат этого, внезапно охватившего его, бреда.

Его религиозный пыл и порывы к славе улеглись, покорные, как псы, у ног этой новой страсти. Бледное личико Беатрисы, с большими глазами и длинными траурными ресницами, появлялось теперь на страницах молитвенника, на пологие кровати, даже на Распятии, которому он поверял свою тоску. Прелестный призрак, капризный, как блуждающий огонек, при виде которого сердце его психодило нежностью!

Он начал сочинять гимны и баллады, какими можно было бы воспевать и Богородицу, и длинные сложные речи, с которыми, при первой же возможности, намеревался обратиться к своей милой. Иногда по ночам, погасив огонь в комнате, он проводил целые часы у окна. И смотрел на соседний сад, погруженный в темную и бла-

гоуханную тишину. Или же поднимал лицо и взор к небу. Ничто не возбуждало его страсти в такой степени, как величаясь тайна светил. Ему казалось, будто их беспоконные огоньки говорят с ним на божественном, недоступном его пониманию языке. И он представлял себе, как покинет эту жизнь вместе с Беатрисой, и они возродятся там, в несказанных обителях, и будут странствовать вдвоем, вдыхая этот божественный зефир, точно обнимавший звезды.

За несколько дней разум его пришел в расстройство. Лицо пожелтело, как воск, и он сам удивлялся своим непрерывным вздохам и глубокой тоске сердца, изболевшегося от любви и томления.

Иногда по утрам, он ходил к изгороди, разделявшей оба владения, стрелять из арбалета голубей. Глаза его впивались в соседний дом. Каким очарованием облекались тогда для него, в утренней свежести и под пение птиц, эти жалюзи, оберегавшие сон его возлюбленной!

Однажды днем, в просвет ветвей, он увидел проходившую Беатрису; она не отводила глаз от изгороди. Юноша показался. Тогда девочка украдкой сделала ему знак идти за ней дальше, а когда решила, что обманула бдительность дуэний, пригласила его перейти к ней в сад.

Они раскланялись, как в гостиной, и Рамиро не отважился произнести ни одну из своих замечательных, заранее придуманных фраз.

Эта игра повторялась много раз. Они гуляли, взявшись за руки, почти не разговаривая, и время от времени взглядывали, без улыбки, друг другу в глаза. Девочка уводила его в самые запущенные и темные уголки. Здесь природа раскрывала им свою нечистую невинность в мотыльке, в птичке, в самой крошечной букашке. Волшебное желание трепетало, порхало и щебетало перед ними в жаркой и душной летней тишине.

Рамиро навсегда сохранил воспоминание о нескольких минутах, когда однажды, идя с ней по тропинке в зеленом лабиринте, осмелился обвить рукой ее шею и нежно сжал ей горло. В другой раз Беатриса забралась на старые качели и стала сильно раскачиваться в порыве молодости и счастья. Громкий, буйный, неожиданный

смех ее взвился, как стая дроздов, пробуждая эхо меж деревьями. Ветер забываемо развеивал ее платье.

При каждой новой встрече они разговаривали все с большим смущением и все больше становились непохожи на самих себя. Самое незначительное слово вносило хаос в их мысли. Обнимая ее гордым взглядом, он мечтал о счастье полновластно обладать этим прелестным существом. Беатриса представлялась ему созревшей жатвой, принадлежащей ему и укрытой от всякой опасности. Однако, однажды он спросил:

— Согласились ли бы вы стать вскоре моей женой?

Она ответила:

— Что вы! Я еще такая маленькая! Вы думаете об этом так рано?

И сейчас же стала напевать, закинув головку и как будто проявляя больше склонности подарить ему сейчас же свою щечку и губки, чем маленький, капризный ум, что бился в ее головке, как камешек в бубенчике.

Это счастливое состояние оказалось для Рамиро непродолжительным. Приблизительно в трех четвертях мили по направлению к Вильяторо, жила в летнюю пору Уррака Бласкес-де-Сан-Висенте с двумя сыновьями. Муж, Фелипе-де-Сан-Висенте, комиссар Святого Судилища и член Верховного Совета, проводил большую часть года в Мадриде. Оба юноши были язвой этого горного уголка. Они всюду раз'езжали вместе и ненавидели друг друга. Раз или два в неделю они приезжали навестить свою кузину Беатрису, при чем неслись по дороге, как бесы, во всю прыть своих коней, а далеко позади за ними трясся воспитатель, неистово колотя пятками мула и утопая в туче белой пыли. Оба, в особенности младший, подхватывали все ругательства и неприличные выражения крестьян, на губах у них постоянно вертелись непристойности, и оба сторали от навязчивых чувственных желаний, часто терзающих подростков.

Беатрисе больше нравился старший, красивый блондин; но она уже и теперь с чисто женским коварством старалась возбуждать надежды у обоих.

Рамиро, бывавший теперь и в доме, несколько раз

встречался с ними и с мучительным изумлением убедился, что Беатриса существует не для него одного. Он подметил взгляды, ужимки, перешептывания и представил себе возможные последствия этой родственной близости. Но гордость его оказалась сильнее горя. Он держался спокойно, молчал, был почти весел.

Однажды под вечер, в конце августа, оруженосец сказал ему, что Гонсало, старший из братьев, гуляет с Беатриссой по саду. Рамиро побежал смотреть сквозь ветки.

Долгое время наблюдал он с разных мест соседний сад. Вдруг, раньше чем он успел что-либо подумать, по телу его пробежал озноб. Он опять стал смотреть. Да, так и есть! Перед ним, совсем близко, Беатриса и двоюродный брат ее лежали на спине в траве, в тени вяза. Придвинув лицо к лицу девушки, юноша обнимал ее одной рукой, а она ощищывала красную гвоздику, красную, как кровь, гвоздику, и блаженно улыбалась.

Обезумев от злобы, Рамиро стал продираться сквозь колючий кустарник, но не смог. И хриплый стон, злобный, страшный стон вырвался из его груди.

Гонсало и Беатриса вскочили и убежали.

IX.

В начале зимы того же года, мать, жаждавшая увидеть Рамиро в лоне церкви, решила обратить усиленное внимание на его учение, чтоб отправить его, при первой же возможности, в „Коллегию Архиепископа“, в Саламанке.

До сих пор у Рамиро не было никаких учителей, кроме самой доньи Гиомар, выучившей его читать, и, несколько позже, монаха-францисканца из монастыря Святого Антони, преподававшего ему начатки латинской грамматики. Этот монах, лет семидесяти пяти от роду, был довольно образован, но жить ему оставалось недолго, и потому он относился к обязанностям преподавателя с снисходительным пренебрежением и частенько засыпал на уроках.

— Спрашивай, спрашивай, сын мой, — говорил он своему ученику: — Не я стану утаивать от тебя то не-

многое, что узнал из книг. Но не забывай, что эти крохи науки, оставленные нам мудрыми христианами и язычниками, не принесут тебе никакой пользы в Чистилище!

Он всегда старался внушить ему презрение к миру и обладал для этого редким красноречием аскетизма. Когда он говорил о земном величии и о нашем кратком пребывании в мире, речь его, полная монашеской язвительности, просачивалась в душу, как холодящий наркотик, и усыпляла желания. Рассказывали, будто многие из слышавших его проповеди устремлялись в монастыри и молили дать им келью и рясу. Вне покаяния и молитвы, все в этом мире представлялось ему пеплом и прахом, а наше алчное честолюбие — паутиной, раскинутой над гнездом спящей птицы.

Обычно он заставлял Рамиро переводить отрывки из Фомы Кемпийского⁶²). И в душу мальчика запали слова одиночества, высокого презрения, сладостного самоотречения.

В дальней части Собора, пройдя закрытый внутренний дворик, где разжигают камины и изготавливается монастырский шоколад, поднимаешься по сосновой лестнице в ряд всегда темных комнат. В одной из них, с двух до четырех дня, при свете лампы с тремя светильнями, упираясь ногами в усаженную гвоздиками подставку жаровни, Рамиро стал слушать уроки у нового учителя, избранного его матерью по указанию самого же францисканца.

Звали его Лоренсо Варгас-Ороско, он состоял преподавателем богословия при кафедральном соборе. С дон Иньиго и его дочерью он познакомился однажды утром, когда был приглашен присутствовать при сожжении арабских книг. Отец его пал геройской смертью на войне во Фландрии, состоя капитаном стрелкового отряда. Фигура у него была представительная. Глаза большие и слегка на выкате. Отросшая щетина почти всегда небритой бороды придавала синеватый оттенок всей нижней части лица. Остальные каноники завидовали, между прочим, его красивым жестам на церковной кафедре и

⁶²) Фома Кемпийский — автор книги „Подражание Христу“.

своеобразной манере носить плащ: у него было несколько способов накидывать его, на подобие солдатского плаща, и мгновенно сбрасывать, словно собираясь храбро обнажить шпагу.

Первый урок его был настоящим кладезем премудрости. Стоя посреди комнаты и указывая на груды толстых фолиантов в пергаментных переплетах, лежавшую на письменном столе, он говорил:

— Вот здесь, перед вами, сын мой, весь сок человеческой и божественной истины, сохраняемый, как вино в мехах. Долгие странствования мои по миру философии привели меня к заключению, что все, отдаляющее от учения „Света Школы“, равносильно заблуждению ума и сопряжено с великой опасностью впасть в ересь.

Рамиро, не понимая, утвердительно кивнул головой и, устремив взгляд на фолианты, увидел, что на всех крупными старинными буквами начертано одно и то же заглавие: *Summa Theologica*⁶³).

— Это произведение, этот монумент, этот ковчег знания, — продолжал каноник, — представляет также сводку всего учения Стагирита⁶⁴), разумеется, проверенного и очищенного в горне Святого Фомы. Но для того, чтобы подготовить вас к почитанию этого, второго, тоже замечательного, философа и предохранить от некоторых идей, что, как чума, заражают школы, я хочу прочитать вам сейчас, в качестве *vestibulum*⁶⁵), только что законченное мною маленькое сочиненьице против Петра Помпонация⁶⁶) и нескольких испанцев, которые, увлекаясь странной идеей Александра Афродизского⁶⁷), утверждают, будто Аристотель думал и писал, что разумная душа умирает вместе с телом.

⁶³) Фома Аквинат — знаменитый схоластик, род. в 1225 г., автор богословского трактата „*Summa Theologica*“.

⁶⁴) Аристотель.

⁶⁵) Введение.

⁶⁶) Петр Помпонаций (1462—1524) — последователь Александра Афродизского в Италии.

⁶⁷) Александр Афродизский — философ из Малой Азии, толкователь Аристотеля; между 198 и 211 г. по Р. Хр. учил в Афинах. В средние века большой известностью пользовались латинские и арабские переводы его сочинений.

Вынув сначала щипцы для снятия нагара, вложенные между страницами вместо закладки, он взял со стола рукописную тетрадь. Потом подсел к лампаде, надел очки и начал читать свою апологию Аристотеля.

Рамиро не мог скрыть своего изумления, и лицо его ясно отразило полную растерянность.

— Не смущайтесь, — сказал, закончив чтение, каноник, — если с первого раза не уловили смысла. Завтра мы приступим к объяснительному чтению.

Он был стипендиатом по трем языкам⁶⁸⁾ в Саламанке, потом изучал физику, метафизику и богословие. Пожалуй, во всей Испании не было другого богослова, который так хорошо знал бы Священное Писание. Его толкования Ветхого и Нового Завета привлекали в церковь по понедельникам и пятницам самых ученых мирян в городе и многих монастырских начетчиков. А какое искусство в споре! Ни один из его коллег по капитулу не мог уследить за его *primo* и *secundo*, за его *ergo* и *distinguo*⁶⁹⁾. Он брал положение противника и в мгновение ока, с оскорбительной усмешкой, разбивал его в пух и прах острой диалектикой, которой владел с изумительным совершенством. Но если, после того, как он бросал свой заключительный вывод, противник не признавал себя побежденным, он сейчас же становился дерзким и язвительным, губы у него выпячивались, глаза наливались злобой, и всем было известно, что рука его, преподававшая благословение из алтаря, трясла за воротник не одну духовную особу.

Он не обладал даром точного и проникновенного философского суждения, и ум его был неспособен на взлеты, стряхивающие паутину общепринятых мыслей; но богословское мировоззрение его было непоколебимо, как скала. Кто основатели исповедуемого им учения? Аристотель, отцы латинской церкви, Святой Фома. Думать, что кто-либо из современных людей может исправить этих неподражаемых учителей — безумие! Каково

⁶⁸⁾ Этими языками в старых университетах были латинский, греческий и древне-еврейский.

⁶⁹⁾ „Во-первых . . . во-вторых . . . итак . . . различаю . . .“

было философское *сredo*⁷⁰⁾, на котором Испания основала свое завидное величие? Это, и никакое иное . . . *Ergo!* Но он как нельзя лучше знал скрытую цель новых учений, и в его глазах те, что в Испании оспаривали положения схоластиков, что отрицали авторитет древних учителей, раздельность духа и материи и самое бессмертие разумной души — все они были просто союзниками иноземцев или орудиями дьявола.

Испания представлялась ему окруженной бесчисленными врагами. Убедившись, что ее нельзя одолеть в открытой и мужественной войне, они старались подточить религиозное единство, делавшее ее неуязвимой, внести в лоно ее раздор, сектантство, смуту. Подорвать ее веру значило отнять у нее силу. Ересь — страшнее всех войск. Ересь — это раз'едающий состав, который, проникнув внутрь, разрушает самую стойкую энергию, и, по его мнению, яд этот уже отчасти воспринят. Вальядолид⁷¹⁾ — очаг лютеранства. Саламанка — академия еретиков. Ученики Вальдеса и Раме⁷²⁾, приверженцы Эразма⁷³⁾ и Лютера достаточно многочисленны. Бывший его соученик Франсиско Санчес⁷⁴⁾, „Брозасец“, позволил себе грязную выходку против Святого Фомы, когда однажды в споре ссслались на его верховный авторитет. Кардинал-архиепископ Толедский Бартоломэ Карранса в своем „Христианском Катехизисе“ впадал в лютеранство! И вот, настал тот решительный момент, когда сражение может быть проиграно из-за недостатка решимости. Не время спорить о положениях, а нужно вырвать с корнем эти гнойные наросты и прижечь их раз навсегда

⁷⁰⁾ *Sredo* — „Верую“, Символ веры.

⁷¹⁾ Вальядолид — город в Кастилии, бывший одно время королевской резиденцией.

⁷²⁾ Хуан Вальдес — испанский богослов (1500—1544). Перенес в Испанию сочинения Меланхтона и других реформаторов. Раме или Рамюс — известный французский ученый (1516—1572), противник учения Аристотеля.

⁷³⁾ Эразм Роттердамский — знаменитый гуманист (1467 до 1536).

⁷⁴⁾ Франсиско Санчес — родом из Лас Брозас в Эстремадуре, ученый, издатель стихотворений поэта Гарсиласо.

счистительным огнем. Никакого снисхождения, никаких нежностей! Гнилье в костер, и аминь!

О! Что случилось бы с Испанией, если бы и в ней разразилась религиозная война, как в северных государствах! Враги ее не преминули бы использовать благоприятный момент. Француз протянул бы руку турку, Фландрия сговорилась бы на этот случай с Альбионом, и все сразу набросились бы на нее, предательски натравив с тылу многочисленных арагонских и андалузских морисков, выжидающих только сигнала заграницы для поголовного восстания.

Каноник находил, что Святое Судилище слишком затягивает процессы. Нельзя терять ни минуты, нельзя забывать, что Испания несет гораздо большую ответственность перед Богом, чем какая-либо иная страна на земле, потому что все предназначало ее на роль избранного народа, современного Израиля. Всевышний проявлял свое избрание не только в победах, какие даровал ей, но и в муках и бедствиях, коими карал ее прегрешения. Голод и нищета, терзающие ее в настоящее время, потеря Непобедимой Армады⁷⁵⁾ — что это, как не кары за ее терпимость к морискам и еретикам? Рим — Божий престол на земле, Испания — Его меч, Его припно-вооруженная десница, Его архангельское воинство. Рим — город Петра, первосвященника и мученика. Испания — армия святого Иакова, Апостола, являющегося на коне в конце сражений и грозной фигурой своей сеющего ужас среди неверных. Но в день, когда Испания отворачивается от Господа, враги ворвутся в нее, ступая по крови ее жен и детей, как солдаты Тита в Иерусалиме⁷⁶⁾.

И несмотря на эти жестокие взгляды, Варгас-Ороско был человек глубокой доброты. Он жил, как истый испанский идальго, — душой. Все, что оставалось от удовлетворения его скромных потребностей, он тратил

⁷⁵⁾ Непобедимая Армада — так была прозвана эскадра, снаряженная Филиппом II для войны с Англией, наиболее опасной соперницей Испании (1588 г.). Эскадра эта, не добившись никаких результатов, была разбита англичанами и сильно пострадала от бурь.

⁷⁶⁾ Тит — римский император (79—81 г. по Р. Хр.). При отце своем, императоре Веспасиане, он в 70 г. взял приступом и разрушил Иерусалим.

на милостыню. Всем сердцем сочувствовал самым незначительным печалам ближних, семейные же несчастья, при которых он присутствовал по обязанностям сана, исторгали у него слезы, наравне с родственниками, и трогательные слова, запечатлевавшиеся у всех в памяти, как прочувствованные и поучительные эпитафии. Но когда дело касалось крупных общественных провинностей, когда нарушались священные заповеди или догматы, — сердце его сжималось, точно кулак. Пропитанный с юности духом Ветхого Завета, он сам пылал той гневной, беспощадной, грозной справедливостью, что гремит, как гром, в библейских стихах. Там Иегова истолок в порошок тысячи человеческих жизней ради спасения обряда или установления заповеди. Для Варгас-Ороско люди уподоблялись глиняным сосудам, ценным лишь постольку, поскольку ценно их содержимое; если же сосуды эти пропитались какой-нибудь гнилью, их следует разбить и заменить новыми.

Он настойчиво стремился к умерщвлению плоти, и строгость его нравов была тем более похвальна, что его постоянно преследовали упорные соблазны, при чем дьявол с особым удовольствием выскивал их в текстах Писания, цветистых и благоухающих знойными, волнующими ароматами Востока. Денно и ночью вился Искуситель над его душой. Иногда, в часы занятий, канонику слышался шелест гнусного перепончатого крыла; вот оно развеяло золу в брасеро, вот опалилось о пламя свечи, вот опрокинуло песочные часы на его писания! Но самые жестокие битвы канонику приходилось выдерживать по ночам в постели, перед сном. Один и тот же бес-суккуб⁷⁷⁾, атласистый и до ужаса прекрасный, прокрадывался к нему под простыню, отчего все тело его охватывала сатанинская радость, и оно долго ощущало ненавистное и сладостное прикосновение, которого не могли прогнать самые пламенные молитвы. Или же невидимая рука раздвигала занавеси алькова. Нагая прелестница, вся в самоцветных камнях, ждала его, его одного, в ночной тиши; волосы ее благоухали, как про-

⁷⁷⁾ Суккуб — бес, принимающий образ женщины.

литые духи, а лицо ее, ее дивное лицо — было лицом одной из его духовных дочерей!

Какие битвы, какая ожесточенная борьба! В то время, как дух вопил от омерзения, предательская плоть купалась в волнах наслаждения. Тогда он бросался на пол и, сняв с гвоздя плеть, сек себя ею, пока весь не покрывался кровью, как Спаситель у столба. Но едва он смыкал веки, чтоб заснуть, как нечистый менял свои козни и с непобедимой, властной силой обуревал его умопомрачительной гордостью. То он примеривал на его пастырскую голову слишком тесную митру или чересчур узкую кардинальскую шапку; а то преподносил тройную папскую тиару, сделанную точно специально по его голове, несравненной и божественной. Восторженные клики толпы гремели у его ног, а он, величественный и неподвижный, как бы парил над нею, восседая на сверкающем троне.

Когда же во сне воля его ослабевала, он опускался на четвереньки и припадал к раскрашенным губам языческих жриц, что, разметавшись под кедрами, извивались от страсти, как пантеры...!

Если, по приходе в Собор, Рамиро говорили, что каноник еще не встал от послеобеденного сна, Рамиро в сжидании прогуливался по приделам. В этот час храм почти всегда был точно околдован тишиной и покоем. Шум отодвинутой ризничим скамейки будил гулкое и длительное эхо. Землистые, многовековые тени спали у подножия алтарей, между колонн, на каменных плитах.

Какой властной тайной облекались для него темные уголки храма, торжественные часовни, седой и пыльный свод над алтарем с всегда царящим под ним полумраком склепа! Годы ложились здесь один за другим, незаметно, как листы фоллианта.

Рамиро с глубоким почтением ступал по плитам, и в уме его рождались волнующие мысли о величии и смерти, когда он пробегал надгробные надписи. В одних упоминались лица, совершенно позабытые, и они гласили только: „Дон Кристóбаль с женой“, „Алонсо“, „Донья Бона“. В течение многих лет имена эти обладали, быть

может, гордым красноречием, а ныне значили еще меньше, чем случайная кость, попавшая нам под ногу на кладбище.

Зато глаза его с гордостью разбирали имена духовных особ и рыцарей из его собственного рода: „Гробница преславного Сеньора Дон-Нуньо-Гонсало дель-Агила, архидиакона Авилы“. „Здесь покоится благородный рыцарь Гонсало дель-Агила...“ „Здесь почиет доблестный рыцарь Диэго дель-Агила, Господь прими его душу...“ И при взгляде на символическую птицу, высеченную, словно домашнее божество, на каменных гербах, ему казалось, будто какой-то загробный голос зовет его к власти и почестям.

В другие же разы, наоборот, душа его сжималась при мысли об этом уничтожении всех человеческих деяний под истертым камнем, и он вспоминал слова матери и монаха-францисканца о честолюбии и тщеславии. Он думал тогда, что сам он не более, как слабый огонек, вспыхнувший на костях предков, которому определено блуждать лишь мгновение в мировой ночи. Значит, самое лучшее — надеть покаянную рясу и готовить себе вечное спасение в четырех голых стенах.

Иногда, если позволяло время, он поднимался на башни. Ему нравилось смотреть на город и окрестности из окошек колокольни, и глаза его всегда задерживались на одном дворце, в северной части, примыкавшем к городским стенам. Случалось, он замечал движущуюся точку, маленькую фигурку; она проходила по саду, поднималась по ступенькам башенки и потом появлялась у бойниц. Наверное, то была она. Он решил не бывать больше у дон Алонсо и поклялся навсегда забыть Беатрису. С какой победоносной язвительностью он спрашивал себя: как может душа верующего гоняться за такими ничтожными зернышками жизни, за крохами эфемерной и подчас отравленной радости, когда Бог сулит ей с неба бесконечное и вечное блаженство?

Эти чувства начали пробивать себе глубокое русло в душе Рамиро, но наставник его сам внес в нее первое смущение откровенным и подробным разбором вопроса об искушениях. Он объяснил происхождение и природу

дьявола, рассказал об ужасном видоизменении его ангельских форм при низвержении с небес в ад. Установил разницу между скотоложством: *omnem concubitum cum se non ejusdem speciei*⁷⁸⁾ и демоноложством, или *conula cum Daemone*⁷⁹⁾, что некоторые богословы смешивают, и, наконец, обстоятельно распространился о сношениях с инкубами и суккубами, от коих *aliquoties nascuntur homines*⁸⁰⁾.

— И таким именно образом, — заявил он, — должен родиться Антихрист, согласно мнению многих ученых, и родились Ромул и Рем, согласно Титу Ливию; философ Платон, согласно святому Иерониму; Александр Великий, согласно Квинту Курцию; англичанин Мерлин, зачатый инкубом с монахиней, дочерью Карла Великого; и, — если уж говорить до конца, — проклятый ересиарх, именовавшийся Лютером.

— „Необходима чрезвычайная бдительность. Соблазн, — говорил он, — разлит всюду. Дьяволу все — пища и оружие.“

Однажды Рамиро принес ему чудесную грушу в камышевой корзиночке; каноник стал есть ее, не срезав кожицы. Груша была из тех, что называются кубышками, круглая, с перехватом. Вдруг, вонзив зубы в самую мясистую ее часть, он с ужасом выбросил грушу в корридор и замахал руками, восклицая: „*Vade retro! Vade retro!*“⁸¹⁾ В нежном и округлом плоде дьявол не преминул показать ему формы женского тела.

С этих пор мальчик стал жить в смутной тревоге; добродетель представлялась ему крайне трудной, и тело его, дотоле спокойное, стало терзаться непонятными желаниями, временами окутывавшими его мозг, словно паром от чанов в виноградной давилльне.

В один холодный февральский день, уходя с урока, во время которого учитель прочитал ему ученый комментарий к „Песне Песней“, Рамиро встретился на площадке лестницы с Альдонсой. Она пригласила его

78) „Всякое соединение с существом иного рода“.

79) „Соединение с бесом.“

80) „Иногда рождаются люди.“

81) „Отыди.“

подняться на колокольню. Минуту спустя, оба карабкались по ступеням. Вдруг жена звонаря остановилась и осветила фонарем лицо юноши. Рамиро тоже остановился, и его дрожащая рука внезапно почувствовала, что современная Суламифь выпустила на волю „младых близнецов серны“, о которых говорится в „Песне“.

И здесь, на этих темных ступенях, где спал жертвенный аромат свечей и ладана, облетел цветок его невинности.

Подняв глаза, чтоб вымолить прощение за свой ужасный грех, он увидел перед собой фигуру звонаря, бесстрастно ожидавшего, пятью или шестью ступенями выше, с зажженной лампой в руке. Сколько времени стоял он здесь? Рамиро спокойно взглянул на него и, не сказав ни слова, стал спускаться во мрак, держась за стены.

Очутившись на улице, он зашагал с каким-то неведомым ему дотоле вызовом. Ветерок, доносившийся с улицы Жизни и Смерти, прикикал к его губам нечистым и знойным прикосновением.

Х.

В семнадцать лет, благодаря раннему развитию, Рамиро казался взрослым и сильным мужчиной. Его гордая осанка и широкие плечи внушали всем, говорившим с ним, почтительность. Мысль его стала направляться на более отвлеченные предметы, он доискивался тайного смысла каждого явления и с юношеской гордостью воображал, что ему раскрыты глубочайшие тайны.

Пренебрегая модой, он не подстригал свои длинные черные волосы, и цвет его лица крайней бледностью, как будто постоянные размышления сделали водянистой его кровь, напоминал таинственную белизну озаренного лунной мрамора.

Он ожидал встретить в канонике проповедника смирения, но, наоборот, речи наставника ярким огнем зажгли в нем честолюбие. Новый учитель часто прерывал свои уроки рассказами о великих подвигах славного рода Агила, основанного адалидом Санчо де-Эстра-

да, выходцем из Астурии⁸²); или перечислял ему знаменитых воинов, сынов этого города, хотя и маленького, но являвшегося в Испании высшей школой чести и рыцарства. Уроженцы Авилы повсюду выделялись своим умением властвовать и пылкостью в боях. Санчо Давила, по прозванию Военная Гроза, и теперь еще служил образцом для фламандцев.

— Ах! если б мне вернули мою молодость и дали пожить несколько лет чудесной, вольной жизнью солдата! — восклицал каноник.

Он не хотел сказать этим, что раскаивается в том, что пошел по благородному пути, на который был увлечен своей звездой, нет, тысячу раз нет! Он только думал, что в безрукавке из буйволово́й кожи, в металлической каске и с толедской шпагой, сражаясь в разных странах по своему выбору, он принес бы больше пользы Святой Католической Вере, чем проводя свои дни, привязанный узами клеветы и глупости к креслу каноника. Он, не обинуясь, рассказал Рамиро о мелочности и пошлости, гнетущей жизнь духовенства, и о том, с какой яростью и необычайной жестокостью все его коллеги объединились против него, когда возник вопрос о возведении его в сан епископа.

— Эти бескрылые мерзавцы, — говорил он, — чуют, что как только орел поднимется и сможет рассекать пространство, он залетит высоко, очень высоко!

Нетерпеливое стремление к митре было в нем сильнее добродетели и тяжким грехом лежало на его душе.

Побуждаемый почтительным восхищением перед учителем, и привязавшись к нему всем сердцем с первых же дней, Рамиро стал внимательно изучать дорогу, на которую ему указывала эта пастьерская рука. Он уже не сомневался, что, избрав, по примеру предков, военную карьеру, он сможет быть полезен Богу и Святой Церкви не меньше, чем в монастыре или на ученой кафедре. И принялся рыться в старинных фамильных пергаментях и читать историю великих полководцев Рима и Испании. Вскоре планы на собственное будущее смеша-

⁸²) Астурия (Asturias) — область на северо-западе Испании.

лись в его представлении со знаменитыми эпизодами древности и стали слагаться по их подобию. Возбужденный чтением, он доходил до того, что считал себя самого героем повествования. Он был поочередно Юлием Цезарем, Сидом, Великим Полководцем⁸³), Эрнаном Кортес⁸⁴), дон Хуаном Австрийским. Держа в руках Комментарий⁸⁵), он воображал, что это он ведет когорты по равнинам Галлии; но в мартовские иды проявлял большую проницательность, чем диктатор, раскрывал предательство Юния Брута и, спрятав под тогой меч, входил в курию и убивал одного за другим всех заговорщиков. Он побеждал мавров в бесчисленных сражениях, подносил Испании неаполитанское королевство или империю Монтесумы⁸⁶); и, наконец, стоя на рубке фантастического корабля, истреблял навсегда весь турецкий флот в новой чудовищной битве при Лепанто, грезившейся его воображению по эстампам.

В результате он стал считать себя избранным Богом для продолжения традиции незабываемых подвигов. Он изгнал из своих мыслей и чувств все умеренное, медлительное, терпеливое. Все, лишенное внезапности, героичности, оставляло его равнодушным, потому что он чувствовал в себе уверенность, твердое убеждение в том, что сразу достигнет величайших почестей и в короткое время делается одним из первых в мире поборников Католической Веры.

Однажды под вечер, сидя на скале в лощинке между Монастырем Воплощения и городскими стенами, Рамиро предавался своим мыслям.

Это удивительное по своему расположению место настраивало душу его на возвышенный лад, и в воображении своем он слышал воинственные клики, вздохи экстаза.

⁸³) Великий Полководец — El Gran Capitán — прозвище Гонсало из Кордовы (Gonzalo de Cordoba), испанского военачальника эпохи Фердинанда и Исабеллы, прославившегося при покорении Гранады и во время итальянских походов.

⁸⁴) Эрнан Кортес — завоеватель Мексики (1521 г.).

⁸⁵) „Комментарии к Галльской войне“ Юлия Цезаря.

⁸⁶) Мексика.

Холмы сверкали ликующими переливами влажного золота. До трех часов шел дождь, а теперь гроза удалялась на восток, раскрывая широкие просветы эфирного перламутра. Причудливый султан из золотых и пурпурных туч развевался над городом, все еще сохраняя движение закрутившего его вихря. Шероховатая городская стена отливала ослепительной желтизной, точно исходившей из самих камней.

В эти дни настойчиво поговаривали о возможном восстании всех испанских морисков при поддержке Турции. Во многих дворцах в городе устраивались частые собрания, на которых обменивались известиями и обсуждали слухи. По средам и воскресеньям дом Иньиго де-ла-Ос превращался в муравейник, кишевший духовенством и знатными сеньорами. Участие в Альпухарской кампании и всем известная неприязнь к мнимо-обращенным, сразу выдвинули дон Иньиго, как центральную фигуру таких собраний. Рамиро спрашивал себя, не представится ли во всем этом возможность прославиться для него.

Пршли два мастеровых. По белой пыли, покрывавшей их руки, юноша признал в них каменотесов. Они говорили о харчах и заработной плате.

— Увидев, что никто не шевельнулся, я встал прямохонько, как сосна, перед хозяином и сказал ему, что на те деньги, какие он нам платит, мы не можем прокормить свои семьи, а с его похлебки и несчастной корки хлеба жир в нас так и тает.

— Что же он вам ответил?

— Ответил: плохие бы из вас вышли монахи, бездельники! Знайте, что не один епископ умер бы от зависти к вам.

— Так и сказал?

— Слово в слово!

— Ну, потерпим, Мартин.

Рамиро с досадой тряхнул головой.

Проехал монах-францисканец на сером осле. Лицо его сияло безгрешной веселостью. Из-под рясы виднелась босая волосатая нога. Он подстегивал своего длинноухого скакуна ивовой веткой. Добрый брат нимало не смущался странным своим видом...

Рамиро отметил мысленно силу этого высшего счастья, пренебрегавшего всеми суетными людскими волнениями.

Постом он увидел старую, высокую и сухую женщину, с крючковатым носом, смуглым лицом и блуждающим взглядом. Черные лохмотья ее трепались на ветру, как страницы обгорелой книги. Она шла медленно, стуча о землю палкой. Несмотря на этот нищенский вид, обе руки ее были украшены золочеными браслетами, а на груди болталось ожерелье из двух ниток поддельной бирюзы. Проходя мимо Рамиро, она задержалась, оперлась руками на палку и пристально взглянула на него. Юноша вынул монету и хотел дать ей. Но женщина спросила:

— Вы мусульманин или кастильянец?

— Исконный христианин⁸⁷⁾, по милости Божьей, — ответил Рамиро.

Женщина отказалась от подаяния; протянула руку и воскликнула грозным, пророческим голосом:

— Я иду изобличить вас, неверные, идолопоклонники. Написано, что вы изгоните Агарь и ее сына, а с ними уйдет и счастье. Некому будет орошать ваши поля, распахивать нивы, сеять и собирать жатву, изготавливать тонкие благовония. Кто сумеет обращаться с токарным станком? О, сыны Ислама, руки ваши скованы, но страдание — благодать. Знайте, что рай обещан страждущим, и они будут почтены в блаженных горних обителях.

Рамиро не мог удержаться и, протянув ладонь, попросил ее предсказать ему судьбу.

— Твою судьбу, твою судьбу! — пробормотала мавританка.

Но едва прикоснувшись к его тонкой, энергичной руке, тотчас же ее отбросила.

Рамиро инстинктивно повернул голову и увидел каноника: выйдя из монастыря, он заметил Рамиро и направился к нему.

⁸⁷⁾ Исконный, старый христианин (*cristiano viejo*) — так назывались потомки христиан в Испании в отличие от новообращенных мавров и евреев.

— *Chirromantiam habemus*⁸⁸⁾, — крикнул издали богослов.

Рамиро улыбнулся. Каноник вынул серебряную монету и протянул ее женщине. Мавританка боязливо взяла ее и стала медленно удаляться. Минуту спустя учитель и ученик услышали, как монета со звоном покатилась по камням.

На обратном пути в город, подходя к воротам Адахи, каноник произнес следующее поучение:

— Ну, вот, ты сам видишь, сын мой, какую любовь питает к нам это племя Измаила⁸⁹⁾. Нищая старуха предпочитает быть, как голодная волчица, по дорогам, лишь бы не принять милостыни от нас. С виду они как будто обратились, а на самом деле остались такими же маврами, как и в Африке. Они идут изучать Закон Божий, словно их тащут за волосы, и только страх заставляет их приносить своих детей в наши церкви для принятия крещения. Но, едва вернувшись домой, они выскребают им темя осколком горшка или лезвием ножа и затем тщательно вымывают, чтобы удалить последние следы священного миропомазания. Потом крестят их по-своему и нарекают мавританскими именами, которые они носят до смерти. Они не принимают в пищу никакого животного, заколотого не руками неверных, при чем голова убиваемого животного должна быть непременно обращена на Восток, к Мекке, к Алькибле⁹⁰⁾, как они сами выражаются. Они не пьют вина, не едят свинины, чтобы отличаться от нас, и втихомолку, у себя по домам, соблюдают свои посты и все обряды своей сатанинской секты. Я видел в их домах, в Андалусии, мраморные или обливные глазурные бассейны; мужчины погружаются в них и натираются благовониями, как блудницы, согласно их языческому и развратному обычаю. Моло-

⁸⁸⁾ „Занимаюсь хиромантией.“

⁸⁹⁾ Согласно преданию, арабы ведут свое происхождение от Агари, наложницы Авраама, и от сына ее Измаила; отсюда прозвища мавров-арабов: агаряне и измаильтяне.

⁹⁰⁾ Аль-Кибла — по арабски „то, что лежит перед нами; точка на горизонте, к которой обращаются во время молитвы“; для мусульман эта точка — местоположение Мекки.

дежь их оглашает улицы предместья дикими воплями, и все они питают пристрастие к бубну, к волынке, к кастаньетам, к сладострастным развлечениям танцами, к прогулкам среди фонтанов и роскошных садов, развращающим и ослабляющим душу.

Он на минуту остановился, чтоб откашляться, и, с жесточением сплюнув, продолжал:

— В общественных местах они, понятно, поклоняются Святому Кресту; но когда им случается очутиться без свидетелей перед скитом или иконой, прибитой к столбу на дороге, они подвергают их всяческому поношению. Я сам видел в окрестностях Талаверы⁹¹⁾ ужаснейшую вещь. Несколько этих проклятых собак пошли за дровами в соседний лес. На обратном пути одному из них понадобилось облегчить желудок, и он, сделав крест из двух веток каменного дуба, воткнул его в свои нечистоты и так и оставил. Я был, без сомнения, первым христианином, проходившим теми местами. Увидев возлюбленный крест мой в таком состоянии, я подбежал взять его, укрепил между корнями дуба и благоговейно поклонился ему. Я до сих пор бережно сохраняю его, ради понесенного им поругания, как если бы он был сделан из костей римского мученика.

Солнце закатилось. Оголенный и темный профиль западных холмов вырисовывался на охваченном огнем горизонте. Учитель и ученик подошли к северо-восточному углу стены и обогнули его в южном направлении. Внизу, направо, среди черных камней, вода Адахи отражала зарево расплавленного золота. В церквах отзвонили к вечерней молитве, но колокол на соседней обители Святого Секунда еще продолжал сонно гудеть.

— Что делать, — продолжал каноник — с этим внутренним врагом, столько раз получавшим прощенье? Что делать с этим коварным рабом, который днем подходит к нам с улыбкой на устах, а ночью стережет наш сон, судорожно сжимая в руке кривой кинжал? Твой дед, Рамиро, говорил мне, — а никто лучше него этого не знает, — что эти погонщики мулов и возчики мориски,

⁹¹⁾ Талавера — город к западу от Толедо.

которых мы встречаем на дорогах спящими на солнце возле своих кувшинов, переносят через Кастилию бунтовнические послания из Арагона в Гранаду и из Гранады в Арагон; и ни для кого не тайна, что заговор охватывает всех морисков в королевстве.

Свет в небе погасал; но каноник продолжал говорить все с большим воодушевлением, словно репетируя на пустынной дороге торжественную речь для какого-нибудь собрания.

— Некоторые утверждают, будто изгнание морисков повлечет за собой разорение Испании. Современная алчность, сеньоры! — воскликнул он. — А! их уж нет, славных бойцов старины, что предпочитали крупницу чести набитым сундукам всех жидов и мавров. Нынче арагонские дворяне самые яростные укрыватели и защитники этих неверных собак; и Кастилия полна исконных христиан, польстившихся на мавританские деньги и следующих их примеру. Они думают, что вместе с сынами Магомета исчезнут богатство и улады жизни, и земли их заростут сорной травой. Даже здесь, в городе Верных, городе Рыцарей, городе Святых, большинство городского совета против изгнания. Да и чего же ждать, — прибавил он, понижая голос и говоря почти на ухо юноше, — когда Инквизиция, сама святая Инквизиция получает ежегодно по пятидесяти тысяч золотых сольдо с арагонских жидов и мавров.

И, обращаясь к воображаемым слушателям, волнувавшимся, несомненно, на сцене его фантазии, он продолжал:

— Вы говорите, что изгнание сократит больше чем на половину богатство королевства? Тем лучше, господа сластолюбцы. Что может быть достойнее и целительнее для христианского общежития, чем бедность? Излишние богатства влекут за собой свободу и скупость, точно так же, как в застоявшейся воде разводятся головастики и отвратительные жабы; распутство торжествует, и души утрачивают прежнюю суровую стойкость, на подобие шпаг, которые теперь делают тонкими, как иголки, и покрывают бархатом и драгоценными камнями, чтобы в гостинных не пугать дам. Ливий утверждает, что все

бедствия Рима произошли от его чрезмерного богатства и изобилия, и что оно же явилось причиной крайней порочности римлян. Если мы обратимся к Ювеналу, — прибавил он, помолчав, — то этот автор заявляет нам, что нет того вида злодейства, в какой не впали бы римляне с тех пор, как отвергли бедность. Разве народ Израиля, народ Божий, был богат? Если мы захотим жить согласно с разумом, говорит наш Сенека, никогда не будем богаты; если согласно с природой, никогда не будем бедны. Я лично могу сказать, что ни разу не видел, чтобы кто-нибудь занимал у ростовщика деньги на покупку оливок, хлеба или сыра. И всегда видел, что один занимает на лошадей, другой на богатые одежды, третий на продажных женщин. Так в добрый час, пусть вернутся эти золотые, или как их еще называют, годы, когда люди питались жолудями⁹²). Пусть прекратится этот сумасшедший грохот карет и эти вереницы лакеев, опьяненных тщеславием и вином, — как то, так и другое краденое у их господ. Пусть возродятся старинные суровые добродетели, скудный стол, обильная молитва, и пусть бедная одежда свободнее пропускает к нашим телам благотворную свежесть ветра.

Он умолк и несколько раз сплюнул.

Они вошли в город через Ворота Адахи. Узкие улицы тонули в свинцовой и зыбкой тени. В некоторых тавернах зажглись фонари, и двери их бросали на дорогу мертвенный желтоватый отблеск. У одного окна сидел старик; он прильнул лбом к решетке и смотрел на небо, перебирая четки. У другого, неосвещенного, окна молилась молодая женщина. Лицо ее сливалось с сероватым тоном вечернего часа, и глаза светились странным блеском.

Эта мирная тишина как будто побудила богослова, казалось, окончившего свою речь, вскрыть сокровеннейшие глубины своей совести, и он снова заговорил, но не таким ораторским, а более мягким тоном:

— Дух сострадания, сын мой, следует проявлять лишь в мелких случаях личной жизни, согласно велениям еван-

⁹²) Ср. „Метаморфозы“ Овидия, Книга I, стих 106.

гельского закона. Наш собственный инстинкт преподает нам великий пример, когда побуждает нас спасти муху, попавшую в стакан, а другой раз вкладывает нам в руку скрученное полотенце и заставляет убивать их сотнями на стене и на столе. Пусть один подаст милостыню нищему, хотя бы и держащему в руке Коран; пусть другой пожалеет сироту и вдову, хотя бы они и принадлежали к проклятой секте Магомета; подай напиток мучимому жаждой прохожему мусульманину, или попроси сам воды у неверной, как Иисус у самаритянки; я ничего не скажу, ибо всему этому учит само Евангелие, это — закон, имеющий значение для каждого человека, и насущный хлеб; но когда пробьет великий час возмездия, сумеем, без послабления, выполнить предначертанья Господа, ибо есть и иной закон, сын мой, — прибавил он, поднимая руку и повышая голос, как древний пророк, — иной и более древний, закон народов; есть иной завет, в котором сам Бог, собственными устами, изрекает приговор неверным, когда говорит Моисею: „Приложишь с моею помощью нож к горлу Амореев, Хананеев, Ферезеев, Хеттеев и Иевусеев и умертвишь их⁹³⁾; и присовокупляет: „и не имей к ним сострадания“, *пес misereberis eam*. И точно так же, устами пророка Самуила, он повелевает сказать Саулу, чтобы тот истребил Амалекитян, не щадя ни мужчин, ни женщин, ни даже грудных младенцев, дабы не осталось никакого следа ни от них, ни от их имущества⁹⁴⁾. И мы тоже — мы должны, в виде искупительной жертвы, вырвать с корнем из нашей почвы это ядовитое растение. Не забудем, что мы, в новейшие времена, являемся народом Божиим, каким в древности был народ Израиля. Неудивительно, что полуварварские государства, как Англия, Германия, Богемия, Венгрия делаются жертвой заразы; но как можем мы, которых Господь подарил своим доверием, как можем мы терпеть в своих пределах идолопоклонствующего и кощунствующего раба? Посредством ли вечного изгнания, или совершенного истребления, устроив, в случае

⁹³⁾ Племена неоднократно упоминающиеся в Пятикнижии.

⁹⁴⁾ I-ая Книга Царств, гл. 15, ст. 3.

надобности, Сицилийскую Вечерню⁹⁵) (раньше, чем они совершат ее над нами) — небо явно повелевает нам закончить дело очищения.

— Боязнь крови, сын мой, есть низменный инстинкт человека. Иегова отвращается от порока, от нечестия, от малейшего греха, но не от праведно пролитой крови. Крвь есть роса, необходимая для всякого пышного произрастания, и Господь заставляет ее во благовремени течь с тою же благостью, с какой изливает небесную влагу на вспаханные борозды. Жизни человеческие, как крупинки ладана, ценны лишь по результатам, какие получают от принесения их в жертву. Однако, если желательны более мягкие средства, мы найдем их также в Писании.

Он подумал с минуту, потом продолжал:

— Послушаем, что говорит пророк Оссия об идолопоклонническом племени Ефрема: „Даждь им, Господи! Что даси им? Даждь им утробу неплодящую и сосцы сухи⁹⁶).“ Размыслим над этим вдохновенным речением. Оно повелевает нам совершить с мнимо-обращенными то, что было совершено с племенем Ефрема. Его Святейшество, разумеется, разрешит, и найдутся врачи, которые сумеют применить это средство к их мужчинам и женщинам; и это было бы незаметным, постепенным истреблением.

Он говорил нравоучительным и спокойным тоном, без тени раздражения. Юноша внимательно слушал и впивал его слова, как драгоценную влагу мудрости. Между тем, они дошли до Соборной площади. Молитвенная и воинствующая громада храма четко рисовалась в голубоватой тишине вечера. Последний отблеск заката погасал на ее зубцах.

Ветерок доносил чадные струйки горелого масла. Каноник простился с Рамиро, и когда уже входил в цер-

⁹⁵) Сицилийская Вечерня — поголовное избиение в 1282 г. французов, господствовавших в то время в Сицилии. Сигналом к восстанию послужил благовест, сзывавший граждан к вечерне в Святой Понедельник.

⁹⁶) Книга пророка Оссии, гл. 9, ст. 14.

ковь, его остановил слуга, сказавший, что сеньор де Сан-Висенте просит его пожаловать к себе. Дом этого идальго находился в нескольких шагах, в квартале Сан-Хиль.

XI.

Сеньор Фелипе де Сан-Висенте, член высшего Совета правосудия, комиссар Священной Инквизиции и бывший камерпаж короля, сердечно встретил каноника, и пожал ему обе руки. Потом, заложив засовы на дверях, внезапно спросил таинственным тоном:

— Не могли ли бы вы, сеньор каноник, указать надежного человека для трудного поручения в интересах Его Величества и королевства. Должен предупредить вашу милость, — прибавил он, — что человек этот должен быть безукоризненно чистой крови, очень религиозный, очень отважный и сообразительный, и по возможности, молодой, чтобы его частые появления в каком-нибудь месте могли быть приписаны, например, любовному приключению.

Богослов стал пощипывать нижнюю губу, как бы стараясь таким путем извлечь подходящее имя. После непродолжительного молчания, глаза его вдруг вспыхнули, и он с живостью ответил:

— Да, могу. Я знаю такого.

— Я знаю вашу милость и, следовательно, уверен, что выбор ваш удачен, — отозвался идальго, почти ложась в кресло и вытягивая к брасеро ноги в коричневых бархатных штанах.

Затем с тягучим многословием, прерываемым лишь резкими усилиями, с какими он изредка прочищал себе горло, он рассказал, что, согласно последним донесениям, мориски готовят повсеместное восстание в королевстве, и необходимо захватить их на месте преступления.

— Мы подозреваем, — прибавил он, — что в здешнем городе имеется тайный притон заговорщиков, где постоянно получают мятежные послания из Арагона и Валенсии. Но все это, сеньор каноник, нам необходимо знать точно, потому что большинство город-

ского совета на их стороне, да и всюду в Испании не перечесть знатных людей, которые, из боязни запустения своих земель, лицемерно держат их руку.

Потом сказал, что Мадридская Хунта⁹⁷⁾ возложила на него эту трудную миссию, не считаясь с его возрастом и болезнями, и что он желал бы разделить ее с человеком, принадлежащим к церкви, которого уже самый сан ставит в наилучшие условия для определения качеств и недостатков каждого обитателя города. И он принялся излагать инструкции, которые каноник должен преподать своему агенту. Голос его становился все более хриплым и глухим. Собственная речь усыпляла его. Слова обрывались и замирали. Понимать его стало невозможно. Наконец, сплюнув в последний раз, он поник головой на плечо и заснул совсем.

Богослов не знал, что делать. Двери были заперты, а светильни в лампе вдруг затрещали, угрожая погаснуть. На столе не было ни одной книги, молитвенник он забыл дома. Но он подумал, что нет в жизни положения, которое устояло бы перед высшим философским рассуждением. И, забыв о времени и месте, стал рассматривать этого тупого человека, — однако, легко достигшего высших почестей и бывшего одним из влиятельнейших лиц в государстве, особо уважаемых и любимых королем. Ниже среднего роста, с чуть сгорбленной спиной, рыжеватой бородкой. На лице разлита комическая печаль шута. Нижняя губа выпятилась и похотливо вздрагивает...

Род Сан-Висенте был древним, хотя не особенно знаменитым и знатным. Однако, начало свое он вел от Марии де-ла-Серда⁹⁸⁾, и генеалогическое дерево его украшали Хуан Меркадо, первый дворянин Милана, Томас де Сан-Висенте, прозванный Храбрым, и в особенности,

⁹⁷⁾ Хунта — совет, городской совет.

⁹⁸⁾ Род Серда вел начало от старшего сына Короля Альфонса X, Фердинанда, скончавшегося еще при жизни отца. Дет Фердинанда „инфанты Серда“ были устранены от престола вторым сыном короля Санчо. Они долгое время принимали участие в усобицах за престолонаследие. Мария, супруга Хуана де-ла-Серда (ум. 1328 г.) отличалась набожностью.

Руи Лопес-де-Авалос, коннетабль⁹⁹⁾ Кастилии. Дворяне, носившие его имя, пользовались, в силу старинной привилегии, правом погребения в боковом приделе церкви Святой Марии Кастильской, в Мадригале, капеллан которой содержался на средства, пожертвованные коннетаблем. В Авиле они также пользовались правом погребения: в приходской церкви Святого Фомы, где имеется часовня их рода; в Санто-Томас-эль-Реаль — в самом храме; и в склепе монастыря Сан-Висенте, где фамильные гербы их нарисованы на скамьях главного придела, согласно древнему дворянскому обычаю.

Разглядывая теперь его рыжую бороду, отливавшую пурпуром от отблеска горевшего масла, каноник подумал о древних племенах, проникших с бурных северных морей до берегов Иберии; и, в свою очередь закрыв глаза, с отвращением представил себе рыжеволосых варваров и могучих нагих женщин с волосами апельсинного цвета, словно заранее отмеченных отблеском адского огня.

Вдруг кто-то шумно дернул дверь, и в коридоре слышались отчаянные крики:

— Сюда! Ко мне! Помогите! Умираю!

Каноник вскочил с кресла, отодвинул задвижку и отпер дверь. Это был слуга. Несчастный, белый, как известка, бросился к ногам хозяина, не выпуская из рук голубого бархатного чепрака.

— Что случилось? — спросил не совсем проснувшийся идадьго.

— Дон Педро! дон Педро ищет меня, чтоб зарезать. Вот он идет, вот он! — прибавил слуга, указывая на коридор и дрожа с головы до ног, как одержимый бесом.

Действительно, почти тотчас же в комнату вбежал второй сын идадьго, обезумевший от ярости и с искаженным кровожадной гримасой ртом. Увидев священника, он отвел назад правую руку, и в свете лампы блеснула длинная обнаженная шпага.

Сеньор де Сан-Висенте с кислой и болезненной улыбкой покачал справа налево головой. Между тем молодой

⁹⁹⁾ „Коннетабль“ — высшее военное звание.

человек подошел к слуге и ткнул его в лицо концом шпаги.

— Именем Христа, остановитесь! — властно крикнул каноник, хватая его за руку.

Юноша сдержался и вложил шпагу в ножны, а слуга стоял, разглядывая свои выпачканные кровью пальцы.

— Мало того, что я обездоленный, лишний, проклинаемый сын, надо, чтоб слугам моего брата было дозволено издеваться надо мной! — завопил молодой человек, взглядывая на отца и бегая крупными шагами по комнате. — Это ваша вина, сеньор, вы свели меня на степень прислуги. Майорат, почет, ласки — для Гонсало всего этого мало. Надо еще осыпать его драгоценностями, как какого-нибудь святого чудотворца, отдать ему все лучшее: лучшего коня, драгоценнейший меч, и надо тратить на его наряды больше того, чем вы сами располагаете. Чорт возьми! Недавно вы подарили ему медальон с рубинами, потом ваш золотой кинжал и вышитую перевязь, а мне ничего, ничего! И заставляете меня ходить по городу жалким и оборванным, как нищий. Одному брату пиры, а другому кости и об'едки! Клянусь Христовым именем, разве нас выносила не та же утроба?

Пстом язвительно понизив голос, продолжал:

— Поезжайте в Америку, сын мой, или во Фландрию, а еще лучше примите духовный сан, и мы дадим вам должность капеллана в церкви Святой Марии Кастильской в Мадригале: вот, что вы твердите мне круглый год. Но и этого вам мало! Вы отлично знаете, что Беатриса любит меня еще с детства, и хотели бы, чтобы я и ее уступил брату. С этой-то целью вы заставляете меня ходить в этом несчастном молескине до тех пор пока он не сгниет у меня на теле, чтобы я не мог показаться ни одной женщине. Взгляните на эту дрянную шпажонку, разве это не шпага какого-нибудь презренного студента? А! но как она ни мизерна и ни плоха, она сумеет отомстить за несправедливость. Чорт возьми! Уже год, сеньор, как я просил у вас сбрую для своего коня, и ни вот столько! — вскричал он, щелкнув ногтем большого пальца по зубам: — Теперь вы получаете этот чепрак и, пренебрегая моей просьбой, отправляете его Гонсало,

у которого их и без того много. Да еще эта свинья, — воскликнул он, указывая на лакея, — дразнит меня издали, а когда я прошу показать, он пускается бежать и орет!

Дон Фелипе все так же покачивал головой, не поднимая глаз.

— Но сеньор, — продолжал юноша, — десерт будет не таким сладким, как вы ожидаете. Нет, нет! — вдруг закричал он, ударяя каблуком в пол, и дважды прорычал трагическим и совершенно безумным голосом. Один чулок его спустился и обнажил белую волосатую ногу.

На этот раз идальго решился ответить:

— Успокойтесь, сын мой; таков суровый закон дворянства: вы младший сын. А что касается Беатрисы, то вы сами знаете, что она с детства любит Гонсало.

Юноша опустил на корточки у ног отца и сверкая глазами, хриплым, зловещим и страшным голосом, снова закричал ему в лицо:

— Нет! Нет!

В этот момент вошел старший сын. Его цепь, шпага, пряжка на берете, сверкали в полумраке. На ходу он издавал металлический звон и шелковый шелест.

— Я уверен, — горделиво произнес он, обращаясь к брату, после того, как поклонился канонику, — что вы опять ссорились с отцом.

— Да, — отозвался идальго, — он рассердился на меня за то, что я послал вам этот чепрак, который мне подарил Толедский алькальд.

Слуга поднес чепрак. На обеих сторонах его разноцветными шелками по бирюзовому бархату были вышиты фамильные гербы, и мелкие жемчужинки поблескивали, словно капельки росы меж золотых и серебряных арабесок.

При виде этого драгоценного убора старший забыл на минуту об окружающих, и ему показалось, что чепрак уже красуется на спине его борзого скакуна. В мыслях его промелькнуло лицо Беатрисы за спущенными жалюзи. Потом, очнувшись, он воскликнул:

— Оставьте его, отец, пусть отравляется собственным

ядом. Тем хуже для него, если он не умеет мириться со своим положением.

Эта фраза, брошенная с презрительным вызовом, подействовала, как удар хлыста по ушам тигра. Потрясаемая в воздухе сжатыми в братоубийственном порыве кулаками, младший изрыгал целый поток оскорблений и невнятных угроз, а старший, бледный и неподвижный, смотрел на него с судорожной улыбкой, сжимая в правой руке кинжал.

Вдруг на шум голосов в дверях показалась, как видение, донья Уррака, супруга идальго. Все головы повернулись к ней. В комнате воцарилось ледяное молчание. Это была статная и красивая женщина. Жемчужная сетка сдерживала ее темнокаштановые волосы. Лицо было бледно и довольно смугло, осанка горделивая. Она напоминала железный цветок.

— Что подумает ваша милость о таком бесстыдстве? — воскликнула она, подходя к богослову.

Потом обернулась к мужу:

— Ничего этого не случилось бы, если бы не ваша трусость. Еще немного, и сыновья наши перережут друг друга у вас на глазах.

Идальго все ниже опускал голову, и ладони его нервно потирали ручки кресла.

Донья Уррака продолжала:

— Что же за презренная кровь течет в ваших жилах, сеньор, что вы не блюдете честь вашего дома?

Задетый этим оскорблением, идальго быстро выпрямился:

— Я уже тысячу раз говорил вам, сеньора, — ответил он, вскинув голову и поднимая влажные глаза, — что кровь моя так же благородна и чиста, как кровь благороднейших людей в Испании. Присутствующий здесь сеньор каноник, отлично знает мою родословную, и может подтвердить это. Уж не скажете ли вы, что это пустяк, — прибавил он, вставая, — род, ведущий начало от Санчо де-Сан-Висенте и Марии де-ла-Серда и насчитывающий двух коннетаблей Кастилии?

Жена ответила ему улыбкой, едва тронувшей уголок ее рта. Она тотчас же простилась с каноником и, под-

няв маленькую руку в кружевах, взглянула в глаза обоим юношам и властно проговорила:

— А вы, следуйте за мной!

Она повернулась, уверенная в исполнении своего приказа, и исчезла. Оба брата отправились за ней, и в течение нескольких секунд из коридора доносился звук удалявшихся шпор.

Когда каноник, тоже очень желавший удалиться, спросил дон Фелипе, может ли он безотлагательно приступить к исполнению поручения, злополучный вельможа не сразу сообразил, о чем его спрашивают. Наконец, утвердительно кивнул головой и сказал, что всецело передает в его руки эту деликатную миссию.

Оставшись без свидетелей, Дон Фелипе вынул из внутреннего кармана старые четки и, поцеловав несколько раз крест, зарыдал, как женщина.

XII.

Каноник пролежал всю ночь с открытыми глазами, смотря в темноту, как филин. Невозможно заснуть, и во всем теле какой-то необычный зуд. Не всегдашние укусы хорошо известных насекомых. Нет. То был жар в крови, зуд воли, нетерпения.

Еще до первых петухов он сбросил одеяло и в мгновение ока, с истинно священнической быстротой, оделся. Потом взял молитвенник и, как часто делывал, и раньше спустился в церковь, а оттуда поднялся на вторую площадку зубчатого Купола, образующего одновременно абсиду¹⁰⁰⁾ собора и самую широкую и крепкую башню стены.

Стоял конец апреля. Дыхание зари, словно прохладный душ, успокоило во всем его существе возбуждение от бессонницы.

Окружающий туман слабо отливал цветами радуги, как будто первые алые лучи рассвета уже зажглись на востоке.

¹⁰⁰⁾ Абсид — свод арки, ниши, всякой полукруглой, выступающей части строения.

Не слышалось ни звука. Авила спала.

Робко, слабо, отрывисто, ударил где-то монастырский колокол.

Каноник с наслаждением вдыхал запах влажного камня и невидимых трав, по которым ступали его ноги.

Местамп выплывали какие-то прямоугольные силуэты, точно повисшие в пространстве. В мутных, молочных тонах выступали крыши, одни бледнее, другие отчетливее. Каноник чувствовал, как вокруг рождается и разливается какое-то новое спокойствие, как бы вдыхаемая вместе с воздухом благодать, радостный, девственный полусвет, похожий на чувство ясности, разливаемое в душе причащением.

Башни и контрфорсы храма выступали из под пред-рассветной дымки, как величавое видение; а по обеим сторонам, стенные укрепления, торжественные и призрачные, точно удалялись, становились все воздушнее и, наконец, совсем исчезли. Каноник с небывалой доселе яркостью пережил легендарные воспоминания, связанные с этими зубцами: Галаор, Эспландиан, Амадис, Ланселот¹⁰¹) ... прошли пред ним чередой. То был час, когда странствующие рыцари выезжали из своих замков. Мутный свет отражался в их доспехах.

Пропел петух.

Каноник отогнал воспоминание об этих чарующих историях, отнимавших у него столько часов молитвы и научных занятий. Читать было еще темно; он остановился и облокотился на камень.

Рядом с ним, на парапете, нахохлившиеся воробьи, нисколько не опасаясь его, сушили перья. Другие любовно целовались клювами. В нескольких шагах уже можно было различить красные маки и голубые огуречники, раскрывавшие свои чашечки среди бесчисленных трав, разросшихся между зубцами пышнее, чем на поле. Туман рассеивался, становился радужнее, прозрачнее. Длинная пурпурная полоса протянулась на востоке, словно кривая сабля из раскаленной меди.

В городе стали намечаться улицы. Огромная крыша

¹⁰¹) См. прим. II позади текста.

Дворца Архиепископа обрисовалась над внутренним двором. Источенные камни собора, огромные, закругленные веками зубцы окрасились зарей.

Вскоре каноник увидел вдаль, на холмах, серые тени крестьян, направившихся к Большому Рынку, возле Сан-Педро.

Со всех сторон поднимается шум, кудахтанье и гоготанье, удары молота по наковальням, скрип засовов, смутные голоса.

Наконец над профилем одного холма появляется солнце. Это раскаленный, пылающий уголь, огневой рубин, отбрасывающий ввысь два мощных луча. Богослов вспоминает два пламенных рога Моисея и тотчас же в памяти его начинают звенеть стихи из Писания, диктующие заповеди Завета и повелевающие карать поклонников золотого тельца.

— Вот сам Господь, — воскликнул он, — пользуется этим красноречивым символом, и повелевает мне покарать алчное и кощунственное племя Магомета!

Огромное религиозное возбуждение распаляет его фантазию. Он выполняет священный долг; и почему знать, быть может, доверяя Рамиро эту важную миссию, он открывает ему путь к величайшим почестям.

Уже несколько времени каноник возлагал все свои надежды на этого высокородного юношу, которого воспитывал, чтобы носить потом, как сокола на пальце. Сеньор де Сан-Висенте сказал, что сообщит о результатах расследования Мадридской Хунте. Не завершится ли это предприятие и для него самого митрой и посохом...?

В полдень, не успели еще часы отзвонить двенадцать, Варгас-Ороско послал за своим учеником.

Они сели на скамью в зале для собраний капитула.

Рамиро слушал учителя с обычной покорностью. Инструкция была кратка, решительна и не допускала возражений. Он должен был как можно чаще посещать предместье Сантьяго, заходить во внутренние дворы, в таверны, в постоянные дворы и стараться уловить какие-нибудь изобличающие разговоры. Необходимо как можно скорее

напасть на след и захватить заговорщиков врасплох, на месте преступления, хотя бы и рискуя собственной жизнью. Закончил он следующими словами:

— Некто полагает, что во избежание подозрений, следовало бы разыграть мнимое любовное увлечение. Во всяком случае, помните, что при этом вы будете иметь в виду святую цель.

Они вышли из зала капитула и рассказывали по приделах храма. Каноник продолжал:

-- Пусть послужат вам, сын мой, примером эти торжественные гробницы, где покоятся древние герои, подвергавшие свою жизнь каждодневной опасности ради служения Богу и возвеличения своего рода. Взгляните, как они следуют друг за другом, с отдаленнейших времен, словно позвонки спинного хребта, и передают от одного к другому мозг чести, сосредоточенный ныне в вас самом.

Рамиро охватил озноб. То было обычное действие слова, только что произнесенного каноником: честь! Смутное божество, с невятными велениями, но уже одно имя его ускоряло биение сердца и зажигало благородным румянцем его лицо. Обвивавшие рукоятку шпаги четки звякали, ударяясь о металл.

-- То, что вам предстоит сделать, — прибавил богослов, — совершится ради блага святой Христовой церкви. Если вы хотите достигнуть многого, вверьтесь ее руксводительству, и не раздумывайте чрезмерно над поступками и путями, какие вам укажут ее мудрые предначертания.

Они вышли в боковую дверь придела и очутились в монастырской галлерее.

Солнце горело на камнях внутреннего двора, и розоватый гранит причудливой готическо-мавританской кровли четко выделялся на знойной синеве неба. Прозрачные насекомые взлетали над заросшим травой садом и плавали в светозарном эфире.

Под сводами, возле часовни де-лас-Куэвас¹⁰²), два каменника, разламывая кусок стены, только что открыли

102) Часовня с подземельями.

гробницу. Рамиро и каноник подошли к ним. Вместо надписи — грубый барельеф, изображавший Богоматерь с Младенцем, как-будто смерти этого было достаточно. Новый удар лома углубил отверстие, и сероватое облачко дымскй взвилось в воздух. Один из каменщиков запустил в отверстие руку и вынул маленький металлический предмет. Это была позеленевшая от ржавчины шпора. Каноник почтительно взял ее и, держа в фиолетовом солнечном луче, падавшем сквозь витраж, заговорил, как в бреду:

— Сколько раз вид белых бурнусов на горизонте заставлял ее вонзаться в бока скакуна в героическом и кровожадном порыве! Вот, Рамиро, эмблема рыцарства, герб сапога, колокольчик чести! Один ее звон по камням облагораживает поступь идальго.

Он улыбнулся, обнажив крепкие зубы, потом торжественным, почти горестным тоном, продолжал:

— Как жаль, что никакая изящная и ученая эпитафия не говорит вам о роде и заслугах этого древнего рыцаря, чей прах перед нами!

И протягивая шпору, чтобы ее положили обратно в гробницу, закончил:

— Вернись почивать с костями своего хозяина, реликвия старинной христианской чести! Мы же помолимся за неведомую душу, которую ты облагораживаешь и в самой смерти.

Он снял шляпу и, склонив голову, стал вполголоса читать молитву. Рамиро последовал его примеру.

XIII.

Выполнение трудного предприятия сосредоточило разбросанную энергию Рамиро. До сих пор он жил в огромном и химерическом мире рождающихся честолюбивых замыслов. Он проводил бесконечные часы, рисуя себе неслыханные подвиги или разжигая в своей душе желания власти и величия, постепенно сбывавшиеся в цепи грядущих дней так полно, как полны кувшины зарытого в земле клада.

Одиночество усиливало его возбуждение. У него не было ни одного товарища-ровесника. С детских лет, несмотря на противодействие матери, он старался сблизиться с несколькими мальчиками, и познакомился с Нуньес-Вела, с Вальдивьесо, с двумя братьями Ренхифо, с Диего Давила и с Нуньо Симдрон. Он мечтал о героической дружбе, весь был откровенность, сердечный пыл, и без оговорок, полной чашей, приносил им свое верное сердце; но вскоре заметил, что тайная враждебность смыкает всем уста в его присутствии, и что горячая рука его встречает лишь вялые и холодные пальцы. Остальные, напротив, относились друг к другу по-товарищески, и общая неприязнь к нему, их молчаливый заговор, как-будто сближал их еще теснее.

— Почему? Почему?—беспрестанно спрашивал он себя с мужественной печалью и не желая думать о мести, — почему я не могу приобрести сердечного расположения, которое на каждом шагу дарится глупцам, а иногда злодеям и предателям?

Он еще не подозревал опасности того бессознательного духа гордости и силы, какой проявлялся во всех его речах.

Однажды, прогуливаясь по Главной Улице с единственным оставшимся у него другом, Мигелем Ренхифо, он сказал в минуту душевной горячности:

— Если я добьюсь славы, Мигель, и если после замечательного подвига меня сделают комендантом какой-нибудь крепости, я призову вас к себе и сделаю своим первым капитаном.

Ренхифо, прозванный за малый рост Карликом, повернулся на каблуках и с раздражением ответил:

— А почему это не я добьюсь славы, и не я призову вас к себе и сделаю своим капитаном?

И этот друг покинул его. С тех пор Рамиро замкнулся в собственной гордости и, отвернувшись от всех, примирился с одиночеством.

День за днем, и с каждым разом все смелее, Рамиро обходил предместье Сантьяго. Боязнь опасности была ему неведома еще с первых лет отрочества. И теперь

он относился к своей жизни и к чужой с беспечностью фаталиста. Он гордился своей миссией, и это удваивало его отвагу. Он был агентом Его Величества, хранителем важной государственной тайны. Почему знать, может быть, под видом этого случайного назначения, при дворе умышленно выбрали именно его? Во всяком случае, если даже и не так, монарх вскоре услышит его имя.

Иногда, идя по узким извилистым улицам мавританского квартала, он воображал, что открыл уже всю канву заговора, и видел перед собой богоподобное лицо Филиппа Второго: вот он торжественно подходит к нему и возлагает ему на шею цепь почетного ордена.

Он выходил ранним утром, без мула и без слуги, одетый очень просто, чтобы не обращать на себя внимания; но все же с прекрасной, закаленной в Толедо шпагой, подаренной ему братом его бабушки дон Родриго дель-Агила, с запасным кинжалом и во всегдашней своей безрукавке из буйволово́й кожи под камзолом.

Почти всегда он выходил из города через ворота Антонио Вела, и с видом гуляющего без дела человека кратчайшим путем спускался по южному склону. В небольшом предместье Сантьяго было больше оживления и шума, чем во всем городе. Воздух и солнце казалось напоенными плодovitостью расы. Выбеленные известкой ворота извергали на грязную мостовую кучи полуголых ребятишек. Торговцы и покупатели кричали во все горло. Поминутно вспыхивали ссоры. Слышалось неумолчное ссное гудение токарных и ткацких станков, напоминавшее бормотанье общей молитвы в мечети.

Мужчины почти все были одеты по испанской моде; некоторые в коротких холщевых штанах, какие носят моряки. Женщины в ярких юбках и коротких кофточках. Приятно было смотреть на идущую по улице колыхающую фигуру молодой девушки; часто ноги ее бывали босы, но затейливая прическа непременно украшалась желтой розой или кровавой гвоздикой, задорно вплетенной в косы. Бедра ее то обрисовывались, то скрывались на ходу. Улыбка ее была краше жемчугов. Мужчины останавливались полюбоваться ею. Одни шептали ей на

уху какие-то слова по-арабски. Другие поднимали голову и сладострастно втягивали воздух, как верблюды.

Не спрашивая о цене Рамиро бросал на прилавок какую-нибудь крупную монету, и покупал надушенную девичью кофточку или детские башмаки и дарил их потом матерям-мавританкам. Он начал свои прогулки с ненавистью в сердце; но, мало-по-малу, самая его благотворительность, хотя и притворная, его покровительственное обращение и выражение кротости, которое он читал на всех лицах, смягчили его душу, и он стал на каждом шагу открывать новое очарование в беспечной и чувственной жизни мусульман.

Лучшим местом для шпионства являлись таверны. Самая посещаемая из всех находилась напротив церкви Сантьяго. Содержал ее один мориск, прозванный Назарянином, вероятно, за сходство с бородатым и черным Христом, каких видишь в обителях пустынников. В десять часов утра и в шесть вечера в этот кабачок заходили всякие люди: погонщики, оставившие во дворе мула и кувшин; землепашцы с долины, при входе вытиравшие локтем пот со лба; башмачники, горшечники, лудильщики, ткачи из предместья. Рамиро тоже садился, скрестив ноги, на цыновку, заказывал какое-нибудь прохладительное и принимался наблюдать из под широких полей своей шляпы. Однажды утром он прошел на задний двор и увидел, как убивали теленка, повернув его головой на восток. Два старика, склонив лица, бормотали молитву, и, заметив, что юноша не следует их примеру, взглянули на него с изумлением. Рамиро удалился, гордясь подсмотренной тайной, но не замедлил убедиться, что альгуасилы, заходившие в кабачок, частенько присутствовали при этих сатанинских обрядах, и что Назарянин подкупал их всего на всего румяной и хрустящей оладьей, только что снятой со сковородки.

В конце концов, на Рамиро стали обращать внимание. С ним заговаривали по-арабски, и он не мог ответить. Несколько полевых рабочих признали его, и с этого времени на него стали посматривать все более враждебно.

Раз вечером, возвращаясь домой и проходя под деревь-

ями позади церкви Санта-Крус¹⁰³), он внезапно услышал громкий выстрел и резкий свист, над его головой. Он оглянулся. Слева от него в воздухе плыло белое и круглое облачко. В него выстрелили из мушкета. Он схватил шпагу и поспешно обошел все это место. Никого не было видно. Продолжая путь и машинально сняв шляпу, он увидел на обеих сторонах тулья по круглой дырочке.

Это не заставило его прекратить посещения таверны в предместье. Мориски встречали его теперь со страшными лицами и сейчас же принимались разговаривать между собой. Один раз ему предложили напиться и подали налитую до краев чашу. У него мелькнула мысль, что напиток может быть с отравой или с наговором. Однако, он решил принять угощение, как вдруг почтенный человек, в дворянском платье, с кривым, осыпанным камнями кинжалом за поясом, поспешно поднялся из самого темного угла комнаты и подойдя к нему, сказал, удерживая его руку:

— Выпейте из этой чаши, более достойной уст идалго.

И прстянул ему свою чашу из темной стали, тоже полную, с красивой дамаскировкой из красного золота.

Рамиро, не колеблясь, выпил, вверяясь своей судьбе.

Человек с кинжалом обвел остальных загадочным взглядом.

Лицо его не было ново для Рамиро. Он припоминал, что видел его несколько раз в своей жизни; ему случалось возвращаться домой, размышляя об этом человеке, часто встречавшемся с ним у городских ворот. Не он ли таинственный незнакомец, убивший кабана в той памятной охоте ...?

Выйдя из таверны, Рамиро мысленно сравнивал лицо этого человека с чертами, почти изгладившимися из его памяти, и перед ним вдруг возникла вся эта давнишняя сцена ...

Это было лет десять тому назад. Дон Алонсо Бласкес пригласил на охоту многих городских дворян. В числе приглашенных были и Рамиро с матерью. Стоял октябрь

¹⁰³) Церковь Св. Креста.

месяц. Он и другие мальчишки ехали вместе с дамами, и ему казалось, что он и сейчас видит, как они, в зеленых или коричневых бархатных платьях, мчатся на своих иноходцах следом за охотниками по залитым солнцем полям.

Огромный кабан, возвращавшийся от места приманки, прорвал цепь охотников; потом, миновав густую и колючую заросль, проник в дубовую рощу и устремился в горы. Спущенные со свор собаки настигли его и задержали невдалеке, пока псаря тщетно старались пробиться сквозь заросль. Между тем, от каждого удара клыков прислонившегося к дереву кабана, собаки падали одна за другой с выпущенными кишками. Борьба становилась все ожесточеннее. Доги хватили кабана за уши, гончие — за задние ноги, борзые — за что попало, и невозможно было притти им на помощь. Дамы ахали, видя, как одна за другой гибнут желтые и белые красавцы-борзые. Вдруг справа от охотников промчался неизвестно откуда появившийся всадник на дивном скакуне, и, заставив его сделать чудовищный прыжок, перелетел через изгородь. Потом сейчас же соскочил на землю и, оттолкнув одну из гончих, схватил одной рукой кабана за загривок, а другой вонзил ему кинжал под ключицу. Кабан упал, а всадник, вспрыгнув на коня, вторично перескочил через изгородь, махнул дамам беретом и ускакал. Широкий желтый плащ его развеялся на ветру, как знамя, подхваченное неприятелем. Все с изумлением глядели ему вслед. Рамиро помнил, что мать его, никогда не бывавшая на охоте, упала в обморок. И теперь ему казалось, что тот таинственный охотник был не кто иной, как человек, поднесший ему в кабачке свою стальную, с золотыми разводами чашу.

„Къ чему раздумывать над этим?“ сказал он себе наконец. „Важно то, что у этих собак возникли подозрения, и они ищут способа избавиться от меня. Любовное приключение! Без этой маски я не смогу продолжать начатого.“

Перед глазами его промелькнули лица ткачих, торговков фруктами, простых прислужниц у водоемов.

Солнце село. Улицы опустели. Послышался шорох

жалюзи, и не успел он полюбоваться белизной украшенной браслетами руки, просунувшейся между деревянными брусками, как крупный красный цветок гвоздики с силой ударился о его лицо. Рамиро подошел и заглянул в отверстие. Виден был лишь сумрак глубокой комнаты. Но изредка слышался слабый и дрожащий смех, похожий на лепет струй фонтана.

Тщетно прождав некоторое время, он вернулся в город. Огромная тень башни Алька́сара¹⁰⁴⁾ вырисовывалась на чистом зеленоватом небе. Почти стемнело.

XIV.

На следующий день Рамиро, как и всегда, спустился с холма Санта-Мария-де-Грасиа и направился в самый оживленный квартал предместья Сантьяго с твердым намерением добиться продолжения вчерашнего приключения.

Под знойным июньским солнцем площадь дель-Рольо имела вид какого-нибудь берберийского¹⁰⁵⁾ рынка.

В тени крытого переулка с западной стороны, громоздился на земле пестрые товары. Старик, продававший ароматические эссенции, сам нюхал флаконы, изображая на своем лице невыразимый восторг, для прельщения девушек. Рамиро прошел мимо и немного подалее заметил толпу любопытных, собравшуюся возле мясных рядов.

„Ссора между мясниками, наверное кого-нибудь убили,“ — подумал он.

Но потом вспомнил, что день был субботний, и мавританские мясники, по старинному обычаю, должны в этот день кормить на свой счет охотничьих птиц, принадлежащих городской знати. Мальчиком он много раз любовался этой картиной. Он подошел ближе.

Зрители стояли широким кольцом, каким окружают жонглеров и танцовщиц.

Мориски ходили взад и вперед, разнося мясо в кор-

¹⁰⁴⁾ Алькасар — замок (арабское слово).

¹⁰⁵⁾ Берберы — народ, живущий в Северной Африке.

знах или горшках, а бесстрастные сокольники спокойно ждали возле своих птиц. Судя по огромному количеству птиц, страсть авиланцев к соколиной охоте была очень велика.

Тут были черные соколы с длинными и тонкими пальцами; они с презрением относились к жерди, и как бы требовали, чтоб их всегда носили на руке; много зеленоватых соколов с желтыми пятнами, точно обрызганных серой, и с бубенчиками на лапах для охлаждения их пыла; серые тремесенские пустельги с жуткими зрачками; астурийские сокола с перьями между пальцев; норвежские кречеты, белые, как чайки; и несколько таких, которых в Кастилии называют учеными закрылья, испещренные во всю ширину письменами, как листы книги. Были и задумчивые галисийские сапсаны, майоркские соколы, рыжие египетские соколы, разумеется, не мало и знаменитых педрочских ястребов-перепелятников, достаивающих ступать лишь по ярко-красному сукну. Всего больше было ястребов-курытников: ястреба норвежские, сардинские, славонские; и выписанные доном Алонсо Бласкес-Серрано из Альхесираса, — эти были ростом меньше других, но уносили зараз по две утки и ловили зайца без помощи собаки¹⁰⁶).

В одном месте два соколятника двазнили, для забавы тглы, злобного кречета, снимая и надевая ему колпачек. В другом сокольник в ливрее дома Дáвила отпускал ремешок ястребу, давал ему взлететь, а потом заставлял быстро спускаться, помахивая приманкой чучелом перепела.

Рамиро с восхищением смотрел на этих кровожадных птиц, мрачных и жестоких пернатых, грозу добычи, единственных, достойных садиться на перчатку короля. Это были идалго несметного крылатого племени, конкистадоры, вонтели, краса небесных пространств. С алчно разинутым клювом, злобно напряженными когтями и быстрым отважным крылом, они устремляются на любую птицу, как бы сильна она ни была, и точно радуются страшным ранам, какие они часто получают на воздуш-

¹⁰⁶) См. прим. IV позади текста.

ных высотах. Никогда не думав об этом раньше, юноша увидел теперь эмблему своей души в этих грозных птицах, которые, даже и дремля на жерди, наносили клювом направо и налево яростные удары, грезя о воображаемой добыче.

Вдруг он почувствовал, что его трогают за плечо и, повернув голову, увидел перед собой фигуру, не изгладившуюся из его памяти. То же ожерелье украшало ее шею; но одета она была не в такие оборванные и мрачные лохмотья, как в тот вечер возле монастыря Воплощения. Это была старуха, которую он мысленно называл ведьмой.

- Не ушибла вас вчера вечером гвоздичка? — спросила женщина, поглядывая на него со слащавой улыбкой.

Потом таинственно понизила голос:

— Еслиб ты ее видел! Это первая красавица в Кастилии. Весь день только и делает, что поет да думается.

Юноша вспомнил о цветке, накануне брошенном ему в лицо женской рукой. Старуха продолжала:

— Она гурия¹⁰⁷⁾ превышнего неба. Если хочешь с ней познакомиться, следуй за мной, но ни о чем не спрашивай.

Рамиро пошел за ней, держась на расстоянии.

Дойдя до ворот дома, стоявшего несколько в стороне, женщина остановилась и осторожно поманила его рукой. Они вошли в маленький и бедный внутренний двор. Столбы были из почерневшего и прогнившего дерева. Возле цистерны раскинуло кривые ветки старое гранатовое дерево. Ослепительная белизна известки, темная лазурь неба и красные цветы мальвы на окнах составляли чарующую дисгармонию. Они прошли несколько комнат с кроватями и перинами, как в мавританских постоялых дворах. Однако, несколько распятий на стенах и две или три статуэтки Богоматери на столах указывали на то, что в доме живут христиане.

Проходя через второй двор, они увидели носилки с кожаными занавесками. Старуха сказала, что для того,

¹⁰⁷⁾ Гурия — райская дева, по верованиям мусульман.

чтобы попасть к красавице, бросившей гвоздику, нужно сесть в эти носилки и отправиться в другой дом мавританского квартала. Рамиро плечами и движением губ дал понять, что ему все равно. На зов старухи явились два носильщика с широкими ремнями. Юноша не стал раздумывать над тем, что ему грозит опасность подвергнуться какому-нибудь преступному покушению, и улыбаясь сел в носилки. Кожи были сшиты так плотно, что не пропускали ни единого луча света. Носилки двинулись. Наконец, после неопределенного, но довольно продолжительного времени, они остановились.

Рамиро вышел и очутился в темном и запущенном помещении. Старуха завязала ему глаза лоскутом черной ткани и, взяв за руку, повела, должно быть, по подземному коридору, судя по холоду, который Рамиро ощущал в плечах, и по землистому запаху воздуха.

Он вспомнил о подобных же эпизодах, вычитанных в рыцарских романах, и подумал, что все это — начало какого-нибудь замечательного события, достойного быть переданным в грядущие века.

— Если звездой моей не предопределена мне такая смерть, — говорил он себе, — то все козни будут бессильны. Если же, наоборот, конец мой должен быть таков, то к чему противиться?

Они спустились по нескольким ступенькам и старуха свистнула у него над ухом. Посышался звук отодвигаемой задвижки и скрип двери. Слабый свет проник сквозь повязку на его глазах, и в голову ему ударил одуряющий аромат.

Старуха сняла с него повязку, и он увидел, что находится в арабском покое с выложенными изразцами стенами и деревянным потолком, сколоченным в переплет. В противоположную дверь выходил тучный человек в широком голубом халате. Вдоль стен — старые диваны, мраморный пол устлан коврами и суфры¹⁰⁸⁾, в глубине виднелись две пестрые, позолоченные арки; кое где — столики с инкрустацией из слоновой кости и перламутра.

¹⁰⁸⁾ Суфра — арабское слово, обозначающее скатерть, которая стелется на пол и на которой расставляются кушанья.

На одном из них — медная курильница; от нее быстро и прямо тянулись три струйки благовонного дыма. Женщина оставила его одного и пошла в другие комнаты, крича в тишину:

— Аиша! Аиша!

Вернувшись, она подошла к стене и сдвинув слегка раскрашенную доску, вынула внутреннюю перегородку ниши, пробитой во всю толщину стены. Это была одна из тех ниш, украшенных маленькой аркой, где мусульмане хранят в более или менее красивых амфорах какую-то особенную воду; качества ее старинные надписи воспевают в высренних хвалах, превозносящих ее до небес. В этот момент там стояла лишь пара женских туфель цвета киновари. По знаку старухи, Рамиро снял берет и, просунув голову в нишу, заглянул в соседнюю комнату. Ему показалось, что он грезит!

То была комната для омовений, полная сокровенной и усыпляющей тишины. Свет проникал в нее лишь в немногочисленные отверстия в своде, сквозь толстые звездообразные стекла, напоминавшие окраской рубин, сапфир, топаз и берилл. У противоположной стены виднелся глубокий альков, устланный подушками, и зовущий насладиться томной усталостью, вызываемой купаньем.

Но юноша с жадностью впился глазами не в широкий мраморный бассейн, занимавший середину комнаты, не в звездообразные стекла, и не в бархатные и шелковые подушки, а в нагую красоту молодой женщины, лежащей в воде.

Распущенные волосы ее, окрашенные генной¹⁰⁹⁾, тихо колыхались на поверхности или погружались в воду: волнистые, длинные и густые, они вызывали в представлении огромные мотки пряжи, из которых можно выткать целый плащ. Несколько прядок, еще маслянистых от помады, перевесились через край бассейна. Волосы это, или же змеи, околдованные какими нибудь неведомыми чарами...? Рамиро любовался нежностью okay-

¹⁰⁹⁾ Генна — дерево, дающее красную краску для волос бороды.

мленных тенью век с удлинёнными сурьюмою ресницами и удивительной улыбкой, мечтательной и нежной, чуть шевелившей ее губы, словно невидимые крылья обведали их ласкающей прохладой.

Вдруг женщина испуганно подняла веки, и большие глаза ее устремились к тому месту в стене, где стоял Рамиро. Однако, он не сделал ни малейшего движения.

В эту минуту в комнату вошла служанка, одетая в одну только узкую, желтую с зеленым юбку. Прижимая к смуглым обнаженным грудям золоченый поднос, она несла на нем флаконы, горшечки, кисти, щипчики и другие предметы, которых молодой человек не мог рассмотреть. Она опустила на колени возле бассейна и стала втирать в тело своей госпожи розовую жидкость, распространявшую сильный запах мускуса. Женщина вдруг забилась, как пойманная рыба, приоткрыла губы, точно впивая разлитое в воздухе желание, и глаза ее снова обратились к тому же месту в стене.

Наконец, она поднялась, и мокрые волосы потянулись за ней из воды прямые, тяжелые, шурша, как водоросли в отливающей волне.

Вот выступили девственные упругие груди, смуглые, почти золотистые, точно янтарные чаши; и юноша почувствовал, как все тело его вслыхнуло от соблазна обнять этот стройный стан и широкие бедра, блестящие в полумраке от стекавшей с них струйками воды.

Звучно побрякивая кольцами и браслетами и оставляя на мраморе влажные следы ступней, женщина пошла к алькову. Когда служанка тщательно вытерла ее и удалила серым порошком жир с волос, она вытянулась на спине на подушках и лежала, как мертвая, предоставила ей действовать кистями и притираниями.

Спустя несколько минут появился человек в голубом халате, которого Рамиро видел при входе. Он держал в руках нож и бритвенный тазик. Приблизившись с крайней почтительностью, он стал брить красавицу-мавританку по восточному обычаю.

Тогда, побеждая алчное желание, в сознании Рамиро громко заговорило возмущение этим развратным обычаем омовений и сладострастным культом собственного

тела. Величайшее целомудрие, аскетическое отречение, презрение и подавление плоти, этой брэнной оболочки, святая нечистота монахов, изумительных анахоретов, оставляющих гнить одежды на теле, как предваренне могилы: святой Оспиций, с'еденный вшами, святой Макарий, потонувший в грязи, святая Мария Египетская, высохшая на солнце в кусок кожи, святая Пелагия, жившая среди своих испражнений, святая Исабелла, пившая воду, в которой мылись чесоточные, — и наконец, величайшее парение духа, распускавшееся, как цветы чистсты на плотском навозе, покаяние, умерщвление плоти, власяница, — все это с быстротой молнии промелькнуло в его мыслях.

Но суровое видение не устояло. Чувства оказались сильнее. Вихрь страсти погасил внутренний свет. Перед ним, в двух шагах от его уст, от его юности лежала нагая, прекрасная женщина.

Весь во власти соблазна и дрожа от него, как тростинка в потоке, Рамиро не заметил, что служанка, обойдя бассейн, подошла взять в нише туфли.

Увидев перед собой человеческую голову, она в ужасе вскрикнула.

Через несколько времени дверь, сообщавшаяся с комнатой для омовений, отворилась, и вошла сама прекрасная мавританка; волосы ее были убраны в золотую сетку с круглыми изумрудами. Белая фата спадала с головы до широких шаровар из зеленой тафты, обшитых тяжелой бахромой. Не глядя на Рамиро, она приблизилась к нише, словно разглядывая стену; потом обернувшись к старухе, излила на нее свое негодование гортанными и твердыми звуками арабской речи. Яркий румянец, подобный бархатистому кармину розовых лепестков, окрашивал ее щеки; но как только она узнала юношу, тотчас же приветливая, чарующая, завораживающая улыбка обнажила белые зубы, и лицо ее стало сразу ясно и спокойно, как луна.

— Ах, этс ты, сеньор дон Рамиро! — воскликнула она. — Добро пожаловать! Прости, если вчера на улице я ушибла тебя цветком. Я хотела бросить его тебе на шляпу.

-- Мне было больно не от цветка, — ответил Рампро, — а от вашего смеха.

— Пустяки! Я смеялась от радости, что ты стоишь совсем, совсем рядом со мной. Я прижалась к решетке, п ты не мог меня разглядеть.

Вернувшись в купальную комнату, она легла в алькове на грудь и предложила Рамиро сесть на подушку. Они долго разговаривали. Для юноши то была странная, почти фантастическая беседа. Сарадинка не умолкая, засыпала его вопросами, как дети. Спадавшая на лоб бахромка из металлических пластинок, еще усиливала загадочное мерцание ее глаз. Униженными перстнями пальцами она ежеминутно протягивала Рамиро какое-нибудь лакомство и смеялась, откусывая от того же кусочка, смеялась, как полудикарка, с непонятной, чарующей животностью, а с поразительно длинных и беспокойных ресниц ее как-будто сыпался какой-то таинственный, сладострастный и колдовской порошок.

XV.

Когда Рамиро, очутившись снова дома, среди знакомой обстановки своей комнаты, снял плащ и шпагу, расстегнул камзол и бросился на кровать, ему показалось, что вся жизнь его сразу запуталась, как интрига какой-нибудь романической истории. Он испытывал то неопределенное состояние, когда не знаешь, живешь, или гредишь, ощущал оторванность от действительности, чувство какого-то парения над жизнью, какое вызывают в нашем существе сильные душевные потрясения. Кроме того, искушение затемняло ему разум, рвало на куски мысли и не давало им сойтись в стройную цепь. Тщетно сознание пыталось нарисовать ему опасность, какой подвергались его религиозные чувства под чарами такой обольстительной красавицы. Безликие, пророчески взывающие голоса прорезывали воцарившуюся в его душе тьму, вопя невнятные предсказания. Он не хотел слушать и смеялся над своими страхами. Он был так уверен в глубине своей религиозной веры! Даже если эта женщина и неверная

— что ж такое? Ведь наслаждение будет лишь минутой, мгновением ока в его жизни. Насытив желание, он сумеет далеко отбросить чашу, не коснувшись осадка. И потом, как знать, быть может, эта женщина выдаст ему, в промежутке между ласками, тайну, которую он ищет. Ах! в таком случае, он вполне уверен, каноник оправдает его. „Помните, что вы будете иметь в виду священную цель.“ Разве это не его собственные слова? Не он ли сам посоветовал ему поискать любовного приключения чтоб облегчить свою задачу?

Он снова пошел в дом в предместье, и возвращался туда не один, а много раз. Он понял, что противодействие бесполезно. Аромат женщины преследовал его везде и всюду. Он был в воздухе, на его губах, на руках, в платье. Еле уловимый запах пота, смешанный с ароматом жасмина и мускуса. Ее влажные, длинные, знойные поцелуи горели на его губах.

Она не заставила его терпеть муки долгого ожидания. Во второе же его посещение, надушив себе волосы, она отдалась ему с такой сосредоточенной страстностью, что любовь в ее объятиях казалась исполнением священного обряда. Губы ее раскрывались в страдальческой и восторженной улыбке, как будто она хотела изобразить первое болезненное наслаждение девиц.

Магнит этой чувственности действовал с каждым разом все сильнее. Уже редкий день Рамиро не проводил нескольких часов в обществе Аиши. Порой, когда он находился с нею, в нем поднималась волна тревожных чувств; он хмурился, и взгляд его становился неподвижным. Тогда Аиша прижималась губами к его губам, и целовала в зубы сладким и сочным, как финик, поцелуем. И каждый раз эта необыкновенная ласка наполняла все существо его страстью и радостью.

В конце концов, совершенно забыв о своей миссии, ослабев от любви, истомленный негой, Рамиро незаметно перенял все утонченные привычки, составлявшие обычную жизнь его возлюбленной. Как только он приходил, Аиша с отвращением ощущивала его жесткое и толстое платье и приносила вместо него, на часы наслаждения,

какой-нибудь шелковый халат, тончайшую сорочку из надушенного мускусом крепа.

Ноги его poznали негу мягких туфель. Волосы — ласку газа, которым она обматывала их бесконечно долго, прежде чем скрепить на лбу каким-нибудь пышным украшением. Он позволял невольнику втирать в свое тело ароматные шарики, позволял ради забавы подрисовывать себе веки сурьмой; и фанатическое отвращение его к омовениям исчезло, когда возлюбленная посвятила его в улады любви в этой насыщенной народом воде, куда она бросала пригоршни розовых лепестков, совсем бледных и кроваво-алых, символизируя двоякое наслаждение своего тела.

Порой, ловя момент высшего блаженства, когда большие глаза юноши туманились, как вода в грозу, мавританка, освобождаясь из его объятий, спрашивала:

— Ты тоже отдаешь мне всю душу? Всю? Ты будешь так же любить, будешь так же верен, как твоя Аиша?

Рамиро утвердительно кивал головой; но она, отодвинувшись в глубину алькова, спрашивала снова:

— Ты клянешься? Клянешься?

Он тянулся к ней и бормотал, как пьяный:

— Да! Клянусь! Клянусь!

Или же, в часы удовлетворенности, сарадинка приподнималась на подушках и дрожащими губами читала какой-нибудь священный стих Корана. Рамиро казалось, что он слышит слова Нового Завета, пересказанные по своему испанскими морисками.

А она торжественно читала главу о Марии:

„Слава Марии... Хвалите день, когда она удалилась от своей семьи на восток, взяла покрывало, чтобы накрыться, мы же послали ей Джибриля¹¹⁰⁾, нашего духа в человеческом образе. — Я послан к тебе Богом, — сказал ангел, — и пришел возвестить тебе о рождении благословенного сына.“ — „Откуда может быть у меня этот сын,“ — ответила дева, — „если ко мне никогда не приближался ни один мужчина, и сама я не была распут-

¹¹⁰⁾ Архангел Гавриил.

ной...?" — Сын твой будет чудом и счастьем вселенной.

Она рассказала ему и о встрече Иисуса с мертвой головой, — старинную легенду, пахнущую истлевшими костями, окрашенную тонами загробного мира и неотвязную, как смерть.

Рассказала и „Слово о девице Каркайоне“¹¹¹), ослепительное и страшное. Лежа рядом с ним на животе, с прикрытыми бахромой из металлических пластинок глазами, подперев рукой подбородок и прижав ногти к губам, гибкая и нагая, она шептала ему о золотом голубе с жемчужным хвостом и, дойдя до описания небесного блаженства, обвивала его руками, прохладными, как ручки Сальсабила и Алькафура¹¹²), и страстно прижималась лицом к его лицу.

С течением времени, когда они достигли любовного единения душ, они поделились своими сокровеннейшими печальями. В минуты истомы мысль о бренности всего людского касалась чела Рамиро, словно веяние призрачного крыла. В одну из таких минут, чувствуя на своей груди дремотное дыхание женщины, он сказал с грустной нежностью:

— И подумать, Аиша, что, может быть, настанет день, когда, встретившись на какой-нибудь улице, мы взглянем друг на друга с ненавистью!

— Может быть, а может и не быть, — ответила сарацинка. — От судьбы не уйти, она повешена нам на шею.

Потом, как бы решив, что пришел момент, ожидаемый столько дней, она вышла из алькова, взяла с табурета красноватый ларчик из слоновой кости и, вынудив из него старинную книгу, воскликнула:

— Все меняется, это правда; и, может быть, настанет день, когда ты выдашь меня палачу. Но эта книга, написанная мудрым Абентофаилом¹¹³), учит такому счастью, которое, если и меняется, то только для того, чтоб возрастать.

¹¹¹) См. примечание V позади текста.

¹¹²) Райские источники (Коран).

¹¹³) См. прим. V позади текста.

И тотчас же глухим, таинственным голосом прибавила:

— Она написана непонятными словами.

И призналась, что никогда не проникла бы в ее смысл без помощи одного человека, находившегося в это время в Авиле.

При последних словах Рамиро повернулся на подушках, и взгляд его выразил нетерпеливое любопытство.

— Его нетрудно узнать, — продолжала мавританка звонким и радостным голосом; — он всегда носит у пояса кинжал в золотых ножнах, осыпанных алмазами Кришны, бериллами Казбы¹¹⁴), жемчугами Эль-Катифа¹¹⁵), а рукоять кинжала из магнитного камня и в мгновение ока высасывает из человека всю кровь. Борода его бела и блестяща, как серебро, а лицо прекрасно, как луна в четырнадцатый день. Он никогда не смеется, ходит неторопливо.

Роня эти хвалы одну за другой, как жемчужины на звонкий поднос, сарадинка украдкой наблюдала за выражением лица юноши. Потом в выпретенных выражениях и с величавыми жестами, каких Рамиро до сих пор не замечал в ней, она сказала, что ничто не может сравниться в этом мире с счастьем человека, погрузившегося в созерцание единого, истинного, вечного Существа, и всегда устремляющего свои мысли на его величие и благость, дабы смерть застала его в этом состоянии.

По словам Апши, книга Абентофанла открывает доступ к Высшему Видению.

Она села на ступеньки алькова и стала читать. Книга была написана по-арабски; но она переводила отдельные фразы на испанский язык и потом по своему излагала содержание глав. Голос ее дрожал. Вся она была озарена, точно светом, какой-то особой нежностью, святостью. Опущенные веки были чисты потусторонней чистотой; Рамиро слушал ее, все более и более проникаясь ее сло-

¹¹⁴) Казба — в Марокко.

¹¹⁵) Эль-Катиф — на берегу Персидского залива.

вами, и чувствовал, как в уме его рождаются тысячи противоречивых мыслей.

Согласно этому учению, следовало ежедневно сокращать количество пищи, чтобы отдаляться от тленной материи. Затем надлежало пытаться подражать светилам, потому что светила непорочны, экстатичны, неизменны и находятся вне тленного мира. Их разумные сущности созерцают Единое Существо в вечности; и ничто не содействует так отвлечению от чувственного мира, не повергает в упоение, в блаженный бред, как подражание их движению посредством танцев и бесконечного вращения. Тогда открывается Высшая Сфера, сущность коей не содержит материи и не есть сущность Единого Существа, или самой Сферы, а есть лишь как бы подобие отражения солнца в полированном зеркале, которое не есть ни зеркало, ни солнце, но в то же время и ни что иное.

Юнша был поражен. Он слышал слова христианской мистики. Более того, лицо этой женщины, ее бледность, взгляд, трепет, все указывало, что сердце ее начинает преисполняться экстазом.

Окончив чтение, сарадинка встала и медленно пошла за другим покрывалом. Она приподняла крышку сундука и вынула шелковую ткань шафранного цвета, вышитую пестрыми арабесками; в воздухе разлился сильный запах, словно вдруг распахнули окно в душистый сад.

Завернувшись в это желтое покрывало, бахромой своей касавшееся пола, Аиша отошла в глубину комнаты, положила руки на бедра, подняла локти и откинула назад голову. Две красных розы пламенными языками горели в ее бронзовых волосах. Стан ее начал медленно изгибаться из стороны в сторону. Побледневший рот казался больше от горестной и одновременно блаженной улыбки. Она сжала ноги. Казалось, вся она во власти чего-то мучительного и сладкого.

Вдруг в соседней комнате раздались громкие и резкие звуки музыки. Монотонный и дикий звук тамбурина и волынки, дуэт знойный, как пески, мрачный, как внутренность базаров.

Аиша топнула ногами о пол, брякнув золотом и сло-

новой костью, украшавшими ее лодыжки, и с обезумевшими глазами закружилась на одном месте, распространяя свежий запах, словно внезапно встряхнутый на стебле влажный цветок. Потом стала кружиться все быстрее, быстрее, быстрее, совсем бешено, так что все тело ее превратилось точно в прозрачное веретено, в золотое яйцо, безумно крутящееся со слабым звоном металлических пластинок и браслетов.

Танец кончался, она кружилась медленнее. Ноги ее изредка сбивались, и голова, отягченная бог весть какими чудовищными видениями, склонилась, наконец, на плечо.

Рамиро лежал грудью на кровати, ни на минуту не спуская глаз со своей возлюбленной; увидя, что она пошатнулась, он подбежал поддержать ее. Но Аиша уже спустилась на пол, стиснув зубы, и прерывисто стонала, точно ее бил озноб. Тяжелые волосы ее, переплетенные цветами и драгоценностями, рассыпались по полу. Лицо озарилось светлым блаженством. Бледность ее превосходила всякую белизну в мире, она была бледнее апельсинового цвета, бледнее лилии, белее снега. Рамиро вспомнил описания восторгов матери Тересы-де-Хесус и других преданных служительниц Господа, вспомнил и свою мать, когда после долгой молитвы в молельной, она внезапно падала в обморок, точно пораженная сладчайшей смертью. Та же волнующая бледность, те же дрожащие губы, те же закотившиеся, пьяные от света глаза. Нет, не может она быть колдуньей! Она говорила словами святых мистиков и без волшебных зелий, без мазей и заклинаний, одной силой созерцания поднялась до высочайших ступеней экстаза.

Он несколько раз окликнул ее:

— Аиша! Аиша! Аиша! — Ощупал ей руки, щеки, горло, грудь. Но она лежала на полу безмолвная, холодная, как труп. Он хотел согреть ее губы своими и, охваченный противоположным желанием, осыпал ее страстными ласками.

Никогда она не казалась ему такой непонятной и прелестной. Точно необыкновенное, чудесное лакомство, смешанное со снегом; и дыхание ее было чисто и волновало, как запах цветов у мертвого тела.

XVI.

Рамиро продолжал являться к Аише тем же тайным путем, как и в первый раз. Все повторялось: длинный переход, повязка, свист... Но однажды, сообразив, насколько для него важно знать дорогу, он вынул кинжал, проткнул кожу занавесок и посмотрел. Велико было его удивление, когда он увидел, что носильщики кружатся все по тому же двору дома. Цистерна, гранатовое дерево, висящая на столбе клетка и сама старуха, сидящая в тени на глиняном кувшине — вновь и вновь, до бесконечности, мелькали перед отверстием. Значит, они вовсе не проходили через весь мавританский квартал. И кроме того, почти во все следующие дни во двор являлся мавр с драгоценным кинжалом и, поговорив недолго со старухой, снова уходил в дом.

Псразил его и другой случай. Однажды в полдень, подходя ранее обыкновенного к таинственному дому, он заметил стоявшего на улице звонаря кафедрального собора. Португалец круто повернулся и удалился в восточном направлении.

— Я уверена, — сказала старуха Рамиро, — что эта собака идет к Гонсало, который ждет его где-нибудь там, — прибавила она, указывая в направлении церкви Санто-Томас. — Они затевают против вас что-то недоброе, сеньор кабальеро.

Тогда-то Аиша открыла ему более тайный способ попадать к ней. Она провела его в смежную с купальной комнату, приподняла край висевшего на стене ковра, и в просвет широкого окна открылась сверкающая, глубокая панорама долины и гор. Окно это было выбито в самой скале. Снизу его невозможно было видеть, его скрывали два больших камня. Но подъем к нему был нетруден.

С этих пор Рамиро стал спускаться из города в долину и, описав широкий круг, входил в дом через это окно; такой необычный путь возбуждал его рыцарскую фантазию. Аиша поджидала его в амбразуре и протягивала ему руки, помогая подняться. Но они уже не проводили теперь все время на яркоцветных подушках: под вечер

мавританка уводила его на открытую террасу, выходящую на юг.

То было место созерцания и молитвы. Скала окружала террасу высоким красноватым парапетом, и поверх его взгляд царил над панорамой долины и горных хребтов. Курильница возносила к небу тонкую и непрерывную струйку какого-либо драгоценного благовония. Один единственный, очень старый кипарис устремлял ввысь свою мрачную зелень; а посреди террасы водоем с гипнотической неподвижностью отражал печальное дерево, струйку фимиама, облака, звезды, а иногда и месяц, такой четкий, такой светлый, что Аиша, сняв с головы золотую с изумрудами сетку, погружала ее с молитвенным жестом в воду, потом, словно поймав эту серповидную диадему, при малейшем прикосновении рассыпавшуюся на мириады брызг, подносила сетку к губам и страстно, трепетно, неизъяснимо стонала, а мокрые перстни ее сверкали в полумраке.

Однажды вечером они стояли, опершись на камни, и, держась за руки, молча любовались чарующей ясностью окутанных сумраком гор. Вдруг Рамиро повернул голову и увидел перед собой таинственного мориска, безмолвно и неподвижно стоявшего посреди террасы.

Чтобы рассеять изумление молодого человека, Аиша с радостной улыбкой познакомила их. Минуту спустя все трое сидели на ковре и спокойно разговаривали. Мориск, на чистейшем кастильском наречии, осведомлялся о знатнейших вельможах в городе, об их родословной, их родственниках.

Аиша слушала разговор, вся дрожа от радости, и взгляд ее переходил с одного лица на другое, как будто она сравнивала между собою их черты.

Солнце склонялось к закату. Из обрыва доносился слабый запах майорана и лаванды. Вечер был жаркий и тихий. Небо, долина, дома, все окрасилось бледным пурпуром. И даже у кипариса черные хвои золотились с западной стороны. Рамиро с небывалой доселе яркостью почувствовал торжественную святость этого часа, когда колокольни облакаются в золото и пурпур, чтоб запеть ангельское приветствие, и подумал, что находится сейчас

между двумя существами иной с ним веры, между двумя мнимо-обращенными. Станут ли они читать вместе с ним молитву Богородице?

Все трое молчали.

Вдруг, словно жаждущий пилигрим, слышавший где-то за краем горизонта крики каравана, мориск перегнулся всем телом на бок и, приложив к уху руку, напряженно прислушался. Рамиро показалось, будто и он слышит отдаленный голос, таинственное и печальное пение. Наверное, то голос муэдзина, слова а зана¹¹⁶⁾ доносятся с какой-нибудь соседней террасы. Аиша и мориск поднялись и, встав на середину ковра, повернулись лицом к востоку, потом торжественно, благоговейно совершили четыре коленопреклонения вечерней молитвы. Окончив, оба подошли к краю обрыва, взяли за руки и, устремив взгляд в одну и ту же точку на горизонте, запели молитву с тем особенным выражением, с каким произносят священные слова, отголосок коих всегда звучит в памяти.

Она говорила:

„Святая любовь и бессонница сплетаются в веревку и мучат меня.“

Он отвечал:

„Сердце мое терзается разлукой. Оно стонет, когда занимается заря, стонет, когда солнце касается запада.“

И продолжали поочередно:

„Когда ветер дует со стороны душистой долины, вся земля благоухает мускусом и волнует сердце мое желанием посетить ее.“

„О, ты, что ведешь верблюдов к обители любимого, когда придешь к гробнице уроженца Тихама¹¹⁷⁾, прекраснейшего из людей, благородного, нежного, приветствуй его от меня, потому что ему известно средство от моего страдания; и когда будешь любоваться светлыми зорями Неджда¹¹⁸⁾, вспомни о моих муках, потому что для меня нет иной киблы¹¹⁹⁾, кроме гробницы пророка.“

116) Азан — призыв (к молитве).

117) Тихама — прибрежная полоса в Аравии.

118) Неджд — центральная область Аравии.

119) Кибла — см. прим. к стр. 82.

Услышав эти слова в подобную минуту, юноша почувствовал, что в лицо Господу брошено отвратительное кощунство; и неземной голос, прозвучавший в его совести, как глас Архангела, громко напомнил ему его долг перед Христовой церковью и памятью предков.

Аиша продолжала:

„Ранним утром ушли послы к садам Мекки и Медины и оставили меня заложницей. Они уехали на верблюдах. Кебир¹²⁰⁾ ведет их с пением, и с ними летит мое сердце в плодородную страну Геджас¹²¹⁾. Сердце мое принадлежит каравану. Оно полетит за пылью верблюдов.“

Он отвечал:

„Ничто не может погасить пыл моей страсти, кроме воды Земзема¹²²⁾. Блажен, кто вкушает ее. Приветствую людей, живущих вблизи Хатима¹²³⁾ и кущи Авраама и храма Кабы¹²⁴⁾.“

Наступило молчание, как по окончании священного обряда. Рамиро испытывал непреодолимое желание встать и плюнуть в лицо этому человеку.

Мориск скрестил руки, и Аиша, как дочь, прильнула к его груди.

В ту же минуту со стороны города донесся металлический гул. Потом вблизи ударил колокол Сантьяго. Другие, более далекие, отвечали. Торжественно и глухо прогудели соборные колокола, и тотчас все церкви сразу, властным призывным хором, зазвонили к вечерней молитве.

Рамиро упал на колени, точно пронзенный прилетевшей сверху стрелой, и жаркая, кипучая молитва полилась из его груди. Закрытые глаза его видели страшный мрак, среди которого мелькали пламенные образы чистилища. Он смирился, уничижился, пал ниц под бременем угрызений, не умолкая просил прощения за что-то гнусное, чудовищное, преступное, всю тяжесть, весь ужас чего он впервые ощутил на своей совести.

¹²⁰⁾ Кебир — старик, почтенный человек.

¹²¹⁾ Геджас — Южная Аравия.

¹²²⁾ Земзем — колодец в Кабе.

¹²³⁾ Хатим — название одного из углов Кабы.

¹²⁴⁾ Каба — священный храм в Мекке, святыня мусульман.

Аиша и мориск, крепко обнявшись, молчали и не спускали с него глаз.

А город продолжал плакать и петь своими колоколами в благоговейных сумерках.

XVII.

Два дня спустя дон Алонсо Бласкес-Серрано, выходя от сеньора де-ла-Ос, встретил на лестнице Рамиро. Юноша пошел проводить его.

Когда они спустились во двор, Дон Алонсо прислонился к колонне, словно желая спрятаться от прислуги, и заявил ему без обиняков, что в городе начинают поговаривать о его частых странствиях по кварталу Сантьяго. В оправдание Рамиро сослался на свое непоседливое любопытство и на желание разузнать о подозрительных обычаях обращенных.

— Хороший ответ, — отозвался дон Алонсо, — еслиб я был какой-нибудь назойливый чиновник, а не верный друг вашего дома, всегда относившийся к вам, как к сыну.

Маленькая пауза подчеркнула значение фразы.

— На ваш счет ходят самые странные слухи, — прибавил он, улыбкой стараясь смягчить резкость своих слов. — Одни говорят, будто вы находитесь в тайном соглашении с маврами и передаете им все касающиеся их решения; другие — что вы продали свою совесть за деньги и подарки; а некоторые даже утверждают, будто вы заключили союз с дьяволом через посредство какой-то старой колдуньи, живущей в предместье. Излишне говорить, что я столько же верю этим басням, как рассказам о чудовищах и великанах. Но, откровенно говоря, не нахожу, чтобы простое любопытство могло служить удовлетворительным объяснением ваших ежедневных прогулок по мавританскому кварталу.

Губы юноши сжались от гнева, и кровь мгновенно залила ему лицо. Что делать? Он опустил голову, прошелся несколько раз перед стариком, потом, дрожа от оскорбленной гордости, рассказал о тайной миссии, возложенной на него от имени Его Величества.

— А! Я отлично знаю, откуда идет эта низкая клевета, — прибавил он, — и в чью грудь вонзится моя шпага, когда я решу, что настала пора отомстить.

Дон Алонсо схватил в свои руки дрожащую руку юноши и, проникновенно смотря на него загоревшимися от волнения глазами, сказал:

— Я никогда не сомневался в чести человека, в жилах которого течет такая благородная и чистая кровь, как ваша; но я рад заявить, что ваши слова сняли с моей души невыносимую тяжесть. Обнимите меня!

Они церемонно обнялись.

Дон Алонсо сел в носилки и направился домой, твердо решив содействовать браку своей дочери Беатрисы с этим молодым человеком; на надменном челе его он как бы прочитал предсказание славной судьбы.

Сцена на террасе и разговор с отцом Беатрисы разбили любовные чары, в которых жил Рамиро. Пред ним предстали теперь в беспощадном свете лицемерные увертки в его поведении, полное забвение долга, ложные признания у ног служителя Господня. И все это ради женщины чуждой расы! Он даже не постарался вникнуть в ее верования из боязни, что крик совести помешает ему тешить свое сладострастие. Что он узнал нового? Удалось ли ему напасть хотя бы на малейший след с тех пор, как он изо дня в день посещает этот дом, а стены его, быть может, хранят тайну заговора?

Воля его встрепенулась. Он решил искупить свое прегрешение пред Богом каким-нибудь геройским поступком, как бы труден он ни был. Во многих религиозных книгах он читал о великих грешниках, искупавших свою недостойную жизнь одной минутой глубокого раскаяния. Он вырвет из сердца любовь к этой сарацинке и поставит на карту свою жизнь в каком-либо неслыханно-смелом подвиге. А потом, когда люди будут почтительно склоняться пред ним, и никто не посмеет усумниться в его чести, настанет время отмстить Гонсало де-Сан-Висенте, потому что не кто иной, как он, при содействии звонаря, распространяет по городу гнусные выдумки, о которых ему сообщил идальго.

Несколько раз возвращался он в мавританский квартал и в таинственный дом. Но теперь ему казалось, будто от тела сараинки пахнет колдовской мазью и гниющим мясом. С какой огромной радостью встретил он первые симптомы охлаждения! К ласкам его стала примешиваться яростная жажда истязания. Минутами он серьезно размышлял о наилучшем способе уничтожить эту женщину, чтобы чары ее необыкновенной красоты не встали когда-нибудь вновь на его пути. В сокровеннейших глубинах своей совести он обдумывал, не дать ли ей какого-нибудь тайного яда, или же, не прибегая к оружию, задушить; а, убив собственными руками, в присутствии одного только Бога, утопить ее, со всеми ее пузырьками с благовониями и красками, и пусть дьявольский бассейн будет ее могилой. Но он слышал, что некоторые женщины, умирая, приобретают незабываемую красоту. И тогда оценил священное действие огня, преимущество полного уничтожения на костре, после которого остается лишь кучка черной и отвратительной золы.

Она же, наоборот, встречала его каждый раз все с большей страстью, ненасытная, больная от желания, словно предчувствовала разлуку и цеплялась за предмет своей любви, как рука судорожно хватает ускользящее драгоценное стекло. Она уже не говорила с ним прежним повелительным и беззаботным тоном. Светлая улыбка ее затуманилась, налилась страхом, как текучая вода в сумерки. Отчаянные, безутешные рыдания душили ее каждую минуту; эти горькие капли, смачивавшие его губы, запах слез и тоски ускорили ее гибель. Почувствовав, что она покорна его воле, как ковер, который он может свернуть и развернуть ногой, Рамиро совершенно овладел собою. И эта победа пробудила в его душе инстинкт жестокости. Не раз он бил и мучил свою возлюбленную, желая вырвать у нее тайну заговора. Он считал, что имеет полное право истязать женщину, чуть было не склонившую его к вероотступничеству и клятвопреступлению.

Мысль, что в теле этой чаровницы живет дьявол, не покидала его, и он гордился тем, что вступил в борьбу с таким врагом, подобно Иакову во мраке. И теперь он,

в свою очередь, брал эти белые руки Далилы, предательские и лживые руки, и, вынытывая изобличительное слово, больно сжимал пальцы и вдавливал в них жесткие кольца. Она же поднимала к небу полные слез глаза и не издавала ни стога.

Рамиро ловил теперь минуты, при каждом посещении обыскивал все углы, приказывал показать себе другие комнаты, украдкой ощупывал стены, в надежде найти какую-либо потайную пружину. А она пламенно умоляла его бежать вместе из Кастилии. Это был точно однообразный припев, постоянная и отчаянная мольба. Возле Гранады, на берегу Хениля, у нее есть дом, белый, как ее тело, и в нем красная дверца для него, только для него одного... И смеялась раболепным, деланным, почти слезливым смехом.

Однажды, провожая его к окну, старая мавританка Гулинар сказала ему, что волшебница, поднявшаяся из бассейна, открыла ей то, что происходит в его душе.

— Это тайна, — прибавила она, — скрытая от тебя самого.

Она назвала Беатрису, подробно рассказала о его разочаровании и смутных чувствах, живших в его сердце. Он считал это горестное воспоминание навсегда погребенным, и вот теперь, вызванное этой женщиной, оно всплыло вновь, развертываемое, перетрясаемое пред его глазами, как волнующая ветошь былых времен. Потом, пробормотав невнятную фразу, старуха достала из ящика тряпичную куклу. Голова, без лица, была вся усажена жесткими и колючими волосками. Тонкая талия, широкая юбка; горло насквозь проткнуто двумя длинными шилами. Рамиро отлично знал, что это означает, и испугался за молодую девушку, которой грозила страшная сила колдовства.

В тот же вечер, гуляя с каноником по площади перед собором, Рамиро впервые рассказал ему, как он проник в дом к морискам и сблизился с Аишой, словно все это случилось совсем недавно. Каноник, поскрипывая подошвами башмаков по посыпанным мелким песком плитам, внимательно слушал его, прижимая обеими руками к груди молитвенник. И наконец ответил:

— Слова ваши, сын мой, наводят меня на мысль, что вы подвергаетесь серьезной опасности колдовства. Женщина эта, вероятно, какая-нибудь отъявленная колдунья, из тех, что пользуются дьявольскими зельями, против действия которых могут устоять лишь тела, закаленные покаянием. Ваше сообщение о ее поразительной телесной красоте меня не удивляет, ибо Дьявол влагает в черты таких женщин тончайшие приманки искушения и обыкновенно сам поселяется в них, чему имеются постоянные подтверждения. Необходимо разрубить этот узел одним ударом, Рамиро, как поступил, по рассказам древних, царь Александр. Судя по расположению этого дома, по его потайным входам, я лично думаю, что он должен служить местом тайных сборищ, и полагаю, что если бы вам удалось пробраться туда сегодня же, часов около десяти вечера, когда никто вас не ожидает, вы несомненно захватите их врасплох. Дом находится в приходе Сантьяго. Этот святой поможет вам в вашем предприятии. Ах! будь у меня ваша молодость и не носи я хотя бы этого благочестивого одеяния!

Рамиро сейчас же вспомнил об окне, пробитом в скале. Решение его созрело немедленно. Он расстался с каноником, обещав исполнить задуманное в тот же вечер.

Варгас-Ороско еще некоторое время стоял, прижав к подбородку книгу и глядя в землю. Черная монашеская фигура его бросала погребальную тень на маленькую площадь, где спускавшиеся сумерки, казалось, рассеивали рыжеватую ржавую пыль. Ветер, дувший с улицы „Жизни и Смерти“, развеивал его рясу. Огромная, сверкающая аметистами и топазами, призрачная митра, вспыхивала и погасала и вновь загоралась на каменных плитах у его ног.

Наскоро поужинав, Рамиро с наступлением темноты украдкой вышел из дому. Он выбрал самый острый кинжал и взял шпагу, которую он получил в подарок от дон Родриго дель-Агила, мажордома¹²⁵⁾ императрицы. Под плащом у пояса привесил круглый толедский щит. Он чувствовал

¹²⁵⁾ Мажордом — королевский дворецкий. Императрицей называлась супруга Карла I.

себя мощным и грозным, как герои рыцарских романов. Он спустился в предместье. От полной луны ночь была прозрачной. С долины доносился громкий треск кузнечиков, а вдоль реки квакали лягушки, и стонали жабы. Скрытые тенью пасущиеся животные позванивали колокольчиками.

В серебристом безмолвии горы, казалось, таинственно грезили, как высшие существа; все в природе дышало блаженством, отдыхом, прохладой.

Светлая и величавая греза ночи, еще с детства вызывавшая в нем особое волнение, охладила его пыл. Он предпочел бы для своего предприятия небо, где блистали бы только звезды, говорящие духу об охраняющих нас мертвецах, о любви, о славных подвигах. Луна была трагична, призрачна, зловеща. Ее сияние будило в памяти легенды о странствующих привидениях, о заколдованных животных, о призраках монахов, совершающих богослужения на развалинах разрушенных монастырей. Под покровом ее губительного света, расслабляющего силы и словно высасывающего человеческую кровь, колдуньи творили заклинания и приготавливали свои мази.

Слева от него в вышине каркнула невидимая птица. Уж не ворона ли?

Подойдя ко рву, над которым находилось потайное окно, Рамиро спрятался за стволом дуба, чтобы осмотреть окрестности. Со стороны востока крадучись приближались одна, две, три темных мужских фигуры. Подойдя к скале, они осмотрелись по сторонам, вскарабкались по камням и исчезли в окне. Минуту спустя на тропинке появилась более многочисленная группа. Потом один, за ним трое и, наконец, еще группа в десять или пятнадцать человек. Черное окно поглощало их, как ямка в муравейнике. Прождав более часа, в течение которого уже никто не появлялся, Рамиро стал тоже карабкаться к окну. Оно было полураскрыто. Он приподнял ковер. В первой комнате царил густой мрак. Он занес одну ногу, потом другую. Щит его звякнул о стенные изразцы.

Он направился к комнате омовений, шпагой ощупывая мрак.

XVIII.

Рана была большая и круглая, словно от удара рогом. Предательская рука вонзила кинжал в грудь, на высоте сердца, которого яростно искала.

Рамиро чувствовал, что края ее снова раскрываются, и при малейшем движении жгучая, как огонь, боль разливалась от раны по всему телу, словно каскадом искр.

За последние дни, проведенные в мавританском доме, Рамиро думал, что уже совсем выздоровел; но от спуска из высокого окна и путешествия до города в ручных носилках, рана вновь открылась под повязкой. Потом — прибытие домой, расспросы матери, суетящаяся прислуга, переседание, все подробности его возвращения, вызвали у него нервное возбуждение и жар.

После обильного кровопускания врачи приказали уложить его спать. И теперь он находился совершенно один и на собственной кровати. В комнате было темно. Лишь кое-где в скважину проникал рассеянный луч солнца и бросал на ковер пламенный овал, точно опалевший ткань. Бесчисленные пылинки поднимались и спускались, словно атомы тишины. Пробило час.

Снаружи солнце палит, стена потрескивает от зноя. Рамиро слушает мирные шумы унылого монашеского города: пение петуха, благовест монастырского колокола, мелкие шажки осла по камням. В висках его быстро стучит от лихорадки. Посреди комнаты, на табурете, зажженная курильница. Проходя через солнечный луч, дымок ее озаряется, освещает мебель и, на секунду, выступают фигуры висящей на стене шпалеры.

Рамиро хотелось бы слиться с мирным спокойствием этих привычных предметов и заснуть, как в детские годы, завернувшись в прохладную полотняную простыню, пропахшую тмином и розмарином в старинном сундуке; но голова его невыносимо горела. Смертельный паралич охватил его от шеи до ног, тело не воспринимало обычных впечатлений веса и прикосновения. И один только мозг сохранял трепет жизни. Рамиро казалось, что он плывет по воздуху и качается где-то на огромной высоте.

Лихорадка неслась вскачь по полям страха и безумия, и череп его наполнялся, как гнилая тыква, кишачей толпой чудовищных видений, громоздившихся одно на другое в непрерывном, цепком, отчаянном усилии.

Спустя довольно продолжительное время он очнулся от этого жгучего бреда. Лихорадка прошла, как гроза. Холодный пот смочил его виски. Разум прояснился. Входил кто-нибудь к нему в комнату? Наверное, уже ночь. В доме не слышалось никакого шума. Внизу, на улице, дробный топот ног, постепенно замиравший. Должно быть, ночной караул.

Первым побуждением его разума было восстановить еще раз в памяти пережитое. Смутные, сбивчивые вначале, романтические подробности выплывали перед ним скорее в форме эмоций, чем образов, но затем, направляемые его гордостью, постепенно приобрели надлежащую четкость и последовательность.

Рамиро снова видел, как карабкается в окно, приподнимает ковер и идет затем ощупью по направлению к комнате омовений, с протянутой во мрак шпагой. Лунный свет, проникавший сквозь стекла в потолке, придавал всей этой комнате жуткий вид погребального склепа. Как не похож на себя этот альков, где он провел столько ленивых и развратных часов! Дверь в диванную, была притворена не плотно. С какой смелой радостью заметил он в темном углу полоску света!

Ему казалось, что он еще стоит, прильнув глазом к щели. Каноник не ошибся. Тридцать, или сорок мавров, некоторые в мусульманских халатах, сидели кружком и разговаривали. Рамиро заметил, что человека с драгоценным кинжалом среди них нет. Сарацинка переходила от дивана к дивану. Мужчины с сдержанной чувственностью целовали ей руки и плечи.

По временам Рамиро задерживал поток этих образов и старался проникнуть в смысл происходивших перед ним сцен. Что означала раздача длинных игл для плетня дыновок, острие которых иные пробовали на ладони; и глухие крики всех этих людей, сопровождавшиеся движениями рук, как бы наносивших смертельный удар? Что говорил в своей речи тот старик с лицом

африканца, вопивший и жестикулировавший возле большого зажженного факела? Время от времени он взмахивал своей алой шапкой, унизанной морскими раковинами, и громко стучал ими, призывая к вниманию. Должно быть, какой нибудь посланец из берберийских владений, призывавший стряхнуть иго христиан... Все было загадка, тайна, иные люди, иной мир.

Вдруг наступило молчание. Все взгляды обратились к входной двери. Кого то ждали. Наконец, дверь распахнулась, и вошедший человек доложил:

— Паша!

У всех вырвалось глухое восклицанье радости. Глаза расширились, тела выпрямились. Ах! еслиб ему удалось до конца присутствовать при этой сцене! Прибывший, несомненно, был тайным посланцем Турецкого султана.

Не стукни его кинжал о задвижку, он мог бы продолжать свои наблюдения, и никто не заподозрил бы его присутствия. Но этот едва уловимый звук мгновенно заставил прекрасную мавританку насторожиться. Он снова видел, как она идет к нему, медленно, с широко раскрытыми глазами, в ужасе прикованными к двери. Она угадала: едва войдя к купальную комнату, она воскликнула:

— Это ты, Рамиро! Ты!

Потом, немая, страшная борьба. Он хотел смотреть, она хватала его за платье, за плечо, за шею, и шептала на ухо, тихо, тихо, с отчаянием: „Нет! Нет!“ А когда она рукой закрыла ему глаза, в противоположную дверь уже входили несколько человек с горящими факелами.

Грубый удар, который он нанес ей сапогом в живот, ее пронзительный крик при падении на мраморный пол, еще сохраняли в его памяти свою живую и страшную реальность. Жар снова закипел в его крови, когда он представил себе, как сейчас же вслед за этим все мавры вскочили с подушек и беспорядочной толпой устремились на шум.

То был великий момент в его жизни, и ему нравилось длить его и наслаждаться вдвойне своей храбростью и риском смерти. Эти люди, казавшиеся изнеженными, утратившими мужество от рабства, устремились с изуми-

тельной быстротой, обнажая оружие и хватая факелы. Он увидел тогда с непререкаемсй ясностью, что конец его неизбежен, и решил дорого продать свою жизнь. Он помнил, что самообладание не изменило ему ни на минуту. Мужественный порыв отважным огнем разлился по всему его телу.

И вот теперь он снова, как в бреду, бросал горделивые вызовы, воображая, что еще держит в руке смертоносную сталь; и озаренная луной и горящими факелами, борьба воссоздавалась в его воображении. Отступив на несколько шагов, он описал шпагой в воздухе широкий, властный круг, придавший грозный вид его оружию. Потом стал бросаться из стороны в сторону, выбивая оружие у противников и нанося им удары. Казалось, будто он взмахивает зараз целым десятком шпаг. Сначала он ранил молодого человека с длинными волосами, вонзив ему шпагу глубоко в грудь. Другому, хотевшему запугать его своей кривой турецкой саблей, он быстрым ударом рассек лицо. Двумя короткими взмахами выколол глаза богато одетому старику, подходившему в лунном сиянии, точно призрак. Мориски в ужасе стали отступать. Тогда Рамиро, прикрывшись щитом, пьяный от кроважадной ярости, стал колоть без разбору, и при каждом взмахе чувствовал треск ткапи и мягкую податливость тел: острее его шпаги входило в них, как в мехи с вином.

Ни крика. То была немая сцена. Упавшие едва испускали вздох. Вдруг он увидел пред собою стройного юношу, вооруженного длинной испанской шпагой. Он тревожно вздрогнул. Блеснули зубы. Но после первых же выпадов противник исчез во мраке.

В следующую минуту Рамиро почувствовал, что его крепко хватают сзади, и тотчас же он ощутил в груди, на высоте сердца, сильную боль, заставившую его выронить оружие. Он помнил, как сразу ослабел и крикнул: „Исповедоваться!“¹²⁶⁾, потому что чувствовал, что умирает; помнил ощущение холодной воды на повисшей руке. Все руки вытянулись, стремясь прикончить его, но на границе жизни и смерти, Рамиро все же успел, в

¹²⁶⁾ „Confesion!“ — предсмертный крик умирающих.

дымном свете факелов, рассмотреть таинственного мориска с драгоценным кинжалом; растолкав остальных, он бросился к нему, и прикрыл его собою, крича по-арабски одно слово:

— Эбни! Эбни!...

Потом Рамиро лишился чувств.

Как он был изумлен, как поражен, когда, очнувшись на следующий день, увидел себя в соседней комнате на душистой постели, а возле Аишу; старуху и великодушного человека, спасшего ему жизнь! А в последующие дни, с какой радушной заботливостью относились к нему эти неверные! Мужчина вычитывал из арабских книг составы лечебных трав, и Гулинар, старуха-мавританка, ходила собирать их в окрестностях; Аиша обмывала и перевязывала ему рану благоухающими любовью руками. Мазь, вывезенная солдатами из Китая в Аравию, а из Аравии купцами на запад, и хранившаяся у мавра в драгоценном флаконе из слоновой кости, совершила чудо исцеления.

В часы, когда ему бывало легче, женщины сменялись у его постели, и рассказывали, как ребенку, сверкающие сказки, похожие на ожерелья из драгоценных камней и навевавшие грезы о далеких и счастливых странах.

Прощальные слова мусульманина, покинувшего в сентябрьский вечер дом запечатлелись в его памяти. Солнце закатывалось. Рана Рамиро начинала затягиваться, и он сидел у окна, выходящего на долину. Мавр вошел с торжественным видом и остановился перед ним. В первый раз Рамиро увидел на нем шпоры. Они одни выдавали слуху беззвучную его поступь. Печальная надменность облагораживала его осанку, движения были мужественны и изящны.

— Я должен покинуть тебя, — заговорил он. — Проклятие правоверных пало на меня. Они изгоняют меня за то, что я спас тебе жизнь. Но не в этом дело! В качестве единственной отплаты, я попрошу тебя только об одном: если тебе придется выдать их правосудию, предупреди заблаговременно этих добрых женщин, чтоб они успели скрыться.

Рамиро кивнул головой в знак согласия.

— Ты обещаешь это своей честью? — спросил мавр.

— Да, — ответил юноша.

— Клянешься?

— Клянусь.

— Этого достаточно, — сказал мусульманин. И прибавил: — Да приведет тебя когда-нибудь Аллах — слава и хвала имени его — к нашей святой вере! Предоставь шпионство низким душам, Рамиро. Не преследуй несчастных морисков и вели рассказать тебе о том, чем были кордованские Джавары, эти зеркала знания, цвет рыцарства, чья кровь еще ныне трепещет в этой комнате.

Мавр склонился на минуту и положил руку на плечо Рамиро. Когда он поднял голову, влажные глаза его блестели в сумраке. Тогда, отстегнув от пояса драгоценный кипжал, он попросил Рамиро принять его на память о нем. Потом выпрыгнул из окошка. Внизу, на лугу, его ожидал человек с оседланным конем. Юпоша видел, как он вскочил на седло и ускакал.

XIX.

Теперь нужно, думал Рамиро, победить это кипение памяти и решить, пока не возобновилась лихорадка, что сказать матери, когда она завтра войдет в его комнату. Он понимал, что может с минуты на минуту умереть, или впасть надолго в бессознательное состояние, и хотя мимо-обращенные наверно уж приняли меры, чтобы избежать руки правосудия, он считал своим высшим долгом заявить о том, что видел. Однако, он был связан словом. Он знал, чем является для чести дворянина подобное обязательство. При мысли о присяге в душе его вспыхивало религиозное и героическое чувство. Не один из его предков пошел на смерть за какое-нибудь „соглашен“ или „клянусь“! И особенно здесь, в Авиле, где находится базилика Сан-Висенте, знаменитейшая клятвенная церковь в королевстве. То, что договор заключен с неверными, не имеет значения. Он вспомнил, что

читал в хрониках, как император Альфонс¹²⁷⁾ едва не приказал обезглавить свою супругу и архиепископа дон Рсдриго за нарушение его монаршего слова, данного толедским книжникам-мусульманам.

Каноник явился на заре и попросил оставить его наедине с юношей. Он сел у постели и сразу же, громко, не взирая на обстоятельства и ранний час, спросил:

— Что случилось?

Рамиро, снова пылавший в жару, ответил, что сейчас не время рассказывать что-либо, потому что он должен подготовиться вручить свою душу Богу. И попросил каноника как можно скорее приобщить его Святых Тайн.

— Это невозможно, — ответил богослов; и пояснил, что если он выслушает его, как исповедник, то не сможет впоследствии использовать его разоблачения.

Тогда Рамиро замирающим голосом рассказал, как он захватил врасплох заговорщиков, как они, в свою очередь, обнаружили его присутствие и ранили.

Каноник видел многих умирающих, и взглянув на отвалившуюся челюсть и остекленевшие глаза Рамиро, подумал, что ученик его готовится отойти в вечное странствие, и смерть не долго будет опрокидывать свои песочные часы у его изголовья. Нельзя было терять ни минуты.

— Мужайтесь, мужайтесь, сын мой, — воскликнул он. — Умрете вы от этого испытания или нет, — известно одному Богу. Но не забывайте, что смерть является к нам без предупреждения, как королевский альгюасил, когда решает забрать нас. Ну, подбодритесь же, доблестный юный лев!

Он потребовал, чтоб Рамиро описал таинственный дом и некоторых заговорщиков. Юноша вспомнил о своей клятве; и не в силах выбирать слова, закрыл глаза и умолял. Богослов пришел в отчаяние. Он шептал ему на ухо, крупными шагами бегал по комнате и возвращаясь, трогал его за плечо.

¹²⁷⁾ Титул императора носил король Альфонс VII (1126—1157), подчеркивая этим свою независимость от Германских императоров и подчиненное по отношению к нему положение королей Арагона и Наварры.

В полдень Рамиро, мысли которого совершили лихо-радочную работу, приказал позвать каноника.

— Думаете ли вы, ваша милость, — спросил он, — что существует какой-нибудь честный способ уничтожить клятву, данную неверному, клятву, которой я боюсь нанести ущерб нашей Святой Церкви. Нельзя ли написать по этому поводу придворному нунцию его Святейшества?

— Если вы дали кому-либо из неверных клятвенное обещание, противное христовой церкви, — ответил каноник, — то нет надобности ни в папе, ни в нунции, ни в соборе, а просто нужен исповедник, который снял бы с вашей души подобный смертный грех. Если это, как я предлагаю, клятва связанная с обещанием, то вы должны были обладать „дискуссионным суждением“, как выражается Святой Фома, то-есть ясным сознанием своего поступка; а его у вас не было, ибо вы желали сделать Бога соучастником преступления против Его же церкви. Но даже и с точки зрения людского права, подобная клятва не налагает обязательств, и нарушение ее не составляет клятвопреступления: „Ибо клятва, которая есть вещь священная, — гласит, если память мне не изменит, закон Мудрого Короля¹²⁸⁾, — была установлена не злых дел ради, но для совершения и соблюдения дел правых“. Затем он разделил предмет на две части. С одной стороны, — благородные и законные обязательства, охраняемые и самой церковью, как нечто священное, более ценное, чем жизнь; с другой — противозаконные договоры, преступные клятвы, противные величию Бога и интересам Церкви, от которых надлежит без промедления освободиться, ибо если смерть застигнет душу отягченную подобным грехом, она повергнет ее немедленно в злейшие муки ада; особенно, когда клятва дана в интересах врагов религии.

Это красноречие оказало мгновенное воздействие на Рамиро. Он более не колебался. Одно упоминание об аде в подобный момент пробудило в нем энергию мысли. Он вспомнил о бесчисленных оскорблениях, нанесенных им

¹²⁸⁾ Мудрый Король — прозвище Альфонса X (1252—1284).

Божественному Величию во время его связи с неверной, и обещание его показалось ему огромным камнем, который дьявол повесил ему на шею. И он рассказал канонику все, что делал с того времени, как покинул его на площадке перед собором. Рассказал о двух способах проникать в дом морисков, описал приметы Аиши, Гулинар и нескольких заговорщиков. Ему казалось, что он очистит этим свою душу от отвратительного пятна вероотступнической любви, доказав, наконец, Господу, что в сердце его не осталось ни единого следа бывшего увлечения.

На следующий день он впал в состояние, близкое к агонии. Ухаживали за ним только донья Гиомар с Касильдой и старой служанкой.

Он потерял много крови. Помимо страшного кровоизлияния, окрасившего мраморный пол в купальной комнате, оба лечивших его врача, после ученого спора о том, в какой части тела надлежит произвести кровопускание, решили каждый сделать свое, и на протяжении немногих часов, ему пустили кровь из руки и из лодыжки.

Слабость его была так велика, что он, казалось, медленно скользил к смерти. Жар на короткие мгновения возбуждал его, но затем наступало изнеможение. Вся жизнь как будто уходила из тела. Это было леденящее, жуткое ощущение. Ему казалось, что он слышит запах ужасного склепа горного монастыря, где ему случилось быть ребенком; он видел бесчисленные скелеты, нагроможденные во мраке, и с горделивым ужасом думал о безымянности этих человеческих поленьев, сваленных в кучу презрением монахов.

Мрачная пелена застилала его ум и сквозь нее проглядывали лишь огромные и страшные видения: грех, угрызение, кара — были скалами, составлявшими унылый и грозный пейзаж его совести.

Он провел так три или четыре дня, между бредом и летаргией. Гнилостный запах гангрены распространялся по соседним комнатам. К раскрытой ране прикладывали прославленнейшие святые, которые привозили из монастырей или от других родовитых семейств города, но они оказались бессильны. Первый учитель, старый мо-

нах-францисканец, уже два раза соборовал Рамиро. Донья Гиомар считала его погибшим. Наконец, по совету нескольких приятельниц, она послала в предместье, за одной ново-обращенной, совершавшей чудесные исцеления. Женщина эта долго обмывала рану отваром из трав, налжила пластырь, приготовила какое то питье и запретила прикасаться чем-бы то ни было к ране, чтобы не заразить ее. Через два дня бред прекратился, и жар стал спадать.

Почувствовав, что возрождается, как птица Феникс, упоминаемая многими духовными и светскими писателями, Рамиро с томной жадностью наслаждался отрадой жить. Все его волновало, и чудо мира снова изумлял его. Сидя у окна он рассеянно и задумчиво смотрел на густые тучи первых зимних дней. В уме снова рождались наивные вопросы, мучившие его в детстве. Где закругляются градинки? Кто бьет в барабаны грома? Кто делает ветры? Откуда они берутся? ...

Или же смотрел на город. Большие дворянские дома говорили с ним своим гордым и торжествующим языком. Щепетильная честь родов, богатства, приобретенные в далеких и баснословных странах; героические приключения сынов Авилы, которые и в этот час, покинув жен, ожидающих их у мирных очагов, сражались чуть ли не во всех странах мира, чтобы привести со временем в свое горное гнездо какую-либо славную добычу: вот о чем гсворил ему этот разукрашенный гербами гранит, и глаза Рамиро не могли наглядеться на него.

Честолюбие, подкошенное страданием, теперь возродилось в нем, напоенное более мощным соком. Он решил, что Бог не призвал его, потому что предназначает для выполнения какой-нибудь важной миссии на земле. Он прошел через первое испытание обреченных. Он вспоминал биографии героев. Начало их славного пути всегда проходило по краю страшных пропастей. Самым прочным лезвием бывает то, что едва не сломалось на наковальне. Возродившаяся вера в судьбу возбуждала теперь его богатырскую волю, он пьянел от мечтаний, доходя до того, что шептал себе восторженные фразы, которые вскоре его присутствие должно будет вызывать

всюду. Потом обдумывал, взвешивал. Есть ли в Кастилии другой род, славнее и древнее его рода? Кровь его чиста, как алмаз. Кроме того, ему предстоит унаследовать один из богатейших майоратов в Сеговии. Он без тревоги думал о юношах из других семейств, вполне уверенный, что ни один не сможет превзойти его ни образованием, ни пылом, ни отвагой.

Слава вновь улыбалась ему, как нетерпеливая и нагая рабыня, простирая к нему объятия, маня своими чарами и песнями.

XX.

Рамиро сидел возле брасеро и, устремив взор на бревна потолка, мечтал. Дверь в галерею тихонько отворилась, в комнату вошла женщина в трауре — его мать.

Монашеская повязка, плотно прижатая присосками ко лбу, совершенно закрывала ее волосы; лицо сияло светозарной бледностью. Она казалась уже бестелесным существом, лишенным плотской оболочки. Свет пронизывал насквозь алебастр ее вельможных рук, приобретших одухотворенность от постоянных молитвенных возношений. Она часто подносила их к зажженным капделям и, созерцая просвечивающие суставы, размышляла об исходившем от них мрачном предупреждении и о конце, ожидающем всех смертных.

Рамиро с удивлением взглянул на нее. Черты доньи Гиомар заметно изменились, словно под влиянием тяжелого горя. Она говорила очень тихо, с осторожной медлительностью, как человек, боящийся выдать свою истинную тревогу. Она сказала, что каноник только что сообщил ей подробности его столкновения с морисками.

— Мне кажется, — значительно проговорила она, — что ты мог бы не подвергать себя такой опасности, раз дело касалось презренного сброда, против которого достаточно нескольких полицейских.

Потом она заговорила о суетности подобных жертв, об обманчивости и призрачности всяких честолюбивых поступков.

— Ты сделал это из честолюбивых побуждений, — при-

бавила она. — Будет большим счастьем, если поступок твой не запятнают какой-нибудь клеветой. Тот, кто, как ты, Рамиро, готовится вступить на святой путь церкви, чего может он искать на этом окольном пути, кроме удовлетворения гордости и тщеславия? Но, хвала всемогущему Богу, если он посылает все это для того, чтобы заставить тебя, подобно Святому Игнатию¹²⁹), извергнуть мирскую отраву. Не забывай, сын мой, что Господу было угодно таким явным образом вырвать тебя из объятий смерти, что мы все сочли это чудом, и подумай, как велик твой долг отблагодарить его за эту вторую, подаренную тебе жизнь.

Помолчав немного, она заявила, что немедленно по выздоровлении он должен ехать в Саламанку. Епископ обещал предоставить ему впоследствии какой-нибудь выгодный пост, если он не предпочтет вступить в монашеский орден.

Рамиро выслушал это нравоучение молча, не выразив на лице своем ни малейшего впечатления.

То был момент величайшей тревоги для матери. Все существо ее колебалось между радостью и страхом в ожидании слова или жеста, которые должны были принести всю отраду или горе, уготованные ей на остаток жизни. В эту минуту в комнату поспешно вошел слуга и доложил, что дон Алонсо Блáскес-Серрано поднимается по лестнице.

Юноша окинул быстрым взглядом свое платье, подтянул короткие штаны, стянул шнуровку камзола, потом попросил мать дать ему свежий воротник, зеркало, гребень и флакон помады, чтобы пригладить себе волосы. Причесывался он с видимым удовольствием, стараясь придать своему лицу приятное выражение.

Недоставало какого-нибудь украшения. Он нетерпеливо потребовал золотую цепочку, и мать сама надела ее на шею ему. Затем, указав на бюро с инкрустациями, он попросил ее достать из среднего ящика осыпанный драгоценными камнями кинжал. Взяв в руки кинжал, донья Гиомар на минуту растерялась. Потом медленно

¹²⁹⁾ Св. Игнатий Лойола (1481—1556) — основатель ордена Иезуитов.

вынула из ножен клинок и, увидев на нем арабскую надпись, задрожала всем телом, словно увидела перед собой страшный призрак.

Слуга возвратился и встал у двери, приподняв портьеру. Мать успела только передать кинжал сыну и бросить на угли несколько крупинок ладана, которые вынула из своего ручного мешечка.

В освещенном пролете двери, с традиционным углом приподнятой драпировки, дон Алонсо, одетый во все черное, производил впечатление портрета в раме. Накрахмаленный воротник придавал еще большую чопорность его лицу. Он церемонно поклонился и мерными шагами подошел поцеловать руки дочери своего друга.

Снимая перчатки, он с видом щедрого короля, поздравил Рамиро, приравняв его поступок к великим подвигам, совершенным в свое время членами семейств Агила, Де-ла-Ос, Ариас, Алькántара во славу Бога и короля. Изредка, поглаживая свой завитой кок, он бросал беглый и подозрительный взгляд на мать. А иногда, чтоб подчеркнуть искренность своих слов, прижимал к груди правую руку. Сверкали флорептинские перстни. Руки у него были очень красивые, и их чрезвычайная белизна выдавала, что на ночь он натирает их бараньим жиром и надевает перчатки без пальцев.

— Услуга, оказанная вами церкви и королю, — перед уходом сказал он Рамиро, — при чем я не касаюсь ваших долгих страданий: по отношению к людям вашего происхождения они не принимаются в расчет, — услуга ваша не может остаться без награды. Завтра я должен ехать ко двору. Я предполагаю просить для вас орден Алькантара и знаю кое-кого, кто будет рад доставить мне удовольствие. На вашу долю, — прибавил он — выпадет лишь труд собрать ваши грамоты в доказательство чистоты вашего рода, а это будет разносильно доказательству существования солнечного света.

Рамиро поблагодарил его и, словно ослепленный внезапным светом, сжал в своих руках его благородную руку.

Едва царедворец удалился по галерее, донья Гиомар бросилась к ногам Рамиро, обхватив его колени. При-

жимаясь к ним лицом и вся сотрясаясь от рыданий, она произносила невнятные слова, а сын повторял, приподнимая ее за плечи:

— Встаньте, матушка, встаньте! Что с вами? О чем вы плачете?

Она подняла, наконец, залитое слезами лицо и помолчав, ответила:

— Со мной случилось огромное несчастье, самое большое и самое жестокое, какое могло меня постигнуть. Ты забыл Бога, Рамиро, ты погиб!

— Я забыл Бога, матушка? Что вы говорите?

— Да: дьявол одержал победу над твоей душой. Тебя ослепляет блеск и суэта мира. Когда дон Алонсо сказал тебе об ордене, я увидела в твоих глазах адский блеск. Кто заставил тебя так измениться? Какими чарами околдовали твое сердце?

И голосом, прерывавшимся от слез, она продолжала:

— Ты уже не тот, нет, ты уже не тот сын мой, что так радостно шел по пути смирения и покаяния, что с детства посвятил свою жизнь Господу, не мой прежний. Рамиро!... не мой святой малютка!

С этими словами она снова закрыла лицо руками, все еще не поднимаясь с пола. Но минутой спустя, обезумевшая от горя мать, женщина, казалось, способная лишь плакать и молиться, мгновенно встала и выпрямилась перед Рамиро во весь рост. То была изумительная перемена, внезапный подъем души, подобный взлету пущенной из лука стрелы. Непреклонная властность всего рода вспыхнула на мгновение на ее челе разгневанной абатиссы. И почти мужским, твердым и повелительным голосом она воскликнула:

— Довольно слабости! Как только вы будете в состоянии, вы отправитесь в Саламанку продолжать свое образование. Там вы выберете между церковью и монастырем. Такова моя воля.

Сказав это, она торжественно удалилась, оставив в комнате, вместе с запахом воска, каким были пропитаны ее одежды, что то роковое, беспощадное, и Рамиро чувствовал, как оно нависло над его головой, точно угроза проклятия.

Комната постепенно погружалась в сумрак; но явилась дочь оруженосца, прикрывая рукой огни позолоченного светильника, и сама похожая на окруженную восковыми свечами икону.

XXI.

В немного лет сонный дом дон Иньиго превратился в самый посещаемый и шумный дом в Авилае Короля. Однажды дон Алонсо Бласкес-Серрано собрал у дон Иньиго несколько высокопоставленных особ для обсуждения дел ново-обращенных. Собrania эти стали повторяться. Число приглашенных увеличивалось. К простому шоколаду прибавились белые булочки и сносные пирожные. Таково было происхождение аристократических ассамблей сеньора де-ла-Ос.

По средам и воскресеньям, после полуденного отдыха, во дворце его собирались самые родовитые и ученые мужи города. Разговоры на этих собраниях, в конце концов, превратились в настоящее законодательство, сами рехидоры основывали на них свои постановления. То был совершенно неожиданный успех. Однако, сеньор де-ла-Ос отнюдь не стремился к нему. Глубокое раздражение, настоящая паника охватила вначале его душу перед этим неожиданным заполнением его жилища, и он потратил много времени, ища и пересбирая в памяти невольный жест или неосторожную фразу, вызвавшие это нашествие. Причина была неясна только ему одному. Этот бестолковый и больной старик, не могущий встать ни на чьей дороге, самим Провидением был предназначен на роль хозяина открытого дома. Хотя и связанный вследствие своей женитьбы с древнейшими семействами в городе, дон Иньиго всегда оставался чужд вековым распрям Сан-Хуанов и Сан-Висенте, разделявшим городскую знать; к тому же, залы его дворца были обширны, прислуга многочисленна, а печенья превосходны.

Шумное собрание наполняло залы. Наряду с главной группой, состоявшей из самых высокопоставленных особ, образовывались маленькие кружки скромных духовных

и незначительных миряп. В них укрывались, избегая яркого света, и церемонный незнакомец, начинавший проникать в собрание, неведомо кем приведенный; и обнищавший идалго, приятель приятеля дон Иньиго, привлеченный запахом пира, и крепостной офицер, и капеллан женского монастыря, и городской нотариус...

Все очень скоро открыли слабую струнку дон Иньиго, и почти не было гостя, который не спросил бы его мнения по вопросу об обращенных, или не задал бы какого-нибудь восторженного вопроса по поводу его героических подвигов во время Альпухаррской кампании. Передаваясь из уст в уста, похвальные отзывы создали ему блестящую славу, никого не задевавшую, и горожане уже произносили его имя с глубоким почтением, как будто, действительно, речь шла об одном из знаменитейших вождей этой святой и карательной войны.

В конце концов, дон Иньиго стали нравиться его собственные собрания. Он увеличил число прислуги, заказал новые ливреи, купил новые серебряные брасеры, новые лампы и канделябры, выкупил у генуэзцев свои лучшие ковры и драпировки. Шоколадом и винами заведывал младший ризничий храма Святого Петра, приятель Медрано. Трое невольников¹³⁰⁾ месили тесто. Знаменитый пирожник из Мадригала готовил печенья, а мориск — медовое питье. Дворецкий, одетый, как фламандский дворянин, незаметными жестами распоряжался прислугой. Вечером, расходясь по домам, гости проходили между двойной шеренгой лакеев, выстроившихся вдоль коридоров вплоть до выхода на улицу, каждый с зажженной свечей ярого воска. Свечей тратили столько же, как и кафедральном Соборе. Все было пышно, по-барски.

Рамиро был убежден, что при его появлении на собрании, все лица обернутся на него, и даже самые важные господа поспешат высказать свое восхищение его подвигом. Почти оправившись от раны, но еще исхудавший и слабый, он надел однажды вечером самое роскошное свое платье, привесил к поясу подаренный мориском

¹³⁰⁾ В Испании в XVII веке еще существовали невольники, в большинстве своем — пленные мусульмане.

кинжал и вышел в малый зал, служивший первой приемной. За исключением капеллана церкви Благовещения и францисканца из монастыря Сан-Антонио, находившиеся там люди проявили к его особе оскорбительное равнодушие; а двое или трое, заговорив о его подвиге, отзывались о нем в таких выражениях, словно обсуждали более или менее удачную расправу какого-нибудь альгвасила. Рамиро был разочарован, смущен, и не чувствуя в себе отваги перейти в соседнюю комнату, где находились знатные вельможи и прелаты, забился в самый темный угол, среди группы духовных. Францисканец придвинул к нему свой табурет и сказал вполголоса:

— Безделица открыть логово этих волков! Ясно, что и у вашей милости должны быть завистники и клеветники; но не останавливайте на этом своих мыслей, потому что все, что они теперь говорят, унесет ветром, как соломѹ.

— Так ваше преподобие думает, что кое-кто уж поговаривает? — спросил Рамиро.

— Росказни, росказни, — с презрительным жестом ответил монах.

— Не скрывайте от меня ничего, ваше преподобие, если хотите доказать мне ваше расположение; всегда полезно знать, откуда можно ждать нападения.

— Ах, выдумки негодяев!... Что ваша милость едва не отреклись от веры в Господа нашего Иисуса Христа... что вы сообщали сведения обращенным... что схватка произошла из за вопроса о плате...

В эту минуту справа от юноши какой-то незнакомец, в военной форме, воскликнул, останавливая за штаны лакея:

— Послушайте, сеор Антоньико¹³¹⁾, не длите наших мучений и, ради Бога, принесите нам еще блюдо булочек и несколько стаканчиков Сан-Мартино, потому что мы умираем.

Отъявленно голодный тон, каким он произнес эту фразу, сдавливая себе в то же время живот, рассмешил его соседей. Один сказал ему что-то вполголоса, и он, по-

¹³¹⁾ Антоньико — уменьшительное от Антонио.

косившись на Рамиро, прикрыл себе, словно устыдившись, рот рукой.

Тем временем дон Алонсо беседовал в соседнем зале с несколькими только что прибывшими господами. Повернув случайно голову и увидев издали Рамиро, он сделал удивленный жест и подошел к нему поздороваться:

— В добрый час! — воскликнул он, раскрывая объятая. — Это хороший признак; но почему вы держитесь в отдалении? Все эти господа жаждут вас видеть и слышать.

— Я чувствую себя нерасположенным, сеньор, и очень слабым.

— Мне было бы очень приятно выслушать от вас подробный рассказ о вашем приключении с морисками.

— В другой раз, сеньор. Я боюсь, что сегодня продолжительный разговор вызовет у меня жар.

В то время, как Рамиро произносил эти слова, дон Алонсо с тревожным любопытством смотрел на осыпанный драгоценными камнями саррадинский кинжал, висевший у юноши на поясе, и не в силах овладеть своим изумлением, взял его, наконец, в руку и воскликнул:

— Чудесный кинжал! Вероятно, он принадлежал кому-нибудь из ваших предков?

— Нет, сеньор. Мне его подарил на память старый мориск, не позволивший другим заколоть меня.

Идальго нахмурился и, положив правую руку на плечо Рамиро, сказал ему тихо, чтобы никто не слышал:

— Честью вашего имени, заклинаю вас, вернитесь в свою комнату и спрячьте этот кинжал так, чтобы никто его не видел, я знаю, насколько это важно.

— Я ношу его, сеньор, как драгоценный залог, напоминающий о моем поступке.

— Вы не должны оскорбляться моей настойчивостью. Преданность иногда бывает горькой.

— К чему эта тревога? Господь да хранит меня!

— Ну, так вот в чем дело: и без того уже имеется достаточно негодлев, которые занимаются измышлениями о том, как, когда и за что ваша милость получали деньги и подарки от обращенных, а если они увидят на вашем

поясе эту драгоценность, они станут указывать на нее в подтверждение своих слов.

Рамиро понял. Подавленный роковым стечением обстоятельств, он поднес ко лбу руку и, не в силах произнести ни слова, издать ни звука, простился с дон-Алонсо, ушел и заперся в своей комнате.

Обыкновенно, к началу собрания дон Алонсо Бласкес несколько часов сидел в своем любимом кресле, напротив дон Иньиго, и болтал без умолку. Он являлся почти всегда в полдень и уходил после благовеста к вечерней молитве. Это в тех случаях, когда он не назывался сам на обед и не оставался потом сыграть со стариком партию в триумф. В силу своей близости он пользовался различными привилегиями, расхаживал всюду, как по собственному дому, шутил с монахами, знал по имени всех слуг. Положение он занимал, несомненно, чрезвычайно высокое. Благодаря его старинной дружбе с графом де-Чинchon и родству с маркизом де-Велада, не особенно осведомленные люди приписывали ему большое влияние при дворе, и он сам давал пищу этому заблуждению частым повторением двух-трех фраз, обращенных к нему Его Величеством за его долгую придворную жизнь. Кроме того, он проявлял к монарху восторженную любовь, равную лишь скрытой ненависти, какую он в действительности питал к этому коронованному призраку, чей один взгляд заставлял его холодеть до мозга костей.

Все знали его безупречную лойяльность и манию подстрекать честолюбцев:

„Почему вы медлите, сеньор декан, с ходатайством о митре, которую вполне заслужили? — — Злейший ваш враг, сеньор альферес, ваша собственная скромность, потому что я знаю многих, которые, не имея и половины ваших всем известных заслуг, управляют крепостями и командуют армиями. Если вы разрешите, я в ближайшую же поездку мою ко двору...“ и ронял на ухо офицеру какое-нибудь умопомрачительное обещание.

Почти всегда разговор вращался вокруг тем, выбранных им. Он гордился умением поговорить. Обратиться к нему с вопросом — это значило отворить ворота шлю-

за. Слова его наводняющим потоком катились по поверхности предметов, а высокий и скрипучий голос никогда не изменялся в тоне. Когда он говорил о своих путешествиях и приключениях, о знаменитых художниках и ученых, о драгоценных предметах, или тонко философствовал о любви, речь его отражала все изящество его личности; но стоило ему заговорить об управлении монархией, придворная скрытность сейчас же подсказывала ему бесцветные и вялые фразы, пестрившие иносказательными выражениями и пространными оговорками во всем, что касалось скрытых причин многих решений сильных мира сего.

За то сеньор Диего де-Бракамонте, из дома Фуэнтель-Соль, потомок Мосена Руби-де-Бракамонте, состоявший в родстве с самой блестящей знатью Кастилии, обсуждал политику короля с героической непринужденностью.

Дерзость этого человека напоминала одиноко возвышавшуюся зубчатую башню. Слова его пламенели, как знамя восстания. Самый взгляд и жесты его были смелы до дерзости. Все чувствовали, что эта голова непрочно сидит на гордой шее, и с минуты на минуту ожидали какой-нибудь катастрофы. Но идалго проявлял полное презрение к возможному доносу и к своей гибели, и в присутствии коррехидора¹³²⁾ дон Алонсо де-Каркамо или монаха-доминиканца, в котором все подозревали шпиона инквизиции и короля, речи его становились еще смелее. Гордый и властный феодал не понижал голоса, и вызов его, словно привязанный к стреле, казался, летел, минуя стены, к самому Двору.

Он был высокого роста, сухощавый. Шелки и бархаты ложились на его журавлиной фигуре, как мягкое оперение. Брыжжи его были всегда чересчур широки. Усы, короткие волосы и острая козлиная бородка уже начинали седеть; но брови по прежнему были черны, как перья дрозда. Лицо бледное, взгляд суровый, жесты властные и гордые. Сразу было видно, что он вспыльчив.

¹³²⁾ Коррехидор — королевский чиновник, в роде гражданского губернатора. Рехидор — член муниципального совета.

Он не отличался особой ученостью, но в речи свои никогда не забывал вставить одну-две латинских цитаты об упадке государств.

Постоянное пренебрежение, проявляемое монархом к мнению кортесов, новые налоги и частные поборы, налагаемые, помимо их ведома, отмена узаконений короля Альфонса, нарушение вольностей, почти полное уничтожение фуэрос¹³³), особых прав и привилегий дворянства: таковы были излюбленные темы его обличений. По его словам, правительство превратилось в пресс для выжимания денег и удушения энергии. Испания, превзошедшая доблестью Грецию и Рим, ныне трепетала от страха пред перьями фаворитов и нашептываниями исповедника Диэго де-Чавес. Всюду только голод, подкуп, террор. Умерла мужественная гордость, рождавшая изумительные подвиги, отважные приключения. Честность нынче считается дерзостью, защита своего права — мятежом, достоинство — бунтом. Почести и милости, раньше раздававшиеся в награду за благородные деяния, совершенные рыцарями и дворянами, нынче жаловались любому ремесленнику за кошелек с дукатами.

— Разве это справедливо, — вопрошал он, — что король пополняет свою казну, продавая дворянское звание, как старый хлам с публичного торга, или налагая на дворянство новые поборы и низводя его на степень разночинцев и холопов? И все это для того, чтобы обладание Фландрией становилось с каждым днем все менее прочным; чтобы француз, которого мы уже держали за ворот камзола, снова бросал нам вызов, чтоб англичанин резал, грабил и на полной свободе хозяйничал у наших берегов! Мы были богаче всех, а теперь мы нищие. Блестящие военные мундиры, а под ними короста и голод; гордый плюмаж на шляпе, а снимают ее перед каждой дверью, прося корки хлеба! Вот уже много лет кортесы вопят об единодушном протесте страны, — их не хотят слушать. Увидим, к чему приведет нас это пре-
зрение.

¹³³) Фуэрос (fueros) — законы, предоставлявшие разные привилегии отдельным городам и областям.

Он говорил стоя, зажав шпагу под мышкой. По временам хрипота затрудняла его речь, тогда он подходил к брасеро и, откашлявшись, плевал на угли. Неизменный друг его дон Эрике Давила, сеньор де-Наваморжуенде-и-Вильяторо, слушал его с жгучим волнением, сверкая от увлечения глазами, и почти всегда кончалось тем, что он вставал с места и останавливался в нескольких шагах от Бракамонте, как зачарованный. Бунтарская зараза охватывала и еще нескольких слушателей. Маркос Лопес, священник церкви Святого Фомы, уверял, будто апостол Иаков явился ему однажды ночью и сказал, что если кастильское дворянство не встанет на защиту своих прав, Испания погибла. Врач Вальдивieso и лицензиат¹³⁴⁾ Даса Симброн поддерживали Бракамонте восторженными восклицаниями; а тем временем Эрнан де-Гильямас, бывший прокурор¹³⁵⁾ Авилы при мадридских Кортесах, с патриотической скорбью рассказывал о том, с каким презрением король относится к постановлениям избранников всего королевства.

Остальные, особенно духовенство, опускали глаза и делали каменные лица. При малейшей заминке, кто-нибудь всегда спешил перевести разговор на другую тему. Всякий пустяк встречали с радостью, лишь бы рассеять тревогу, возбужденную у большинства пламенными речами Бракамонте, затрогивавшего самые серьезные вопросы совершенно так, как если бы он ударял зажженным факелом по старым драпировкам.

Тогда Гаспар Вела-Нуньес или Гонсало де-Аумада, недавно возвратившиеся из Перу, начинали рассказывать об Америке: о фантастических животных и фруктах, обездоленных младших сыновьях, нашедших зарытый клад и внезапно разбогатевших, о гробницах, полных драгоценностями, о колоссальнейших победах, когда пальцы становились скользкими от крови и приходилось привязывать шпагу и пику бечевкой, чтобы они не выскользнули из рук. Подобные рассказы воспаляли мозг этих сынов Кастилии, привыкших создавать в своем во-

¹³⁴⁾ Лицензиат — студент, прошедший полный курс университета.

¹³⁵⁾ Прокурор — депутат.

ображении, на фоне безотраднейшего и скучнейшего горизонта, пленительные миражи смелых приключений. Некоторые закрывали глаза, чтобы лучше грезить об отдаленных странах, где богатство давалось сразу, без унижительного торгашеского терпения, и в воображении их проносились сказочные земли, где нога на каждом шагу натывается на жилы самородного золота.

Приехавшие из Италии привозили с собой подарки и письма и сообщали последние новости о турках. Служившие в войсках во Фландрии, как Антонио Давила, Бородавчатый, или Педро Ренхифо, с рассеченным лбом, обсуждали тактику Фарнезе¹³⁶⁾ и рассказывали о бесчисленных геройствах испанских солдат.

Сознание мощности своей расы сверкало на всех лицах и создавало теплую гармонию гордости. Эти воины, на чьих сапогах налипла пыль всех стран земного шара, представляли собою, на подобие герба Исабеллы и Фердинанда, игу мира и пучок стрел. Иные задумывались над признаками упадка, но большинство интересовалось главным образом, цветом пера или звоном собственных шпор.

В другие дни наступала очередь богословов. Существовавшее между ними соперничество было скрытым, но глубоким. Завязав с чисто схоластическим искусством неизбежный спор, они в заключение принимались отвечать друг другу учеными и ядовитыми латинскими цитатами, раздражавшими собрание.

В залах стояло жужжанье, как в улье. Было душно и жарко. Ни аромат перчаток, ни обильный дым курильниц, не могли заглушить запах пропотевших ряс, распространяемый монахами. Ставни окон обыкновенно закрывались в три часа. Тогда оливковые косточки в курильницах ярче вспыхивали во мраке; но тотчас же длинная вереница слуг вносила целую зарю ламп, отражавшуюся на бледности лиц, на белизне гофренных воротников, на желтоватых рясах доминиканцев, и зажигающую искры на цепях военных орденов и драгоценных камнях, разбросанных по шелкам и бархату.

¹³⁶⁾ Александр Фарнезе — знаменитый полководец из итальянского княжеского рода; род. в 1547, ум. в 1592 году.

Почти все эти люди отличались худобой. Честолюбие или иску́с, часто в соединении с упорными перемежающимися лихорадками, иссушали тело, изборождали глубокими морщинами желтушечные лица. Лица — одновременно надменные и печальные, где под задором почти всегда скрывались тайные страхи, а постоянное устремление к Богу зажигало нездешним светом мечтательные глаза.

XXII.

Мутный свет, падавший от облаков, едва освещал книгу. Рамиро в третий раз перечитывал то же место из „Суеты Мира“:

„Если мы предположим, что земля находится в звездном небе, и Бог сделал ее блестящей, как одну из звезд. — отсюда снизу ее нельзя было бы различить по причине ее малости. И если, по сравнению с небесным сводом, земля является точкой, то насколько же уменьшится эта самая точка по сравнению с горним небом? Следовательно, что же ты покидаешь, презирая мир, даже и будучи властелином его, кроме жалкого муравейника, в обмен на обширные царские чертоги неба?“

Эти слова отца Фра Диего де-Эстелья¹³⁷⁾ пронзили душу Рамиро, как лучем света. Заметив страницу и облокотившись на ручку кресла, он задумчиво смотрел вдаль, сквозь старые стекла, скрепленные грубым оловянным переплетом. Тяжелая туча, корнями своими протянувшаяся, вероятно, до самого востока, выплывала над стенами. Несмотря на то, что рядом стоял брасеро с огнем, Рамиро чувствовал, как во все скважины пробирается ледяющее дыхание, — предвестник снежной бури. Каменные плитки мостовой и стены дворцов окрашивались в мертвенные холодные тона. Ветер завывал.

Стоял один из тех зимних дней, когда душа чувствует себя отделенной от всего мира и привязанной лишь к домашнему очагу, когда все существо блаженно замы-

¹³⁷⁾ Диего де-Эстелья — монах-францисканец (1524—1578), автор сочинения „Благочестивейшие рассуждения о божественной любви“.

кается в собственном эгоизме. Какое волшебное значение приобретают тогда четыре стены, где постоянные грезы пропитали знакомые предметы нашими безотчетными признаниями и как бы частицами нашей души! Отодвигаемая задвижка бросает громкий и ободряющий привет, а раскаленные угли брасеро встречают нас своими жаркими чарами, усыпляя желания и отрывая от всех забот века.

На всем была разлита огромная враждебность. Небо было хмуро, воздух угрюм и словно населен злыми духами. Мрачные рассказы, слышанные ребенком там наверху, в башне, всплывали в памяти молодого человека. Порой сердце его смущало облачко пыли и соринка над какой-нибудь трубой. Казалось, будто все предметы: черепица, закрытое окно, деревья во дворах побледнели от немого страха. Несколько крестьян поспешно спускались к воротам дон Антонио Вела, подгоняя своих мулов и ослов. Рамиро чувствовал, что на юго-востоке, за горами, притаилась буря, готовая ринуться на долину, срывая крыши с хижин, опрокидывая хлебные амбары и вырывая с корнями деревья.

Как отраднo было ему нежиться возле огня! Он мечтал о тиши монастырей, об аскетичном наслаждении одиночеством в келье зимними днями и ночами, о сладкой дремоте молений на темном клпросе, пропитанном церковным запахом старинного лака, воска и ладана.

Жестокое разочарование, пережитое несколько дней тому назад на собрании, преполнило его душу озлоблением и отвращением к людям.

— Из-за вопроса о плате! — повторял он по временам, вспоминая слова монаха. — От кого может исходить эта клевета, как не от его соперника? Неужели же и это он должен простить героическим прощением святых?

Фраза доньи Гиомар: „Большим будет счастьем, если твой поступок не запятнают какой-нибудь клеветой“, принимала теперь в его мыслях значение пророчества.

В таком случае, есть ли смысл добиваться чего-нибудь в миру, когда честь каждого находится во власти любого злого языка? А если даже и не так, — чего стоят почести и хвалы мира, этого „муравейника“, как называет

его вдохновенный монах? Не замок ли это, построенный из тростника в добычу огню смерти? ... Чего стоит шаг человека на земле? ... Любая хрупкая безделушка долговечнее своего владельца. Другие шеголи станут, быть может, подкручивать юношеские усы перед его зеркалом, когда сам он превратится в кучку гнили. Венецианский кубок, переходящий от отца к сыну, долговечнее гордых рук, поднимающих его на пирах. Что думать? Что делать?

Он сам удивлялся резким колебаниям своей души.

Он снова стал глядеть на улыцу.

Прошел час. Было воскресенье, в конце февраля. Колокол на соборе только что отзвонил три удара. Уже прибывали обычные посетители; одни в носилках, закутанные в шубы на куньем меху; другие пешком, плотно завернувшись в длинные накидки или дождевые плащи, оставив лишь маленькое отверстие, откуда беловатой струйкой вырывалось дыхание. Духовные особы закрывали себе рот сутанами; доминиканцы, в мантиях, францисканцы и кармелиты шли, накинув на лицо остроконечный капюшон и засунув руки в рукава. Рамиро увидел, как прошел и Варгас-Ороско, с посиневшим от холода носом; паж-шлейфоносец поддерживал сзади подол его сутаны. По желтым бархатным штанам и обшитым мехом туфлям он узнал дон Педро де-Вальдеррабано. Четыре заносчивых фрапта охраняли носилки доня Энрике Давила; трое с алебардами и щитами, четвертый с изящным самострелом, украшенным инкрустациями из слоновой кости.

Рамиро не хотел идти на собрание и снова раскрыл „Суету мира“. В эту минуту, после обычного предупредяющего стука, в комнату вошла Касильда. Всегда спокойные ресницы ее вздрагивали. Она подошла к письменному столу, передвинула ящичек с облатками, осмотрела светильни лампы, оправила простыни на кровати. Все это она делала с растерянным и застенчивым видом, как будто хотела что-то сказать или о чем-то попросить, и никак не могла собраться с духом.

— Ты что-нибудь ищешь? — спросил юноша.

— Нет, сеньор; только отец прислал за мной, и я пришла посмотреть, все ли готово к ночи.

Ему в первый раз пришло в голову, что следовало бы отблагодарить эту девушку каким-нибудь подарком за ее заботы в течение долгой его болезни. И он сказал:

— Открой левый ящик вон в том шкапчике. Видишь зеленый кошелек? Так, дай его мне.

Он вынул три дуката и протянул ей:

— Вот тебе на булавки, Касильда.

Едва почувствовав на ладони холод металла, она выронила монеты на стол, точно прикоснулась к змее. Лицо ее вспыхнуло от стыда, а из взволнованной груди вырвался вздох. Потом она грустно улыбнулась и проговорила:

— Ах! ваша милость подумали? Нет, нет, ради Бога!

— Ты такая щепетильная, девочка? Неужели я не могу сделать тебе подарок?

— Нет, сеньор, благодарю вас. Меня, привели к вам совсем другие побуждения. Я хочу рассказать вашей милости, — прибавила она, понизив голос и после минутного колебания, — о том, что происходит в этом доме.

— Ну, да, знаю: что лакей . . . что горничная . . . что дуэнья . . . Расскажешь в другой раз!

— О нет, сеньор, ничего подобного. Это дело очень серьезное. Дело . . . как бы сказать? очень важное, потому, что, как я ни глупа, но мне сдается, что полиция скоро нагрянет в этот дом, и для вашей милости от этого может получиться большой вред.

— Ну, хорошо, живо; рассказывай скорее. Что такое происходит?

Касильда вздрогнула, словно испуганная его властным тоном, потом ответила:

— Происходит то, сеньор, что многие из господ, которые являются сюда, по окончании приема, собираются тайно внизу, в комнате рядом с той, где стоит мой сундук; они зажигают огонь, произносят речи против короля и собираются поднять восстание.

— От кого ты это знаешь?

— Я слышала сама, в прошлое воскресенье, уже вечером, когда ходила доставать себе тальму.

-- Говори все, скорее.

— Когда я вошла, я услышала голоса, раздававшиеся как будто из стенного шкапа; я не боюсь привидений, и открыла его, чтоб посмотреть, в чем дело. Он был, конечно, пуст, но голоса слышались так, словно говорили в самой комнате. Шли же они из соседней, а говорилось то, что я уже рассказала вашей милости. По-моему, господ там было много, и между ними священник от святого Фомы, с насморком, и сеньор де-Бракамонте, с своим резким голосом, и ...

Стук в дверь, выходящую в коридор, прервал ее рассказ.

— Кто там? — спросил Рамиро.

— Это я, — ответил Варгас-Ороско, отворяя дверь и входя в комнату. Потом, украдкой взглянув на Касильду, подошел к Рамиро и, не садясь, спросил:

-- Вам уже сказали?

— Что?

— То, что происходит в этом доме.

— О чем говорит ваша милость?

-- О тайных собраниях Диэго и других в нижнем этаже, куда их проводит дворецкий.

И тотчас же, указывая на соседние комнаты, он воскликнул:

— О низком коварстве этих недостойных дворян!

— Ради Бога, говорите тише, они могут услышать, — прервал Рамиро, и прибавил: — Так что ваша милость тоже знает это от ...

-- От этой девицы, — ответил богослов, указывая на Касильду.

Разговор продолжался с оживлением, и было решено, что до окончания собрания оба они для проверки спрячутся в указанной Касильдой комнате. Вначале юноша энергично запротестовал против такого соглядатайства и заявил, что гораздо честнее было бы откровенно спросить дон Энрике Давила или самого Бракамонте; но каноник выяснил ему необходимость заручиться полной уверенностью, а указав на опасность того, что рана его может раскрыться от хождения по лестницам, прибавил:

— Если бы это случилось, сын мой, подумайте, что вы

будете лишний раз ранены, служа королю и защищая честь вашего дома.

Тотчас же оба отправились в зал. Довольно большое число гостей уже окружало дон Иньиго. Дон Педро де-Вальдеррабано, старый и угрюмый идальго, прохаживался один, машинально рассматривая мебель и фигуры на тканых обоях. Другие разговаривали, стоя у окон, пропускавших мутный и бледный свет. Прodelав официальные поклоны, Рамиро сел у большого брасеро, окруженного группой, разговаривавшей о войне.

Дон Энрике Давила обсуждал тактику Фарнезе, держа в левой руке серебряный кубок с вправленным в край крупным безоаровым камнем. Слуга поминутно подливал ему санмартинского вина. Он был в пышном бархатном костюме фиолетового цвета и в таком же меховом казакине с откидными рукавами.

Невоздержный характер его соответствовал гигантскому росту. Когда он переживал какое-нибудь огорчение, ему случалось загонять одну, а то и двух лошадей бешеной скачкой по Вильяторской дороге. Единственной волновавшей его страстью была игра. Волосы он зачесывал прямо назад, без пробора. Цвет лица у него был землистый, серый от бессонных ночей, глаза маленькие.

Рамиро застал только конец его речи:

— Скажите лучше, ваша милость, что если Фарнезе покинул провинции для того, чтоб ворваться во Францию, так он должен был дать беарнцу¹³⁸⁾ генеральное сражение, разбить его немедленно на-голову, отобрать у него припасы, овладеть Парижем и сказать затем нашему королю: „Прошу Ваше Величество назначить особу, которая займет этот трон.“ Таким образом, хотя и подвергая некоторому риску Фландрию, мы распространили бы владычество нашего оружия и очистили бы Французскую монархию от лютеровой заразы.

— Чудесный способ вести войну! — отозвался дружеским и шутливым тоном дон Педро Вальдеррабано. — В мгновение ока ваша милость разбивает на-голову педую армию, отнимает у нее припасы, нападает врас-

¹³⁸⁾ Французский король Генрих IV.

плох на укрепленный город и овладевает им. Вспомните, сеньор дон Энрике, что нет такого сражения, которое нельзя было бы выиграть, сидя в мягком кожаном кресле, у горящего брасеро.

Рехидор Гаспар Гонсáлес-Эредиа, желая смягчить язвительность этой насмешки, прибавил серьезным тоном, обращаясь к дон Энрике:

— Вероятно, у герцога не было достаточно войск для подобного предприятия; к тому же, беарнец, говорят, человек очень прозорливый и храбрый, и сам сражается во главе своих солдат.

— Ну, это-то как раз не доказывает особой прозорливости, о которой вы говорите, — возразил лицензиат Даса Симбрóн, гордившийся своими познаниями в тактике: — Глава могущественного государства, каким метит стать беарнец, если приходится давать сражение, отнюдь не должен находиться в схватке, среди своих солдат. Ибо, если он будет убит или побежден, то погибнет и самое государство, как случилось с персами и мидянами, побежденными Александром после смерти царя Дария, с испанцами, после смерти дон Родриго¹³⁹), а в наше время, с венграми, после смерти короля Людовика¹⁴⁰) в сражении, опрометчиво данном им туркам.

Послышался одобрительный гул.

— Ваше преподобие не получали новых писем из Франции? — спросил дон Алонсо отца-иезуита Хаиме Родригеса.

— Почти все теряются в пути. За этот месяц до нас дошло всего одно. В нем заключались кое-какие подробности первого нападения беарнца на Париж, в прошлом декабре.

— Расскажите, расскажите!

— Повидимому, беарнец подошел к городу после полуночи, когда все жители спали; но по случайности, в которой ясно видна Божья десница, еретики приставили свои лестницы к Папским Воротам, где в то время на-

¹³⁹) Родриго — последний готский король Испании, побежденный арабами — завоевателями.

¹⁴⁰) Людовик II — король венгерский (1506—1526), погиб в битве с турками при Могаче.

ходились несколько монахов нашего ордена. При появлении первых атакующих, братья наши подняли тревогу, соседи проснулись, ударили в набат, и еретика пришлось отступить в большом расстройстве.

— Большая честь для вашего ордена, — заметил кто-то.

— Во-истину, счастливый случай, — ответил падре Родригес.

Тогда доминиканец, фра Гонсало Химéнес, настоятель монастыря Санто-Томáс и квалификатор¹⁴¹⁾ инквизиционного суда, сказал ему с притворной кротостью:

— Вот и готов герб для дверей ваших домов.

— Какой же, ваше преподобие?

— *Anseres Capitolini*, знаменитые Капитолийские гуси; и тогда уж нельзя будет отрицать за вами древности происхождения.

Всем была известна неприязнь, разделявшая эти два ордена; но никто не ожидал подобного оскорбления, и слова отца Родригеса: „Даже и этот герб был бы не достаточно скромн для нас“, затерялись в смущенном гуле голосов. Тотчас же завязались разные разговоры, но один раздавался слышнее и, в конце концов, привлек внимание всех присутствовавших. Капеллан монастырской церкви Благовещения, Мигэль Гонсалес-Вакеро, говорил с доминиканцем Крисостомо дель-Песо о чудесах Марии Вела, монахини монастыря Святой Анны. Капеллан имел репутацию святого. Серая бледность его говорила о страшных лишениях, которым он себя подвергал, а большие ясные глаза излучали умиленную кротость.

— Милости, которыми осыпает ее Господь, так велики, а речи ее настолько напоены божественной любовью, что сомневаться не приходится, — говорил он.

— О ее смирении и прочих добродетелях говорите сколько хотите, сеньор капеллан; что же касается до ее откровений, то я склонен относиться к ним с меньшим доверием.

— Я слышал от вас однажды то же самое относительно матери Тересы де-Хесус.

¹⁴¹⁾ Богословы, занимавшиеся рассмотрением показаний доносчиков и свидетелей при инквизиционном трибунале.

— Я, действительно, много раз говорил: подождем, чем кончит эта монахиня, ибо не подобает так быстро давать веру ее добродетелям и откровениям. И не столько потому, что я сомневался лично в ней, сколько потому, что к женщинам, как мне кажется, следует относиться с осторожностью. Но теперь я заявляю, что названная Тереса дала основания думать, что и женщины способны достигать евангельского совершенства.

— Равным образом и донья Мария, падре Крисостомо. Я имею достаточно доказательств ее милосердия и прилежания в молитве, чтобы судить, имеем мы в данном случае дело с кознями и обольщениями Сатаны или нет.

— Мне говорили, ваше преподобие, что это вы посоветовали причастить ее Святых Даров, чтобы заставить ее разжать челюсти? — спросил лиценциат Симброн, обращаясь к капеллану.

— Нет, нет, это отец Хулиан, отец Хулиан.

— А вы не присутствовали при этом чуде, ваше преподобие?

— Когда я входил в келью, донья Мария уже отверзла уста и готовилась принять Святые Дары; все ее лицо сияло, как лампада. А до этого девять дней зубы у нее были так крепко сжаты, что самый сильный человек не мог разжать ей челюстей, чтобы влить хоть каплю бульону.

Разговор, по обыкновению, перешел на перечисление изумительных чудес, постоянно совершавшихся в этом городе.

Другая монахиня монастыря Святой Анны каждую ночь слышала голос, возвещавший ей о кознях, которыми дьявол онутывал ту или иную монахиню. В монастыре Сан-Хосе, Каталина Давила, охваченная внезапным экстазом, поднялась на несколько пядей от пола при чтении заметки, написанной рукой Тересы де-Хесус на полях „Поучений“ Святого Григория. Сестру Анхелу де-ла-Энкарнасион дьявол на глазах всех ее товарок, душил и бил по щекам, и наконец, сбросил с верхней галереи в монастырский палисадник, при чем она даже не ушиблась. Кроме того, каждый понедельник, день моления в Гефсиманском Саду, она, по подобию Спасителя, ис-

точала столько крови изо всех пор, что ей приходилось сменять в день две или три сорочки.

Во время этих разговоров голоса странно дрожали, и самые суровые лица смягчались и бледнели, словно обвеянные божественным дыханием.

Весь город, благоухающий святостью, как бы вознесся в ближнюю к Богу сферу и парил среди чудес, окруженный почти видимыми вереницами ангелов. Души пылали, как раскаленные уголья мистического брасеро, перемешанные кочергой покаяния, раздуваемые биением крыл непрерывной молитвы. Чудо было во всем и всюду. Оно являлось то здесь, то там, на подобие сказочной ручной птицы. О нем говорили радостно, но без изумления.

Имя Тересы де-Хесус, монахини-рыцаря, „похитительницы душ“, божественной бродяги, часто повторялось в разговорах. Многие из присутствующих состояли с ней в родстве, некоторые разговаривали и шутили с нею в приемных монастырей Воплощения и Сан-Хосе; другие, постарше, помнили ее молоденькой девушкой, любившей наряды и духи и дававшей прозвища своим поклонникам. Они с одинаковым воодушевлением вспоминали ее чудеса и ее остроты, и всем доставляло удовольствие говорить запросто о существе, которое духовные очи видели теперь в райском сиянии.

— Огромная несправедливость, что у нас отняли священные ее останки, — сказал Алонсо де-Вальдивieso, заканчивая рассказ о своей приятной встрече с нею в Медина-дель-Кампо¹⁴²⁾.

— Мы можем поблагодарить за это мошенничество герцога Альбу¹⁴³⁾, — отозвался сеньор Наваморкуэндо.

Воспользовавшись шумом, вызванным последними словами дон-Энрике, какой-то кармелит шопотом рассказал Рамиро, что недавно одна послушница монастыря Альбаде-Тормес, боясь неожиданного похищения чудотворного тела матери Тересы, в бурную ночь отправилась к ее гробнице, обнажила тело, вскрыла острым ножом грудь и запустив в рану руку, вырвала сердце. Потом эта

¹⁴²⁾ Медина-дель-Кампо — небольшой город в Кастилии.

¹⁴³⁾ Герцог Альба — министр и военачальник в царствование короля Филиппа II.

необыкновенная женщина положила святыню на деревянную тарелку, прикрыла другой и унесла в свою келью. На следующий день, бесподобный аромат, разлившийся по монастырю, выдал это возвышенное святотатство.

Возбужденный смутным гулом разговоров и духотой в зале, Рамиро захотел на минуту сосредоточиться, чувствуя, что и он проникается напряженной страстностью, какой дышали эти последние рассказы. Он лишний раз убедился, что при первом же упоминании о чудесах какой-нибудь скромной монастырской затворницы, все остальные темы разговора обрываются, и самые суровые идалго, гордые своими родословными, своими богатствами, своими шрамами, склоняли головы, словно умаляясь перед высотой подвига покаяния.

И снова, далекий и спокойный голос, обычно раздававшийся в глубине его сознания, заговорил:

„Покинь людскую толчею. Нет жизни героичнее, действительнее, достойнее названия настоящей жизни, чем жизнь человека, который, окончательно отрешился от суеты мирских утех, и вступает на путь Господа нашего Иисуса Христа. Душевные силы этого человека растут неподражаемо, в один и тот же день он осаждают и обороняется, берет замки или возводит насыпи и частоколы, дает грандиозные сражения, обращает в бегство бесчисленные легионы, завоевывает неведомые и чудесные миры. Только он направляет свой полет в пространства вечности, только он пожинает то, что посеял, познает истинную славу и побеждает суетность, бренность и земную скорбь.“

Да, он сделается монахом, быть может, отшельником, Он решил. И, под возрастающий гул собрания, он закрыл глаза и стал мечтать о своей будущей святости.

Крики на улице, внезапный и резкий шум, от которого задрожали оконные стекла, вдруг оборвали его видения.

Что это такое?! — воскликнули несколько человек.

Рамиро, сидевший возле окна, встал, открыл ставни

и выглянул наружу. Груша крестьян шла по площади, направляясь к дворцу. В дымном свете факелов Рамиро узнал в центре этой толпы высокую прямую фигуру Бракамонте. Послышались крики:

— Да здравствует дон Диэго!

Шаги толпы мерно и торжественно стучали по камням мостовой.

— Это горожане провожают дон Диэго де-Бракамонте, — громко сказал Рамиро, обернувшись к собранию.

— Повидимому, за последние несколько дней, — отозвался Вальдerráбано, — они, едва завидят его на улицах, как устремляются вслед за ним и чествуют непрерывными виватами, запах которых еще нестерпимее их звука.

— Дал бы Бог, чтоб они не толкнули его на какую-нибудь крайность, — с медлительной значительностью проговорил каноник, преподаватель богословия.

Рамиро заметил, что у некоторых взгляд вдруг сделался серьезным, тогда как другие пытливо всматривались по-очередности во все лица. А дон Энрике Дáвила, вертя в руках висевший на цепочке драгоценный брелок, ответил на фразу каноника оскорбительным смехом.

— Дон Энрике: „Ссоры избегайте“, — заметил каноник.

— Сеньор каноник: „А начав, кончайте“, — ответил сеньор Наваморкуенде, договаривая известный девиз, красовавшийся на его фамильном гербе.

Несколько минут спустя вошел Бракамонте.

— Что нового? — спросил дон Энрике, вставая с места.

Пока слуга снимал с Бракамонте засыпанный снегом черный плащ, он ответил:

— Говорят, будто дело Антонио Перес будет передано инквизиционному суду, чтобы обойти таким путем Фуэрос Арагона.

Сидевший за канделябром, озаренный огнями многочисленных свечей, настоятель монастыря Санто-Томас ответил:

— Разве есть какая-нибудь привилегия, какое-нибудь фуэро неприкосновенное и выше прав святой инквизиции? Пусть они устраиваются там, как хотят, сеньор дон Диэго, а мы здесь, в Кастилии.

Бракамонте, сразу узнав голос, тотчас же ответил:

— Вашему преподобию отлично известно, что по словам древних, тирания — это наклонная плоскость, и все дело лишь в том, чтобы ступить на нее. И если на подобную вещь решаются с Арагоном, так ревниво охранявшим всегда свои вольности, то на что же не осмелятся с нами, уже вполне ощипанными и готовыми на похлебку?!

Рамиро почувствовал, что его потянули за руку.

— Пойдемте, пора, — прошептал ему на ухо богослов.

Часть гостей расходилась; в числе их был и дон Алонсо.

Когда учитель и ученик, в сопровождении Касильды, спустились в комнату нижнего этажа, было уже темно.

— Снег идет, — проговорила девушка, глядя на двор.

Касильде не пригрезилось, и она не нагала. После довольно долгого ожидания, чрез доски вделанного в стену шкапа стал доноситься шум входивших в соседнюю комнату людей. Не было ни малейшей скважинки, сквозь которую можно было бы что-либо видеть; но Рамиро и каноник легко узнали собравшихся, хотя все, с явной осторожностью, говорили пониженными голосами.

— Последние письма, — сказал Бракамонте, — получены от барона де-Барболес, Мигэля де-Гурреа и от сеньора де-Пуррой.

Он прочитал их. В двух последних говорилось о недавних событиях в Арагоне и о народных волнениях в Сарагоссе¹⁴⁴). В письме дон Диэго де-Эредиа, сеньора Барболес, говорилось, между прочим: „Сегодня опасность грозит нам, арагонцам, завтра она будет грозить

¹⁴⁴) Сарагосса — столица Арагона.

вам. Окажем друг другу верную помощь, братья кастильцы, ибо родина наша гибнет; те, кому следовало бы быть ее отцами и судьями, на самом деле являются ее злыми отчимами и обидчиками.“

— Да, родина гибнет, — резко прибавил Бракамонте, неосторожно возвысив голос. — И чему же нам удивляться, когда Испания, вчера управлявшаяся своими знаменитейшими сынами, нынче стала добычей алчных простолудинов, которые не только стараются всеми способами умножить свое личное благосостояние, хотя бы и в ущерб общественному, но кроме того, стремятся разорить и истребить древнейшее дворянство королевства, устраняя его, как нам известно, от управления делами и измышляя для него ежедневно новые налоги и новые унижения. Если бы щепетильная честь нашего класса не превратилась ныне в трусость и низость, кто осмелился бы на подобную наглость? Давайте же покажем, что благородная кровь, унаследованная нами от предков, чего-нибудь да стоит! Настало время мужественных решений. Лишимся лучше, если придется, жизни в этом предприятии, нежели чести. Арагон ждет только нашего сигнала, чтоб восстать; Севилья кипит и рвется защищать свой права; Вальядолид, Мадрид и Толедо прижмут к нам, как только мы поднимемся.

Гул восторженных одобрений был ответом на речь Бракамонте. Потом, среди снова наступившей тишины прозвучал отдельный голос, торжественный, и хорошо знакомый:

— Пусть не говорят, что старость, отняв у меня силы, иссушила мое сердце. Знайте, господа, что все мое состояние отныне передается на нужды общего дела. И если обстоятельства того потребуют, я прикажу поднять себя на носилках на стену, потому что рука моя еще может метать копьё.

Заслышав этот тягучий и глуховатый голос, Рамиро и каноник инстинктивно шагнули друг к другу.

— Дон Иньиго?! Боже мой! — воскликнул богослов, хватая за руку Рамиро.

— Да, это он, — только и проговорил в ответ юноша.

Затем послышались восклицания и отрывочные фразы.

— Это тиран, — отчетливо проговорил кто-то.

— А духовник его, — прибавил священник церкви святого Фомы, — будет гореть в аду за то, что дает ему отпущение грехов.

Несколько человек крикнули:

— Прочтите воззвание, которое будет расклеено на домах!

— Уж поздно.

— Пусть прочтут, и разойдемся.

Послышался внятный шелест бумаги, и дон Энрике Давила стал читать историческое воззвание.

„Если какой-нибудь народ в мире достоин пользоваться любовью и уважением своего короля и властелина и получить от него свободу, то это, несомненно, наш народ; но царящие ныне алчность и тирания недоступны подобным соображениям. О, Испания, Испания, хорошо же ценят твои заслуги, столь обильно политые рыцарской и крестьянской кровью, ибо, в награду за них, король желает перевести дворянство в податное сословие! Восстань же на охрану своих прав и защищай свою свободу: справедливость на твоей стороне, и задача твоя будет тебе легка. А ты, Флипп, довольствуйся своим, не посягай на чужое и спорное, и не давай повода и случая к тому, чтобы те, по чьей милости ты облечен принадлежащей тебе честью, были вынуждены защищать свою честь, неприкосновенную в течение многих веков и охраняемую законами сплх государств.“

Глухие виваты, раздавшиеся в соседней комнате, свидетельствовали о том, что заговорщиков было много.

— Хорошо сказано, хорошо сказано, сеньор дон Энрике, — воскликнули несколько голосов.

— Надо завтра же прибить на стенах собора и на Рыночных воротах.

— Предоставим выбор времени и места дон Энрике и дон Диэго, в назначенный час мы все придем его собственными руками в указанных местах.

— Уж поздно, господа.

Задвигались стулья. Все встали и разошлись.

XXIII.

Едва очутившись снова в комнате своего ученика, каноник воскликнул громким пророческим голосом:

— Все это кончится эшафотом!

Рамиро опустился на стул возле маленького, уже накрытого к ужину стола и, устремив взгляд на блестящую под огнями канделябра белую скатерть, ответил после долгого молчания:

— Если даже и так, необходимо последовать за нами. Храбрые, доблестные — это они. Я должен показать, — прибавил он, поднимая лицо к свету и ударя кулаком по столу, — что среди кастильского дворянства еще сохранились сердца, способные проявить старинную доблесть.

— Клянусь своей рысой, — воскликнул каноник, — в этот дом проник легион невидимых бесов, которые всем вам возмущают кровь. Неужели вы не понимаете, сын мой, что этот тупица и игрок дон Энрике и это разъяренное животное Бракамонте только извергают в слова свою глубокую досаду на то, что за всю свою жизнь не удостоились ни малейшего отличия? И неужели вы не предвидите, что как только они расклеют это гнусное воззвание, оба вместе с другими неосторожными, что последуют за ними, будут обезглавлены палачем? Если вас прельщает, Рамиро, кончить свою жизнь, подобно им, на позорной подстилке посреди Рыночной площади, или отправиться грести на какой-нибудь галере под бичом надсмотрщика — тогда, сделайте одолжение! И в хрониках о вас будет упомянуто, как о презренном потомке, покрывшем позором и бесчестием свой древний и славный род.

— Разве я женщина или ребенок, чтобы предоставлять другим охрану наших старинных прав? Мой прадед, Суэро дель-Агила, рисковал за них жизнью.

— Горе мне, — воскликнул богослов, — если такова уготованная мне жатва! Великий Боже! Не гордость ли, не омерзительная ли гордость, источник стольких заблуждений и зол, внушает вам такие безумные речи?

И пройдясь несколько раз крупными шагами по комнате, он заговорил звучным голосом, с широкими проповедническими жестами, к каким прибегал в серьезных случаях:

— Где тиран? Где произвол? До каких пор будете вы злоупотреблять монаршим терпением? Кто, если он не безумец, осмелится говорить, что страна гибнет? Был ли, скажите мне, на протяжении веков, народ, внушавший такой страх и такую зависть, как в наше время испанский народ? Мы владеем сушей и морями; мы держим за волосы весь мир. Наши фландрские и итальянские терции¹⁴⁵⁾ затмили славу македонских фаланг и римских когорт; и всюду при одном только звоне испанских шпор, трепещут народы. О, безумные! Существовал ли когданибудь монарх, столь правосудный и столь великий, как Филипп? Я уверен, что в грядущие времена, для достойного описания его жизни, придется сочетать благочестие Давида с мудростью Соломона, триумфы Александра с осмотрительностью Марка Аврелия. А затем, — как забыть то, что он сделал и ежедневно делает для искоренения из мира ереси? И в Испании еще есть недовольные! Еще есть мятежные вассалы, стремящиеся затруднить путь этому помазанному Богом государю! Эти ничтожества и скупцы думают, наверное, что все это величие на самом деле не является величием, оттого что у них потребовали ниточку из их плаща!

И, расхаживая, продолжал говорить в том же духе. Рамиро слушал внимательно, увлеченный неожиданным пафосом этой горячей речи; представляя полную противоположность выкрикам Бракамонте, она все же настраивала его также на возвышенный и героический лад.

Слуга подал первое блюдо. Каноник сел и едва поднес ко рту большой кусок ветчины, как в комнату вошла мать Рамиро. Она казалась оживленнее обычного. Говорила почти весело, и даже два раза осторожно пошутила, упрасывая сына не заставлять Господа слишком долго ждать, а как только окрепнет, не медля сесть на коня и отправиться в Саламанку.

¹⁴⁵⁾ Глубокий и сомкнутый строй пехотных полков в XV и до начала XVI столетия.

— Теперь от вашей милости, сеньор каноник, зависит дать этой душе необходимый толчок, — с непривычной улыбкой прибавила она, выходя из комнаты.

Когда они остались одни, юноша, безгласный от бурных впечатлений, боровшихся в его душе, нервно встал и, подойдя к окну, отворил ставни. Засыпанная снегом Авила сверкала в волшебном сиянии луны, как заколдованный, сказочный город.

Рамиро приказал слуге унести свечи.

Углы комнаты потонули в тени; но в то же время лунный свет проник сквозь пыльное стекло и повис в комнате, точно призрачная и фантастическая пелена.

Рамиро любовался причудливым горностаевым ковром, наброшенным в прозрачной ночи на крыши и зубцы города; он думал о небе, о светлой гармонии рая, о душе Тересы де-Хесус, наслаждавшейся с Богом среди несметных сонмов белых серафимов.

— Знаете, что я думаю, Рамиро?! — воскликнул вдруг каноник, весь скрытый сумраком: — Я думаю, что устами добродетельной матери вашей говорили сейчас с вами ангелы, и что нынче более, чем когда-либо, в виду опасности, которой подвергаются одновременно и ваша душа, и ваша честь, вы должны без промедления броситься в объятия святой церкви. Она одна сможет утишить буйное кипение вашего мозга и не даст вам предаться страсти гордыни, этой опасной и отвратительной страсти, превращающей нас в лакомый кусок для дьявола. С Божьей помощью, сын мой, я скоро буду возведен в сан епископа Картахены или Оренсе¹⁴⁶), как уверяет дон-Алонсо. Вдали от глупости и зависти, имя мое не замедлит разнестись по всей Испании. Знания мои появятся на свет из церковного погреба подобно крепкому позабытому вину, и повсюду воспламят людские умы. При дворе по всякому поводу станут спрашивать моего мнения, и сам король, в конце концов, будет говорить: „Таково мнение его преподобия Лоренсо Варгас-Ороско, и больше к этому ничего не прибавишь.“ И тогда, Рамиро,

¹⁴⁶) Картахена — бывший Новый Карфаген, порт на южном побережье Испании. Оренсе — город на северо-западе Испании (в провинции Галисия).

одной из первых мыслей моих будет призвать вас к себе, и с этого момента начнется истинная ваша деятельность, предопределенная вам Богом. Наконец-то, я понимаю! Этим путем, этим путем! Так хочет Бог!

Рамиро размышлял. Сидя в кресле у окна, он смотрел вверх, лицо его казалось вырезанным из слоновой кости. Наконец, он наклонился к учителю и, не опуская глаз, размеренным, почти жалобным тоном ответил:

— Иногда я и сам думаю, что этого хочет Бог, как вы говорите, и что он проявляет мне свое желание, то вырывая меня из рук смерти, то показывая мне мирские скверны и бренность всех людских почестей, то говоря со мною устами моей матери, как, например, сейчас. Я взываю тогда всеми силами к его божественному величию и прошу явить мне одну из тех милостей, какие он ежедневно являет некоторым душам, и в которых непрерываемо выражается его избрание. Но ни откуда, ни откуда нет мне ответа, и вся разочарованная душа моя снова вынуждена гасить свой пыл в бездне и мраке. Я хотел бы, — прибавил он звучным громким голосом, простирая обе руки к зеленоватому сиянию, в котором кисти его засветились жуткой белизной, — я хотел бы в едином порыве вознестись в одну из тех дивных обителей, что описывает мать Тереса де-Хесус, испытать, хотя бы на мгновение, этот восторг, этот экстаз, в который она впадала постоянно, подняться, наконец, к Богу единым и мощным взлетом души, и потонуть, раствориться в созерцании Его.

Он помолчал с минуту, потом продолжал:

— Или, по крайней мере, чудо, настоящее чудо, которым Господь выразил бы мне свое расположение: подняться во время молитвы на воздух, увидеть на своем теле стигматы крестных страданий, услышать слово с уст какого-нибудь образа Богоматери, совершившей столько чудес в этом городе ради грубой черни и крестьян. Или же услышать какое-нибудь повеление, которое я должен передать людям? Но до сих пор — ничего! Тело мое напоминает мешок, набитый тяжелыми камнями, на руках моих по прежнему нет никаких знаков, небо замкнуто для меня и безгласно. Чудотвор-

ные же иконы Богоматери, от долгого гляденья на них, начинают дрожать и колебаться, как в дымке восковой свечи; но говорить со мной они никогда не говорят. И какой же непроглядный мрак в моей душе, какая сушь, какая боль здесь, в сердце, ах!...

Он прижал к груди руки.

— Вы в огромной опасности, сын мой! Теперь я вижу, — и в том, в ком всего менее желал бы — какой вред могут причинить недостаточно опытным и просвещенным душам, описания чудес; они лишают их смирения и пробуждают в них, к великой радости дьявола, стремления к сверхъестественному. Эта Тереса и все, кто писал и пишет о мистике на общедоступном языке¹⁴⁷⁾, причиняют Испании большое зло, возбуждая презрение к суровому пути схоластики и завлекая неосторожных видениями и откровениями, беседами и экстазами и всеми грезами, которые порождает созерцательное упоение. Все это, Рамиро, не что иное, как чад пылающего факела истины, и те, что ищут только этого чада, быстро слепнут. Не будучи в состоянии и не желая проникнуть в тайны Писания и трудности схоластического учения, они надеются, что Бог явится им сразу, в минуту экстаза, и они будут говорить с ним лицом к лицу, словно с коррихидором или епископом. Вас, Рамиро, отделяет только один шаг от злейших ересей, заражающих Испанию, и я очень боюсь, как бы, увлеченный этим духовным сладострабием вы не впали, сами того не подозревая, в безумства бегинок¹⁴⁸⁾, или как бы кто-нибудь не донес на вас Святому Судилищу, как на иллюмината¹⁴⁹⁾ или кветиста¹⁵⁰⁾.

— Я жажду для себя только того, что превозносит в своих писаниях мать Тереса де-Хесус, которую все считают святой, — нервно воскликнул молодой человек.

¹⁴⁷⁾ Т. е. на испанском, а не на латинском языке.

¹⁴⁸⁾ Бегижки — женский монашеский орден.

¹⁴⁹⁾ Иллюминаты — религиозно-мистическое общество, основанное в 1575 г. в Испании.

¹⁵⁰⁾ Кветизм — мистическое учение, основанное в XVII веке Мигелем Молинос и воспринятое несколько позже во Франции г-жей Гюйон. В данном случае, говоря о кветистах, автор допускает анахронизм.

— А разве — возразил, в свою очередь, каноник, — примеров блаженной из Пьедранты, Магдалины де-ла-Крус и лиссабонской пастоятельности недостаточно для того, чтобы внушить нам разумную подозрительность по отношению ко всем женским откровениям? Ох, дочери Евы! — воскликнул он, взмахнув руками и сделав во тьме жест, невидимый для Рамиро.

Потом, как бы отделавшись, наконец, от ненавистой мысли, он продолжал:

— Я уже не раз говорил вам, что эти сношения с Богом были распространены и считались законными во времена Ветхого Завета, и сам Господь требовал их, как мы видим это у Исаии, где он укоряет сынов Израиля, говоря: *Vae, filii desertores, dicit Dominus, ut faceretis consilium, et non ex me... Qui ambulatis, ut descendatis in Aegyptum et os meum non interrogastis*¹⁵¹). Мы видим также в божественном Писании, что Моисей постоянно вопрошал Бога, равным образом, Давид и другие цари Израиля; и Бог отвечал им, говорил с ними, и не гневаясь, потому что вера еще не была утверждена. Но теперь, когда мы имеем Новый Завет, все завершено, и вера основана *per saecula saeculorum*¹⁵²), и не о чем больше вопрошать, как прежде Бога, ибо, дав нам, как Он дал, Своего Сына, который есть Его Божественное Слово, он сказал нам все сразу, и больше Ему нечего сказать. Следовательно, Рамиро, тот, кто теперь вопрошает Бога и требует у него откровений, только докучает ему и гневит Его. Поэтому будет гораздо лучше, если вы приготовитесь к отъезду и углубитесь в изучение Писания и Святого Фомы, ибо это есть подлинная здоровая пища, остальное же — дешевые рыночные сласти; это — путь долгий, но верный; то — опасная крутизна; это — благодетельный свет; все прочее — раздражающий дым, туманящий зрение и мозг.

Мрак, скрывавший его лицо, усиливал впечатление

¹⁵¹) „Горе, чада отступившая, сия глаголет Господь: сотворите совет не мною... Идущи снити во Египет, мене же не вопрошиша...“ Книга пророка Исаии, гл. 30.

¹⁵²) „Во веки веков.“

от его слов. Оставалась лишь чистая эманация ума, и мысли, казалось, ярче вспыхивали в темноте, подобно углям брасеро.

XXIV.

Два дня спустя произошло неожиданное событие. Было немногим больше часа. Сидя, по обыкновению, у окна, Рамиро рассеянно перелистывал Кордиал, „Искусство хорошо умирать“, *Contemptus Mundi*¹⁵³). В стекло просачивался серый и унылый свет. В комнате не слышалось иных звуков, кроме шелеста переворачиваемых в тишине страниц. Вдруг какая-то неведомая волна, какое-то дунсвенне, что-то необъяснимое заставило его взглянуть в окно. Улица была сумрачна и пустынна; но минуто спустя, с южной стороны появились два скорохода в желтой с голубым ливрее Блэскесов, за ними высокий оруженосец в алом камзоле и дорожных сапогах, и наконец, в ручных носилках — Беатриса. Донья Альварес, ее дуэнья, шла следом, постукивая палкой по мостовой.

Девушка сидела с презрительной небрежностью пфанти. Черное покрывало оставляло открытым лишь подол темносиней бархатной юбки, обшитой в три ряда серебряным галуном. Рамиро встал. В этот момент перед ним проходило олицетворение всей женской прелести, обаятельной и страшной. Бледное лицо Беатрисы, освеженное холодным ветром, белизной напоминало причастные облатки; и она действительно, являлась как бы предсмертным прищипом его любви, последним напутствием его забытой и умирающей страсти.

Поровнявшись с окном, Беатриса чуть заметно наклонила голову, и на губах ее мелькнула насмешливая улыбка. Немного дальше, уже сворачивая с площади, она оглянулась на печальное виденье, уже сливавшееся с тусклым отсветом стекла, и снова улыбнулась; и так, покачивая головкой в такт мягкому колыханью носилок, исчезла.

¹⁵³) „(презренин к миру.“

Рамиро швырнул Искусство хорошо умирать на заваленный книгами стол.

На утро слуга, пришедший будить его, остановился в изумлении. Господин его спал одетый.

Потекли дни, долгие дни чисто тюремного заключения; Рамиро сокращал их чтением, или с изумительным искусством писал масляными красками на ореховых досках образы святых и Богоматери. Каноник часто навещал его и постоянно уговаривал посвятить себя духовной карьере. Однажды он сказал:

— На днях пачнется процесс мавританок. Наверное, вас скоро вызовут давать показания.

Он стоял у окна и, выглянув как раз в эту минуту на улицу, воскликнул:

— А! Вот идет Гонсало де Сан-Висенте. А с ним, наверное, какой нибудь учитель фехтования, это его всегдашняя компания. Говорят, будто король хочет назначить его рехидором, несмотря на его молодость, и если это случится, дон Алонсо Блáскес выдаст за него свою дочь Беатрису. Отец его, дон Фелипе, истинный рыцарь и верный слуга короля и церкви.

Потом, взглянув на видневшееся из-за старой крыши миндальное дерево, ветви которого уже начинали покрываться цветами, он прибавил:

— Наступает сладострастное время года.

Между тем, Рамиро скучал. Рана его все не закрывалась. Багровая опухоль кольцом окружала упорный шрам; края его расходились от малейшего усилия. Врач, после ученых рассуждений о влиянии планет на сырые и полусырые соки гангрены, в конце концов, сказал, что выходить ему можно будет не раньше конца марта, да и то не иначе, как после десяти-двенадцати кровопусканий, *ex sacro manus*, ибо, по его словам, „кровь еще испорчена, в ней присутствуют вредоносные начала, отсутствуют противоборствующие, и не имеется благоприятных условий; следовательно, это лучшее, на что можно рассчитывать“.

Наступила Страстная неделя. Дни позлащались первой улыбкой весны, и на деревьях вскрывались почки,

желтенькие и пушистые, как вылупившиеся из яйца птенчики. Город, заполненный прибывшими из окрестностей людьми, гудел, как улей. В среду утром Рамиро увидел, как по площади проехал на красивом некрупном коне его бывший соперник Гонсало де-Сан-Висенте. Чепрак на коне был из голубого бархата с вышитыми золотом и шелками фамильными гербами. Впереди шли два скорохода. Наверное, он намеревался проехать мимо дома Беатрисы или встретить ее по выходе из какой-нибудь церкви. Султан из белых перьев, прикрепленный к берету бриллиантовой пряжкой, развеялся на утреннем ветерке. Рамиро захотелось выйти на балкон и бросить какое-нибудь оскорбление этому щеголю, светловолосому, как иноземец, белому и розовому, как женщина.

XXV.

Еще не совсем проснувшись, с растрепанными волосами, щурясь от света и вытягивая то одну руку, то другую, Беатриса сидела на краю постели, а рабыни и служанки одевали ее.

Была Страстная суббота и до торжественной обедни в кафедральном соборе оставался всего час. Только что пробило девять.

Беатрисе было очень трудно встать так рано. Утренняя ласка тонких простынь убаюкивала ее волю, нашептывала грезы о неведомых радостях.

Разговоры доньи Альварес и обнаженные мраморные и металлические статуи, вывезенные дон Алонсо из Италии, рано нарушили ее невинность.

Леокадия, любимая ее служанка, помассировав и несколько раз поцеловав ей ступни, стала натягивать на безукоризненно стройные ноги ее тугие шелковые чулки бронзового цвета, с прямой ажурной полоской. Потом, надев ей красные, надушенные амброй туфельки, осторожно приподняла ночную сорочку и поцеловала тело. Девушка оттолкнула ее обеими руками и жеманно вскрикнула.

Та же служанка достала из большого сундука другую сорочку с кружевами и поднесла ее на подносе Беатрисе.

Тогда Беатриса, взяв и развернув душистую, всю в лентах, рубашку, задернула желтый шелковый полог кровати. Наружи остались только ее ноги, довольно полные сравнительно с остальной фигурой. На подвязках сверкали драгоценные бриллиантовые пряжки.

Воздух алькова был насыщен влажным и теплым запахом, исходившим не из флаконов с духами, не из ящичка с эссенциями, а из полураскрытой кровати и от снятого накануне брошенного на табурет белья.

В туалетной комнате другая служанка готовила полотенца, умывальный таз и кувшин. Третья — вредные свинцовые белила для лица и кроваво-красный порошок для оживления щек. Беатриса насилу позволила умыться себя. Она топала ногами от холодной воды. Тогда служанка, едва касаясь, провела по ее шее и плечам мокрым полотенцем. За то она с наслаждением надушилась. Разве этого не достаточно? Разве амбра, ангельская вода, цвевта — не превращают тело в ароматный букет цветов?

Две рабыни-итальянки прислуживали ей на коленях. Та, что помоложе, умела подрисовывать глаза сурьмой, по турецкому способу. В ушах у нее были огромные кольца, а на голове зеленый тюрбан с желтыми и красными полосами. Она была хрупка и белокура, как мидонна Санцио¹⁵⁴). Дон Алонсо купил ее у капитана одной галеры; и когда он возвращался из своих поездок ко двору, это она подавала ему по ночам в постель ароматное спотворное питье.

Беатриса потребовала молитвенник, чтобы сосредоточить мысли на сегодняшнем чуде, пока ей убирали блестящие волосы, чернота которых местами напоминала фиолетовые отливы палисандра.

Сноп солнечных лучей, пробившись сквозь окна, падал наискось в комнату. Сверкающий божественный дар искрился на серебряных предметах, на перламутре и металле инкрустаций, на позументах драпировок, и золотым мифологическим дождем падал на ковер. Наружи, яркий утренний свет зажигал карнизы самых высоких до-

¹⁵⁴) Рафаэль Санцио — итальянский художник (1483—1520).

мов, и небо, без единого облачка, постепенно освобождалось от окутывавшей его дымки.

Ей подали раскрытый молитвенник. Миниатюра на странице изображала Спасителя, возносящегося на небеса с белым знаменем в правой руке, и стражу, в испуге упавшую у гробницы. По-детски запинаясь и водя указательным пальцем по строкам, она прочитала послание Святого Павла к колоссяем. Потом повествование Святого Матфея о пришествии Марии Магдалины и другой Марии ко гробу, об отваленном камне, о лучезарных словах ангела, возвестившего о воскресении.

Описание этого величайшего из чудес глубоко взволновало ее. Невыразимая радость охватывала ее при мысли о чудесном вознесении Иисуса после крестных страданий. Хотелось смеяться, петь; хотелось одеться в роскошнейшие наряды и выбрать драгоценнейшие украшения. Иисус воскрес! Она взяла ручное зеркало и улыбнулась ему широкой улыбкой, обнажившей зубы.

Наконец, одетая в желтый брокат, напоминавший серебряными разводами и красноватыми вышивками ткань церковного облачения, с тщательно завитыми волосами, видневшимися из под бархатного берета с перьями, выше ростом от вложенных в туфли пробок, осыпанная драгоценностями, как чудотворная икона, разукрашенная, затянутая, вся шуршащая и шелестящая, она стала прохаживаться по комнате, поглядывая через плечо на бордюр алой баскиньи, на широкие складки юбки. В маленьких ушах ее покачивались доставшиеся от бабки бриллиантовые серьги с длинными подвесками.

Служанки следовали за ней по пятам, как за голубкой, которая вот-вот упорхнет. Одна старалась поправить язычек на башмаках; другая — разгладить золототканый шитый бисером пояс. Леокадия, набрав в рот душистой воды, пропускала ее сквозь зубы тонкой непрерывной струйкой и, обойдя Беатрису со всех сторон, искусно обрызгала ее от края юбки до накрахмаленных брызжей.

Вошедшая рабыня доложила, что носилки дожидаются в прихожей.

-- Позовите Альварес, — приказала Беатриса.

Минуту спустя, побрякивая четками и шумя платьем, явилась дуэнья. Служанки удалились. Тогда донья Альварес, осмотрев девушку сквозь очки, воскликнула:

— Очаровательная принцесса! Звезда Вифлеема! Благословен Господь, создавший вас прекрасной и сверкающей, как морская жемчужина.

Между тем Беатриса, смотрясь в зеркало, строила самые разнообразные мины. То закрывала веки с томной дрожью, словно вдохнула какой-то сладко-мучительный запах; то широко раскрывала, сжимая в то же время карминовые губы, как будто протягивала их воображаемому любезнику, словно обсахаренную землянику, восхитительную пурпуровую конфетку.

Дуэнья спросила почти на ухо:

— Он не проезжал по улице?

— О ком вы говорите? — отозвалась девушка.

— О Гонсало.

Почем я знаю.

Он должен был проехать. Я видела, как он несколько раз входил в церковь. Он искал вас, как гончая, обнюхивающая траву.

— Ну, что ты!

— Увидите, какой он нарядный, глаз радуется на его серостальной камзол с тысячью пуговок и всяких отделок. А какие перья, Боже мой! Все девушки поворачивали головы, чтобы взглянуть на него. Что будет, когда его назначат рехидором, как говорят? Вы оба родились точно под одной звездой. Что за чудесная пара! Он перламутр, а вы жемчужина, сеньора!

— В какой церкви ты была?

— В соборе. Уже благословили огонь и свечу. Я попросила у одного знакомого каноника немножко ладана и стиракса. Какое замечательное торжество! В храме пахнет лучше, чем в саду. Надо торопиться, а то мы опоздаем.

Она взяла из рук девушки зеркало, набросила ей на плечи накидку и поспешно принесла кунью муфту, куда Беатриса запрятала обе руки, подражая приемам важных дам.

Очутившись на улице, дочь дон Алонсо откинулась

на спинку носилок, чтобы ослабить их колыханье; и сверкающую и неподвижную, как икона, с набожно сложенными губами и сосредоточенными глазами, скороходы мерной поступью понесли ее сквозь толпу.

Слуга нес впереди подушку для коленопреклонений с богато расшитым гербом Бласкесов.

XXVI.

В светлом и важном утреннем золоте Авила сияла, точно маленький Иерусалим, преисполненная и благоухающая религиозным волнением. Цветы на деревьях свисали через заборы на улицы. Казалось, нетерпеливая радость спускалась с безмолвных колоколен и растекалась по городу. Беатриса вдыхала эту разлитую повсюду святость, предчувствуя какую-то тайну, которая вскоре должна перевернуть всю ее жизнь.

Народ с трудом двигался по улицам, и девушка с отворачиванием смотрела на крестьян, распространявших на ходу запах кислого молока и поскрипывавших по камням праздничными башмаками. У некоторых на лице отражалось изумление пред далеким событием, которое церковь праздновала в этот день, глаза у них выкатывались на лоб с такою же растерянностью, как у Святого Иоанна и Святого Петра на пути ко Гробу.

На Соборной площади оруженосец должен был раздвигать толпу крестьян, чтоб открыть дорогу для носилок. На маленьком пространстве, едва хватавшем для горожан, сошлись не только жители окрестных хижин и домов, но и значительная часть обитателей соседних деревень. Разнообразнейшие наряды горели под волшебным солнцем подвижными и многоцветными пятнами. Здесь были юбки, красные и зеленые, как перец, желтые, как тыквы, фиолетовые, как баклажаны, коричневые, как картофельная кожура плащи и колеты; темные одежды стариков, принявшие тусклый оттенок зеленых бобов; яркие платки и шали, на которых словно цвели целые огороды. Немало было поэтических поселянок с косами и в корсажах, пастушек из Сотальво, Торнадисос, Фон-

тиверос, прачек и коровниц, принесших с собою запах мыльной воды и скотного двора. Сухие и угрюмые мужчины, с бритыми, как у монахов, губами и в широкополых шляпах, смотрели на проходившую знать, опираясь на толстые дубляки или на спину осла. Женщины весело болтали. Те, что побогаче, были в ярких передниках, и почти все в коралловых ожерельях, в арабских серьгах, с серебряными крестами и медальонами, напоминавшими какие-то туалетные ex-voto¹⁵⁵). Многие из этих людей покинули свои далекие домики или фермы до зари, при свете звезд.

— Говорят вам назад! - кричал в одном месте пьяный от власти альгвасил, грубо расталкивая крестьян и стараясь сохранить узенькую человеческую аллею, по которой направлялись в церковь знатные дамы и кавалеры.

— Уж не хочет ли сеор альгвасил, чтоб мы отдали ножки этому сеньору мулу? — отозвалась городская девушка.

Во второй раз говорю вам - назад!

Прочь руки!

Эй, Антония, смотри, мы нынче не на рынке!

Разносчики навязывали свои товары.

— Красавица, один реал — и эти четки ваши.

— Я тебе дам, самое большее, четверть реала.

— Из какого кармана: из переднего или заднего?

— Уберите этого грубияна!

Храм был полон народа и вверху под сводами весь окрашен солнцем и окутан ладаном. Длинные мечи света, тянувшиеся книзу от витражей, окрашивали во все оттенки радуги камень и алебастр, расцвечивали золото кафедр, придавали бронзовый отлив темному ореховому дереву. Беатриса опустилась на колени среди прочих знатных дам, между клиросом и главным алтарем. Сверкающие орденами и драгоценностями сановники занимали центральные скамьи.

¹⁵⁵) Ex voto — разные изображения, предметы и т. д., которые верующие вешают в католических церквях в ознаменование обета, данного ими в минуту грозившей им опасности.

Пение литаний гремело под сводами, мощное, одно-тонное, торжественное. Наконец, появились дьяконы в белых стихарях.

Когда началась обедня, Беатриса заметила в соседнем приделе Гонсало де-Сан-Висенте, в описанном дуэней costume; он стоял на коленях, и, сложив на пол перчатку, и, осеняя себя крестным знамением, искоса поглядывал на нее. Она ответила нежным взглядом, потом опустила голову и глубоко вздохнула, устремив глаза на книгу.

Дон Херонимо Манрике-де-Лара раскачивал кадило костлявыми и бледными руками. Клубы литургического дыма, уносясь ввысь, в одно мгновение наполнили, словно чудесным облаком, оба клироса, окутали священника и дьяконов, ослабили блеск позолоты и покрыли солнечной благоуханной дымкой живопись иконостасов.

Вдруг голос прелата запел первый стих Славы; и словно рухнул с грохотом могильный холм безмолвия и скорби, воздвигаемый церковью с утра четверга, — вверху мгновенно загрели барабаны, пронзительно застонали гобои, бурно зарокотал орган, а еще выше, наружи, в воздухе, в солнечном небе грянул торопливый звон всех колоколов — неистовых, шальных, безумных, ноющих и бросающих ветрам великую тысячелетнюю радость Воскресенья.

В эту минуту Беатриса, подняв голову, увидела справа от себя, возле колонны бокового придела, призрак... нет, самого Рамиро!

Орган и медь еще продолжали звучать. Вихрь религиозного ликования пригнал головы коленопреклоненной толпы. Беатриса едва не лишилась чувств, связав в одном порыве воскресенье Спасителя и присутствие этого бледного юноши, лицо которого представилось ей вдруг бесплотным и прекрасным символом Страстей Господних.

При последних словах евангелия, Рамиро медленно удалился.

Он подошел к гробнице Диего дель-Агила и прислонился лбом к стене, как бы прося совета у этого древнего рыцаря, своего предка, покоившегося здесь сном доблестных и храбрых. Народ выходил из всех дверей

храма. Рамиро увидел, что соперник его стоит возле чаши со святой водой, положив пальцы на край чаши и, очевидно, ждет Беатрисы.

— Надо победить здесь же! — сказал он себе. И, побуждаемый непреодолимым порывом, незаметно спрятался за той же колонной. Когда Беатриса находилась в нескольких шагах, и Гонсало двинулся ей навстречу, чтоб окропить ее святой водой со своих пальцев, Рамиро тоже быстро погрузил в чашу руку и спокойно и властно протянул ее Беатрисе. Смущенная этим внезапным появлением, девушка с минуту колебалась; но потом опустила глаза и, проходя мимо, коснулась дрожащей рукой руки Рамиро.

Молодые люди некоторое время злобно смотрели друг на друга. Лицо Гонсало дышало гневом; а Рамиро, вскинув голову и приподняв сзади шпагой плащ, смотрел на него через плечо с улыбкой, оскорбительнее всяких слов.

Когда Рамиро, выйдя из храма, снова очутился на залитой солнцем площади, ему показалось, что все горожане и приезжие, дворцы и башни, люди и предметы — не более как сцена, приготовленная Богом для эпизодов его истории, что он — вся жизнь, а вся жизнь — творение его души. Демон гордости унес его в пространство над человеческим муравейником, и под пьянящим солнцем, он снова почувствовал на своем челе поцелуй или жало невидимой химеры.

Весь день он бродил по городу. Густые весенние ароматы лились через ограды садов и плавали в узеньких улицах. Ему казалось, что вместе с цветами и листвой возрождается и он.

Хотя рана беспокоила его, он после ужина всетаки снова пошел гулять. На беспредельной и чистой лазури ночи трепетали звезды. Он вспомнил, что церковь праздновала воскресение Христа раньше срока, и что тело Его пребывало в гробу до завтрашнего утра; с этой мыслью он поднял глаза к небу, и ему показалось, будто он вдыхает аромат божественной плащаницы и словно какую-то священную прохладу, струившуюся от звезд.

Вернувшись домой и отдохнув несколько минут, он

почувствовал в боку прежнюю жгучую боль. Рана снова открылась. На утро врач предписал ему новое заточение.

По счастью, через час после его ухода явился оруженосец, и услышав стоны Рамиро, решился заметить:

-- Это напоминает мне полученную мною на берегах Триполи рану от стрелы. Началась гангрена, и я никак не мог с ней разделаться. Однажды я думал, что уж совсем поправился и съехал на берег, — опять та же история! Наконец, один приятель из Сеговии прижег мне рану раскаленным стволом мушкета, и через несколько дней я мог гулять.

Он предложил Рамиро то же средство. Юноша согласился, и приложенное к ране раскаленное железо излечило его навсегда.

XXVII.

Последующие дни были полны для Рамиро той внутренней борьбы, при которой человек чувствует себя попеременно то юношей, то стариком. Разум рассуждает, советует, предсказывает, и воля, чувствуя свое подчиненное положение, готова повиноваться. Когда же наступает время действовать, от всего этого не остается ничего, кроме игры случая и жара крови.

Через несколько дней после уговоров матери, в минуту молитвенного рвения и раскаяния, Рамиро дал обет Богу вступить в орден кармелитов, как только окончит учение; и обет этот, данный в порыве увлечения, теперь казался ему парящим где-то на недоступной высоте над его душой. Однако, необходимо было его выполнить. В противном случае это значило бы погубить себя для этой жизни и для будущей, потому что Господь не прощает подобных клятвопреступлений.

Тогда-то злые духи стали обольщать его, как сирены. Один нашептывал, что эта жертва будет нестойкой и бесплодной, ибо он не сможет вырвать из своего сердца желания жить с блеском, добиваться почестей среди современников, наложить руку на все, что может стать

добычей сладострастья и гордости. Другой с лицемерной кротостью говорил:

„Успеешь надеть рясу; раньше тебе необходимо об'ездить свет и познать все зло жизни, чтоб выйти из этого очистительного огня закаленным, как сталь мечей. Только тогда ты сможешь постигнуть величие дивного превращения, совершающегося в монастырях.“

Но он с негодованием отгонял такие речи, узнавая в них вкрадчивое красноречие Искусителя.

О Беатрисе же ему нечего было больше думать. Он добился того, чего хотел. Унизил своего соперника и показал ему, что, если он пожелает, дочь Бласкеса-Серрано будет его женой. Чего же больше?

Жарким вечером в конце апреля он пошел прогуляться по наружной дороге, огибающей городские стены. По обыкновению, он вышел через ворота Антонио Вела. Дождя не было целый месяц. Глубоко внизу, долина с тощими нивами казалась пыльной и томимой жаждой. Дойдя до угла Алька́сара, он повернул налево и пошел прямо, не останавливаясь.

Заброшенная среди скал и залитая последними лучами солнца романская базилика Сан-Висенте сияла, как медная рака, а две огромных башни соседних ворот тонули в почти ночном сумраке. Рамиро поднял голову и взглянул на легкий каменный мостик, соединяющий их зубцы и в эту минуту четко рисовавшийся своей темной аркадой на огненно-золотом небе.

Южный ветер, непрерывно вздымавший с утра вихри пыли по дорогам, сменился теперь затишьем, в котором весь пейзаж казался точно нарисованным. Веселые и протяжные крики то и дело раздавались на холмах. Рамиро отдался этой неге, этому предвечернему покою, приносящему отдых волам и освежающему в каждой хижине лоб и грудь землепашца.

Он вернулся в город и, проходя по маленькой площади Софрага, увидел у водоема восемь или десять девушек водоносок, развлекавшихся рассказами и болтовней и поминутно заливавшихся смехом. Его тоже мучила жажда, и он смотрел, как на библейское чудо, на эту

воду, которая обильно струилась из пересохшей ограды, переливаясь через края бассейна и растекаясь по улице.

Он остановился и прислонился к стене противоположного дома.

Одна из девушек была очень бела лицом и стройна. Держа кувшин на бедре и упираясь животом в твердый гранит, она перегнулась всем телом, ловя губами длительный поцелуй воды. Когда она выпрямилась, грудь и плечи ее обрпсовались под мокрым корсажем, как нагие.

Красивая женщина, в полной желания позе, показала Рамиро олицетворением сладострастия. После своего бесконечного заточения, он с никогда дотеле небывалой силой почувствовал женскую соблазнительность. Неужели это разлитое в воздухе упоение, этот не поддающийся описанию аромат женского естества, заставлявший трепетать святых и воздвигать неприступные и глухие стены монастырей — несут с собой проклятие? Разве не Божественный Гончар вылепил с очевидным удовольствием формы этой дивной амфоры? Почему же наслаждение ее прелестями — такой большой грех? Ах, к чему столько страхов и столько страданий? Отчего не насладиться прекрасным созданием, как плодом с дерева? И почему те, что говорят ему о своем желании лукавыми взглядами, не придут к нему сами, естественно и просто, как в сновиденьях? Зачем к сладчайшей земной утехе примешивается столько боязни?

По улице Тостадо приближалась группа людей.

Через несколько минут, юноша с удивлением увидел перед собой Беатрису и донью Альварес. Обе были в носилках. Черная мантилья девушки побелела от песка, и лицо поблекло от пыли; ресницы стали серыми, волосы почти седыми. Вероятно, они возвращались с какой-нибудь пригородной фермы.

Поровнявшись с водоемом, Беатриса не удержалась и, перегнувшись из носилок, жестом попросила девушек подать ей кувшин. Потом, откинув назад покрывало и прижав губы к мокрой глине, стала пить, как простая пастушка. Но донья Альварес подняла свою трость и, ударив ею по кувшину, негромко и строго проговорила:

— Дочери Бласкеса не подобает пить на улице!

Девушка повиновалась и, улыбнувшись своему бывшему поклоннику, подошедшему как-будто невзначай, ласкового шепнула:

— Отец мой уехал ко двору и вернется в будущее воскресенье. Навестите его.

XXVIII.

В назначенное воскресенье Рамиро оделся с необыкновенной тщательностью и в три часа отправился к дон Алонсо. Кровь, воображение, гордость — все толкало его в одном направлении, как паруса гонимой ветром ладьи. Кроме того, ему не стоило большого труда убедить себя в том, что этот шаг совершенно необходим, потому что, в виду его близкого отъезда, едва ли представится более удобный случай освободить дон Алонсо от обещания выхлопотать ему орден, и заявить отцу и дочери о цели своего путешествия.

Когда Рамиро вошел в картинную галерею, Бласкес-Серрано показывал своим друзьям новую картину, приобретенную при дворе.

— Некоторые, — говорил он, — приписывают ее Рафаэлю из Урбино, и по мой взгляд, холст этот несомненно отличается его искусным колоритом и несравненным мастерством в изображении профилей.

И вокруг мозаичного мольберта теснились застывшие в немом восхищении лица, руки складывались в монокль, брали очки, медленно отдаляли их от глаз и снова приближали, звучали всевозможные фразы и восклицания заразительного восторга.

Наконец, ученый сеньор Мухика воскликнул:

— Это достойно кисти Аппеллеса и Парразия¹⁵⁶).

Рамиро тоже хотелось высказать свое мнение. Он был убежден, что большинство этих господ весьма мало понимали в живописи. Однако, все проявляли одинаковые восторги и превозносили великих мастеров так, как не превозносили героев и святых. Он отметил про себя

¹⁵⁶) Знаменитые живописцы древности, жившие — первый в IV, второй в V веке до Р. Хр.

преимущества этой славы, которую никто не решился бы отрицать; вспомнил о знаменитых художниках обласканных монархами и князьями церкви, и подумал, что и сам он, развив свое изумительное дарование, очень скоро достиг бы всемирной славы, счастья и богатства, всего лишь при помощи набора кистей. Но он не стал бы писать таких слащавых и женственных картин, картин без контрастов и без налета тайны. Он с детских лет питал пристрастие к полутемным pokojам, где глаз отдыхает от беспощадного блеска раскинувшегося под открытым небом ландшафта, и где лишь случайный луч солнца внезапно выявляет цвета и формы. Он находил, что живопись должна отражать и желанья чувств, успокаивать мысль, усиливать и углублять грезу, как светотень замкнутых комнат.

Дон Алонсо, увидев подошедшего Рамиро, дружески взял его за руки и чрез минуту спросил вполголоса:

— Не хотите ли вы пройти в гостиную? Там вы найдете мою дочь Беатрису с несколькими подругами и молодыми людьми. Все народ веселый и любящий потанцевать.

Рамиро проклонился, и хозяин сам повел его по корридорам; по у двери в гостиную задержал его и сказал:

— Я хотел сообщить вам, что дело с орденом придется на некоторое время отложить, потому что его величество...

— Это к лучшему, сеньор, — прервал Рамиро, — потому что я и сам не знаю сейчас, принял ли бы я его.

— А что бы вы сказали, — продолжал дон Алонсо, — если бы вас назначили рехидором, как сына Сан-Висенте?

— Рехидором? Если бы я не решил пойти по избранному мною пути, я претендовал бы на кое-что повыше — или Цезарь, или ничто!¹⁵⁷⁾ — с улыбкой прибавил Рамиро.

Он очутился вдруг один в темной комнате, где не различал ни одного лица. Однако, медленно поклонился, угадывая, что за балюстрадой находятся сразу умолкшие девушки и кавалеры. Наконец послышался голос:

— Подойдите к эстраде, ваша милость.

¹⁵⁷⁾ Девиз Цезаря Борджа (ум. в 1507 г.).

Это сказала Беатриса. Надо было подойти, и он пошел; но сделав благополучно несколько шагов, наткнулся на металлический поднос; громко зазвенел хрусталь и фарфор. Прошелестел легкий, как ветерок, смех. Он шагнул в противоположную сторону, и скатившаяся на ковер чашка хрустнула под его ногой, как раздавленный орех. Кто-то в насмешку щипнул струну скрипки. Смех усилился.

Рамиро весь дрожал и, может быть, самое это волнение заставило его вдруг увидеть девушек сидевших по-арабски на бархатных подушках, и улыбающихся кавалеров, прислуживавших им, преклонив одно колено на пробковом ковре. Раскланявшись со всеми, Рамиро опустился на пол рядом с Беатрисой. Он был страшно смущен. Девушка стала спрашивать его о родных, и он отвечал сбивчиво, не в силах думать ни о чем, кроме своего нелепого появления. Никогда еще он не испытывал такого стыда. Какими словами, какими жестами сможет он восстановить свое достоинство?

Все просили Беатрису танцевать, и она слабо отказывалась. Глаза ее блестели, как светляки, и необычайная белизна ее лица побеждала даже тьму, напоминая лилию ночью. Молодые люди и девицы говорили на каком-то искусственном языке. Каждая пара облекала свои мысли в чрезвычайно утонченные и жеманные формы; солнце, луна, звезды на тысячи ладов выражали извинения, размовки, преданность. Настраивали гитары и виолы, слышался шопот ожидания.

Вдруг Беатриса встала. Кавалером ее вызвался быть Альферес Антонио де-Кастро, только что прибывший из Неаполя и помпунтно восклицавший *per Vasso*¹⁵⁸), чтоб насмешить барышен.

Все требовали разных танцев: павану, германку, хромоножку, веселую¹⁵⁹). Альферес сказал: „*Per Vasso! Веселую!*“ и положив на ладонь надушенный носовой платок, взял Беатрису за руку.

¹⁵⁸) „Клянусь Вакхом!“ популярное итальянское восклицание.

¹⁵⁹) Павана — медленный, степенный танец. Германка (La Alemanna) — веселый танец, в котором принимает участие несколько пар, подражающих движениям главной пары.

Они сделали пять шагов вперед, потом назад. Инструменты звучали по-старинному, томно, и блестящий воин торжественно вел молодую девушку, с церемонной важностью, предписываемой этим прадедовским танцем. Она смотрела на него, не отрываясь; то отдавалась, как воздушное создание, увлеченное волной звуков; то уклонялась от него с жеманным испугом при каком-либо ускорении ритма. Ее красота опьяняла, сводила с ума. Слуга открыл в одном окне ставни, и девушка переходила теперь из тени на свет, как видение, увлекая за собой дым курильниц. При каждом смелом жесте, при каждой трудной фигуре, на эстраде раздавались взрывы восторга. Рамиро чувствовал себя подавленным, уничтоженным этим успехом. То было неожиданное ощущение. Минутами ему казалось, что вся его душа тоже устремляется за ее юбкой, как ползучий дым курильниц.

Когда „веселая“ кончилась, все в один голос стали просить танец Пыли. Беатриса пошла заглянуть в дверную скважину, опасаясь прихода отца; потом, поставив у двери Альфереса, отошла к окну, чтобы золотые блески и стекларус на ее платье блестели на свету. Слегка пригладив обеими руками юбку и глядя себе на ноги, она начала отбивать на восточном ковре безумно-быструю дробь, но такую точную, что могла бы танцевать свой танец на тарелке.

Она пела:

Я толку пылинки
В мелкие соринки
Я толку песок
В мелкий порошок.

Счастье встретить вас судило,
И любовь — любить глубоко,
А разлука — быть далеко,
Чтобы счастье не убило.
Это счастья выбор властный:
Тот счастливый, кто вас встретит,
Кто вас встретит, тот приветит,
Кто приветит, тот несчастный.

Это смертное страданье —
Образ муки настоящей;
Эта мука — предвещанье
Скорбной участи грозящей:
Смерти чувствую приход,
Ибо счастье так решило,
Чтоб страданье мне открыло,
Что меня в грядущем ждет¹⁶⁰).

Я толку пылинки
В мелкие соринки.

А находившиеся на эстраде отвечали хором, под аккомпанимент гитары:

Я толку песок
В мелкий порошок.

— Пер Вассо! Пер Вассо! — кричал Альферес, отбивая ладонями темп.

Наконец, Беатриса в изнеможении упала на бархатную подушку рядом с Рамиро. Запах, исходивший от ее платья, стал резче. Леокадия на коленях подала ей золотую чашку с шоколадом:

-- Нет, дай мне лучше глины, — сказала Беатриса.

Служанка тотчас же принесла ей на подносике осколки тут же разбитого ею мексиканского кувшина. Девушка отломил кусочек этой с'едобной земли, поднесла к губам и стала есть, похрустывая зубами. Несколько подруг последовали ее примеру.

Рамиро хотелось отвлечь ее от всех чужих ухаживаний и комплиментов; он ревновал к каждому слову. Он заговорил о себе, о ней, напомнил дни их детства. На вопрос девушки поспешно сообщил о данном матери обещании скоро поехать в Саламанку для завершения образования.

-- Я уверена, -- сказала тогда Беатриса, — что вы сделаетесь великим ученым; но не одобряю вашего вкуса: при вашей храбрости, вам гораздо больше подошло бы

¹⁶⁰) Перев. М. Лозинского.

поехать куда-нибудь на войну. На мой взгляд, один солдат стоит тысячи бакалавров¹⁶¹).

— Знание тоже приносит не малую славу. — возразил Рамиро.

— Что может быть славнее для дворянина, как убить собственным мечом много турок или французов? Отец мой участвовал в большом морском сражении. А вот взгляните на Альфереса: он побывал в очень, очень многих битвах, а сейчас танцует с нами, как ни в чем не бывало... Таким бы я хотела видеть и вас, и даже еще лучше.

-- Вы так восхищаетесь этим Альфересом?

— Он очень любезен и храбр.

Три девицы и двое юношей заиграли на скрипках, виолах и клавикордах. Музыка хватала за душу.

Рамиро чувствовал себя точно пьяным от крепкого вина, и совсем растерянным, совсем непохожим на себя. Обычные чувства его бежали куда-то далеко, оставив его лицом к лицу со вспыхнувшей в каком-то уголке его души властной страстью, перед которой все остальные инстинкты смолкли, как покорные рабы. Он не отдавал себе отчета в своих мыслях, ни в том, что скажет, и именно поэтому лучше, чем когда-либо коснулся тех темных глубин существа, на поверхности которых то, что он называл своим чувством, своей волей, своим сознанием, являлось лишь пузырьками, происходившими от глубокого непостижимого кипенья. Он отдался этому новому ощущению.

Голос Беатрисы пробудил его:

— Как вы стали задумчивы. Вы страдаете меланхолией?

Рамиро не отвечал.

— Ах, нет! Наверное вас по временам мучит ваша рана?

— Та рана уже закрылась, Беатриса, — ответил тогда юноша; — но зато вновь раскрылась старая, и я умираю от нее.

— Умираете?

¹⁶¹) Бакалавр — первая университетская степень (ниже лиценциата).

— Чудесной смертью, которая есть сама жизнь, потому что если бы она не убила меня, я бы умер.

-- Остроумно!

-- Дивная рана, терзающая меня сладкими воспоминаниями.

Беатриса вздохнула. Музыка разливала упоительную прохладу, подобную веянию крыл идеальных духов. Рамиро приоткрыл губы в блаженной улыбке. И вдруг, нагнувшись к ней, почти шопотом продолжал:

-- Я вспоминаю сейчас о том, как по ночам сидел у своего окна, там, в поместье. Все в вашем доме спали, и вы тоже. Я думал тогда, что темное благоухание сада -- ваше дыхание, и глаза мои, устремленные ввысь, старались угадать то, что знали, и сейчас знают о нашей судьбе звезды!... Я боготворю вас, Беатриса!

Молодая девушка снова вздохнула, и Рамиро почувствовал, что рука ее ищет его руку. Пальцы их переплелись, сжались страстно, до боли.

-- Как я счастлив! — прошептал Рамиро. -- Скажите мне, что вы прогоните мои печали и по-настоящему полюбите меня. Ах! когда я смогу назвать вас *моей* женой, *моей* Беатрисой, *моей*, совсем *моей*?!

Дыханье его коснулось нежной щеки девушки.

В эту минуту кто-то произнес имя Гонсало де-Сан-Висенте, и Беатриса сжала ему руку, чтоб он не мешал ей слушать. Педро Вальдивieso рассказывал, что дон Феллипе сам привез своему сыну, от имени его величества, назначение на должность рехидора.

Четыре лакея внесли в зал восемь зажженных банделябров, и через несколько минут явился хозяин дома с несколькими гостями. Девушки и молодые люди встали. Дон Алонсо позвал дочь поздороваться с их родственником, сеньором Маркес-де-лас-Навас.

XXIX.

Два дня спустя продавщица четок передала Рамиро зеленую атласную ленточку. Она была от Беатрисы. Он не посмел повязать ее на берет, как делали другие влюбленные; но решил носить на себе, между камзолом

и безрукавкой. Надо было также обзавестись надежным посредником. Подкупать донью Альварес ему претило. Он послал за Касильдой.

Опустив глаза, девушка молча выслушивала поручения, шла к Беатрисе и повторяла их слово в слово. Она передала также бриллиантовое кольцо и принесла взамен другое, очень богатое, с вырезанной в хризолите флорентинской печатью. Касильда оказалась прекрасной посредницей, а так как она ходила по всем кварталам, то собирала сведения и открывала разные тайны, даже и помимо своих стараний. Через нее Рамиро узнал, что слуги Гонсало де-Сан-Висенте часто разговаривают с доньей Альварес, и что Педро, младший его брат, как только напьется в какой-нибудь таверне, сейчас же начинает колотить кулаками по столу и кричать, что если Гонсало женится на дочери дон Алонсо, он зарежет их обоих в первую же ночь.

В день святой Риты и Китегии Рамиро должен был выехать в Саламанку, он торжественно обещал это. Однако, он решил сообщить матери о своем душевном состоянии через несколько недель по прибытии туда. Быть может, в этом изумительном городе, „чуде мира“, среди стольких живых образцов набожности и мудрости, сердце властно повлечет его к духовному подвигу Христова воинства. Если же этого не случится, если призвание не обнаружится с полной несомненностью, он решил пойти по иному пути. Богатое наследство, думал он, все равно скоро попадет в его руки.

Остававшиеся немногие дни он посвятил всецело Беатрисе. Утром и вечером он бродил возле ее дома. Иногда она появлялась у окна; а иногда, сговорившись при посредстве Касильды, он выходил за город и садился на скалу напротив крыла стены, прилегавшего к дому Беатрисы, и ждал, пока она не показывалась между зубцами.

Накануне отъезда Рамиро провел в этом месте больше часа, дожидаясь, чтобы Беатриса появилась в башне. Кругом царил глубокая тишина. Юноша не отрывал глаз от шершавой стены, у подножия которой гранитная

скала, обточенная руками незапамятных времен, напоминала о морском прибое. Наконец, девушка появилась; и что-то белое, бумажка, записка! стало спускаться, кружась и колыхаясь в воздухе. Какие драгоценные знаки принесут ему эти вещицы крылья? Какие слова избрала возлюбленная, чтоб вложить кусочек своей души в торжественность разлуки? Он поймал записку в шляпу и прочитал:

„Я полюблю вас еще больше, чем люблю сейчас, если по приезде в Саламанку, вы выберете сами, в лавке Саморца¹⁶²⁾, хорошую скрипку мягкого тона. Я хотела бы получить ее скоро, скоро, через кого-нибудь из едущих в наш город, потому что она мне очень нужна. Говорят, будто священник церкви святого Иоанна должен вернуться на этой неделе.“

„Счастливого пути, сеньор бакалавр.

Беатриса.“

„Записку эту пишет дуэнья, потому что вчера, играя с гостями в саду, я поранила себе палец.“

Донья Гиомар подняла на ноги многочисленную прислугу. Ранним утром, на следующий день, все было готово; и в назначенный час на улицу, к главным воротам вывели вьючных мулов, коренастого конька для Рамиро и серого лошака для каноника, который должен был проводить его до Капельнос-де-ла-Каньяда.

Рамиро пошел проститься с дедом. Дон Иньиго, с бессмысленным выражением лица дал ему поцеловать руку: вьюга старости внезапно запылила и навеки остудила его ум. Худое лицо его местами было желто, местами темно-буро, как засыхающий лимон.

Затем донья Гиомар обняла сына, стараясь улыбнуться сквозь слезы; и чтоб подольше провожать его взглядом, поднялась со служанками в дворцовую башню.

„Сын мой: как ты медлишь ответить матери, которая любит тебя больше самой себя. До сегодня, дня святой

¹⁶²⁾ Саморца — город в северо-западной Испании.

Троицы, я не имею от тебя других вестей, кроме тех, что передал мне устно лицензиат Кармона.“

Так начиналось второе письмо доньи Гиомар к сыну.

Наконец, однажды утром, один кармелит, возвращавшийся на Альба-де-Тормес, вытащил при ней из отворота рукава желанное письмо. Рамиро рассказывал сначала о своем свидании с ректором Архиепископской Коллегии, которому лично передал свои рекомендательные письма. Потом сообщал о своем временном поступлении в Малую Школу.

„Удивительно, — писал он, — что несмотря на существующий здесь старинный обычай мучить новичков самыми жестокими выдумками, когда я вошел в монастырь, и окинул всех гордым взглядом, держа руку на эфесе шпаги и громко позванивая шпорами, никто не посмел шевельнуться. Не знаю, каким образом, но всем известно о моей стычке с морисками. Один бородатый студент сказал мне вчера, что за все время его пребывания в школе, он не запомнит, чтобы какой-нибудь другой новичок избавился от плевков.“ Потом прибавлял: „Помните ли вы, мама, капитана Антонио де-Киньонес, который бывал у нас в доме? Я встретился с ним в Кастиелянос, и он звал меня с собой ловить корсаров. Когда я отказался, он сказал: „Смотрите, ваша милость, Бог создал вас не монахом, а солдатом. Обдумайте хорошенько, и не ошибитесь, потому что потом пожалеете. Я буду ждать вас в Картахене до дня Петра и Павла.“

Этим исчерпывалось и все содержание письма. Через несколько времени получилось второе, в котором он лишь сообщал, что в Коллегии Архиепископа у него требуют доказательств, подтверждающих чистоту его крови. „Это всегда практиковалось, — прибавлял он, — по отношению ко всем желающим поступить в эту Коллегию, а находятся здесь сыновья знатнейших фамилий Испании. Но неужели недостаточно было знать мое имя, и то, что я ваш сын и потомок таких знаменитых предков, чтобы не требовать никаких доказательств? В первую минуту я хотел было послать попоны своих мулов, для ознакомления с нашими гербами. Но надо подчиняться правилам!“

Донья Гиомар отправила ему со старым слугой на резвом коне коротенькую записочку, прося его как можно скорее вернуться, потому что дед его тяжело заболел. Действительно, дон Иньиго, страдаемый неведомым недугом, в мучениях отходил в лучшую жизнь, и губы его шевелились в непрестанной молитве. Жалкое тело его, источавшее гнойную жидкость, предвосхищало зловещую работу могильных червей. Какое-то в'едчивое зловоние распространялось по всему дому. Прислуга зажимала нос, проходя мимо комнаты больного. А донья Гиомар ни на минуту не отлучалась от его изголовья, как бы принося в дар Богу эту двойную нравственную и физическую пытку, без конца длившуюся для нее в этой замкнутой комнате.

Рамиро немедленно отправился в обратный путь. Когда он в'езжал в город через Мостовые Ворота, один из привратников сказал ему:

— Ваша милость опоздали. Дедушку уж унесли.

Дон Иньиго похоронили накануне.

Когда молодой человек вошел в комнаты, где жил старик, ему показалось, что он не сможет сделать дальше ни шагу—так невыносимо было зловоние, наполнявшее это запертое помещение. Кровать еще хранила следы агонии, а на подушке остался отпечаток того, чему не суждено было впредь грезить и размышлять на ее мягком пуху. Пузырьки с лекарствами, капельница, ступка, чашки, бинты, — все осталось в беспорядке на столах и стульях, и говорило о мучительной предсмертной борьбе.

Рамиро вошел в библиотеку и при виде нагроможденных на полу томов и заложенных в фолианте роговых очков, вместо закладки, для завтрашнего чтения, при виде висящего на гвозде желтого чулка, в котором старик держал кисти для писанья заглавий, а подалше, в углу, табурета для больной подагрой ноги, почерневшего от жирных мазей, — его охватила глубокая печаль. Таков конец всех наших стремлений. Здесь, перед ним, в исчезновении этого существования, был урок, совет, всегда смутный и неопределенный, побуждающий одновременно и к наслаждению и к покаянию.

Когда все успокоилось, и дом снова впал в обычное

немое однообразие, донья Гиомар позвала сына и в кратких словах сообщила, в каком состоянии дон Иньиго оставил им древнее наследие. Они были совершенно разорены. До сих пор они жили, оттягивая конечную катастрофу разными крайними средствами, закладывая гемуэзцам одно за другим все имения и, наконец, продав сразу все серебро, драгоценности, ковры. Фламандец-мажордом, по ее словам, единственный человек в доме, знавший их дела, может быть, сумел бы придумать какой-нибудь выход, но он как раз уехал на родину получать какое то наследство. У них оставался только дворец, почти совершенно заложённый, да несколько золотых монет в сундуке, которых хватит не надолго. Поэтому необходимо продать родовое гнездо и поселиться в скромном домике где-нибудь на окраине города.

— Во всяком случае, — прибавила донья Гиомар, — тебе не понадобится много денег. Святой церкви нужны более чистые даяния; и я думаю, что теперь ты можешь изучать богословие и в здешней семинарии.

Рамиро выслушал мать с глубочайшим изумлением.

Разорены! Возможно ли? А все эти огромные поместья, перешедшие к ним от бесчисленных родственников и свойственников, от отдаленнейших предков, все эти королевские пожалования, вотчины в Сеговии, дома и поместья в Авиле и в провинции, упоминавшиеся в каждой строке его фамильных грамот?

При других условиях, бедность не огорчила бы его; он знал, что недостаток средств побуждает к героическим приключениям. Но теперь он предчувствовал любовную катастрофу, как следствие потерянного богатства. Он молча опустил голову, потом, после минутного раздумья, твердо заявил матери о решении, еще не созревшем у него самого, а именно, что он намерен жениться на Беатрисе; и затем, не изменяя голоса, сказал, что с его стороны было бы преступлением продолжать обнадеживать ее относительно его мнимого призвания к духовной карьере.

Донья Гиомар даже бровью не повела; но пальцы ее судорожно сжали ручки кресла. Тогда Рамиро упал перед ней на колени, страстно схватил ее за руки и, глядя

ей пристально в глаза, стал умолять помочь ему и заклинал именем Бога не продавать дворца. Пусть она подумает, какое впечатление произведет на дон Алонсо и его дочь этот роковой поступок.

— Я переговорю с генуэзцами, — прибавил он. — Ведь найдется же чтонибудь заложить им; у нас еще осталась мебель и мой кинжал с драгоценными камнями; но, честью заклинаю вас! не продавайте дома, мама! не продавайте, не продавайте дома!

Она медленно приподнялась, прижимая к груди левую руку:

— После того, что ты сказал, — ответила она, — жизнь моя в миру кончена. Отныне хозяин ты. Распоряжайся, как хочешь, и да простит тебя Господь.

Выражение ее лица было странно. Чрезмерность горя вызвала у нее улыбку. Она подошла к столу, вытянула светильню лампы, сняла с нее нагар, аккуратно оправила. Потом, не произнеся ни слова, вышла из комнаты.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

I.

Короля Филиппа Второго справедливо называли **Осторожным**.

Волнения и бесчинства в Арагоне достигли огромных размеров; однако, к концу 1591 года все как будто закончилось миром и согласием после проявленной монархом лицемерной милости. Мятежные сеньоры, позабыв о всякой подозрительности, возвращались в Сарагосу и приглашали к своему столу офицеров кастильской армии. Наступил момент королевской мести.

Однажды утром Главный Юстициарий¹⁶³⁾ Арагона дон Хуан де-Лануса, был арестован именем короля в ту минуту, когда поднимался на паперть собора. С раннего утра его ожидал капитан мушкетеров, притворно рассматривавший эстампы в витрине книжной лавки.

„Схватить дон Хуана де-Лануса и немедленно отсечь ему голову“, таков был письменный приказ Филиппа Второго. — А кто меня судил? — спросил юстициарий, выслушав приговор. — Сам король, — был ответ. — Никто не может быть моим судьей, — возразил он, — кроме короля и королевства, соединенных в заседании кортесов.

На следующий день первый сановник Арагона был обезглавлен рукой палача. Так король „казнил правосудие“ и навсегда разрывал многовековые привилегии. Другие вельможи, в числе их дон Диэго де-Эредиа, барон де-Барболес, и дон Хуан де-Луна, сеньор де-Шуррой, подверглись той же участи, претерпев жестокие пытки. Герцог де-Вильяэрмоса и граф де-Аранда умерли загадочной смертью в тюрьме. Несколько мятежников, не обладавших дворянской привилегией умирать на плахе, погибли

¹⁶³⁾ Юстициарий (El Justicia) — верховный судья Арагона и защитник вольностей королевства.

на виселице, после того, как их протащили на позорных салазках по улицам.

Так была наказана партия Антонио-Переса, и навсегда сломлена гордость надменного Арагона, который только раз в три года удаивал бросить в сокровищницу короля свою дерзкую подачку.

Таким же образом, несколько лет тому назад, получило урок от императора¹⁶⁴⁾ и население Кастилии, во время восстания Общин¹⁶⁵⁾; но — все же среди кастильцев, продолжали время от времени обнаруживаться вспышки беспокойства, вроде тех, что заставляют вставать на дыбы кастрированных жеребцов. Теперь начали поднимать голос не одни сеньоры, но и простой народ. Пора было повторить пример. Как раз один непокорный город представил к тому случай.

21-го октября, в день, когда королевская армия, направляясь во Францию, вступила в Арагон, в Авиле появились расклеенные на дверях и стенах собора, храма святого Иоанна, новых боен, на доме Вальдеррабано и некоторых общественных зданиях города, семь экземпляров мятежного воззвания, которое Рамиро, и каноник слышали однажды вечером в чтении дон Энрике Давила в нижнем этаже дворца дон Иньиго.

На следующий день коррехидор дон Алонсо де-Каркамо отправил в Эскуриал курьера. Ответом его величества явилась лишь темная кучка крючкотворов для производства дознания. Все ожидали какого-нибудь легкого наказания, и шутники уж сочиняли по поводу этого дела эпиграммы и песенки.

14-го Февраля 1592 года приговоры были обнародованы. Дон Диэго де-Бракамонте, дон Энрике Давила и лицензиат Даса Симброн приговаривались к обезглавлению. Священник прихода святого Фомы, Маркос Лопес лишался сана и бенефиций¹⁶⁶⁾, половина его имущества отбиралась в казну, и кроме того он приговаривался на

¹⁶⁴⁾ Карла Пятого.

¹⁶⁵⁾ См. примечание VI позади текста.

¹⁶⁶⁾ Угодые, дававшееся в пользование духовному лицу или учреждению.

восемнадцать лет на галеры и к изгнанию *ad vitam*¹⁶⁷⁾, городской нотариус Антонио Диас присуждался к наказанию плетью, десяти годам галер и тоже к пожизненному изгнанию.

Для многих вмешательство Провидения было очевидно, и под его покровительством монарх, извлекая из каждого случая пример, завершал свое дело. Никаких местных властей, никаких горделивых поз и надменных выступлений, стесняющих власть. Единство было главным принципом его Королевского Искусства, единство неуязвимое и абсолютное, по образу и подобию того Единства, что правит вселенной. Никакой воли, кроме его воли, никаких мыслей, кроме его мыслей, никакой веры, кроме той, какую исповедовал он сам. Повелитель современного Израиля должен быть облечен тремя могущественнейшими силами: законом, мечом и эфудом¹⁶⁸⁾, и быть одновременно Моисеем, Иисусом Навином и Аароном своего народа. Все престолы, все троны должны служить ему лестницами, чтобы он мог возноситься до небес и один получать веления Всевышнего. Тень его покрывает сушу и моря, и народы будут взирать на него, как на нового архангела, вооруженного огнем и мечом, победителя Сатаны.

Между тем, Испания погибала. Лихорадка этого чудовищного бреда иссушала ее тело. Король беспрестанно просил, требовал, вздуваясь от налогов, как от водянки; и часто, рука его, сдавив высохшую грудь городов, извлекала из нее лишь струи крови. Невозможно было оставить войска без оплаты и прекратить подкуп князей и кардиналов; и разорение росло, охватывало новые отрасли, запутывалось и переплеталось, как огромный, кошмарный клубок. Долги увеличивались с лихорадочной быстротой, королевская казна находилась при последнем издыхании; ежегодно тратились доходы пяти будущих лет.

К каким средствам, к каким ухищрениям оставалось еще прибегнуть? Одно время он накладывал арест на золото и серебро, посылаемое из Вест-Индии частным

¹⁶⁷⁾ Пожизненно.

¹⁶⁸⁾ Одевание иудейских первосвященников во время религиозных церемоний.

лицам; стал продавать дворянские грамоты, вотчины, должности; предложил духовным лицам узаконить за горсть реалов их незаконно-рожденных детей; обложил налогом вывоз шерсти; наложил подать на хлеб и вино, дотоле свободные; забрал в свои руки соль; конфисковал права мореплавания; удвоил таможенные пошлины и в короткое время утроил и без того непомерный налог с продаваемых товаров. Обессиленные города умирали медленной смертью. Авила, Торо, Кóрдова и Гранада отказались признать поголовный налог 1576 года. В иностранных государствах самое имя Филиппа Второго заставляло бледнеть банкиров. Фуггеры¹⁶⁹⁾, в конце концов, стянули свои кошельки и отказались помогать. Другие, подобно еврею, ссудившему денег скорому на расправу игроку, не знали, продолжать ли, или порвать навсегда. Генуэзцы, между тем, защищались ростовщичеством. Начиная с 1590 года разруха приняла угрожающие для государственных финансов размеры. Подкупленные монархом кортесы потребовали от городов восемь миллионов дукатов.

Нищета и голод свирепствовали, как Божьи бичи. Словно какая-то злая порча обеспложивала землю, оставливая мельницы, токарные и ткацкие станки, ослабляла руку ремесленника. Многие уже не знали, чем заработать на пропитание, и шли воровать, где что придется. Жили без уверенности в куске; хлеб рвали с боя. Голодные плутни превратились в почетное и тонкое искусство, имевшее свое романсеро¹⁷⁰⁾ и свои руководства, своих поэтов и бакалавров. Особенно жестоко нужда давала себя чувствовать безземельным дворянам, которым древность и знатность рода не позволяла пачкать руки каким-нибудь ремеслом или службой. Не один из них питался крохами, украденными его пажом, и с величавой грустью вдыхал на ходу, под плащом, вкусный запах паштетных. Студент, чтоб прожить, усваивал собачьи уловки. Его проворные ноги сделались грозой торговцев. Тогда был золотой век общего котла. Мо-

¹⁶⁹⁾ Семейство крупных капиталистов XV—XVII вв.

¹⁷⁰⁾ Романсеро — сборник романсов, небольших поэм, преимущественно исторического содержания.

настыри наполнились монахами, а их трапезные „супи-стами“. В больницы и тюрьмы стремились, как в блаженную обитель, где пища получается регулярно и словно чудом. Тысячи несчастных, нарочно причиняли себе кровавые язвы или совершали преступления, лишь бы получать пропитание. Улицы кишели мнимыми нищими; поля — мнимыми анахоретами; гавани — голодными дворянами, просящими места на галеонах.

К этим терзаниям желудка присоединялась тревога души, жестокий страх пощасть хотя бы только на подозрение у Святого Судилища, или навлечь на себя кару сверхчеловеческой власти монарха. И в то же время, казалось, самый ветер нашептывал клеветнические наветы, донос ютился под кроватями, в складках портьер, в углах молелен. Многие, подобно дон Алонсо, не доверяли во сне своим собственным губам и боялись задремать в кресле, на виду у проходившей прислуги.

Всякое возвышение было пагубно, и даже самое молчание не гарантировало безопасности. *Ne contumax silentium, ne suspecta libertas*¹⁷¹). Мысль дрожала в мозгу, и не было пера, которое осмелилось бы начертать то, что душа таила в сокровеннейших своих глубинах. Зато с восторгом говорили о далеких странах и о неприкосновенным покое монастырей.

Однако, были люди, действительно любившие монарха, связывавшие с его торжеством или поражением свою собственную фанатическую гордость; большинство же, под давлением страха, в конце концов, стало превозносить его.

В ту пору мужество и храбрость как-будто сосредоточились в крови, отравляя органы, и прежняя доблесть приняла характер стоического презрения ко всем невзгодам. То было необъяснимое колдовство тираний. Не один испанец, возмущенный собственным раболепством, бесстрашно вскрыл бы себе, по одному знаку монарха, вены, как Сенека или Петроний.

Характер испанцев стал замкнутым и мрачным. По

¹⁷¹) „Пусть не покажется надменным молчание, ни подозрительной свобода.“

всей стране, словно дым чистилища расплзлась настоящая чума меланхолии, заражавшая души.

Дворяне одевались в траур; модным деревом стало черное дерево. Погребальные торжества никогда не носили такого зловещего характера.

Ум стремился извлекать основные свои представления из могил, из их страшного тления.

Рамиро приехал из Саламанки в воскресенье, 16-го февраля 1592 года, на третий день после обнародования приговоров. Каноник пришел повидаться с ним и перечислил ему одного за другим всех осужденных. И с не особенно довольным видом сообщил, что дон Энрике Дáвила и лиценциату Даса разрешено подать апелляционную жалобу. Дон Диэго должны были казнить завтра.

— Вы видите, следовательно, сын мой, — прибавил он, — что дед ваш скончался во-время. Правду говорят, что и в хорошем котле можно сварить плохую похлебку. Вы же, сын мой, следите за своими словами, и некоторое время ведите себя как можно смирнее.

— Кто же выдал этих людей? — спросил Рамиро.

— Кто-нибудь, кто не хотел видеть Испанию снова растерзанной мятежами, как при императоре, — ответил богослов.

Потом, не давая Рамиро времени вставить какой-нибудь вопрос, он рассказал, что агенты его величества заподозрили дон Алонсо и в его отсутствие проникли в дом, перерыли все, до последнего ящика, и унесли большую пачку бумаг.

— Где будут казнить дон Диэго? — спросил вдруг Рамиро. Задумчивый взгляд его стал неподвижен под влиянием какой-то властной мысли.

— На Малом Рынке, — ответил каноник. Вчера ему сообщили приговор, сегодня он, наверное, исповедовался и причастился, а завтра в полдень его повезут с Хлебного базара на казнь. Уже решено, что ни один дворянин не пойдет проститься с ним, и за исключением простонародья, всегда жадного до такого рода зрелищ, его увидят на муле только чины судебного ведомства, да члены общины и братств.

В ответ на эти дышащие злобой речи, Рамиро резко заявил, что если авиланские дворяне не желают пойти проститься с Бракамонте, в эту роковую для него минуту, то это значит, что все они — плохие кабальеры.

— Всем известно, — воскликнул он, — что дон Диэго, — не говоря уже о его древнем и знаменитом происхождении, — всегда был человеком высокой чести, и что его трагический конец вызван лишь благородством его души. Лично же за себя я заявляю, что последую за ним до самого подножия эшафота, не думая о собственном интересе, ни о том, справедлив ли или несправедлив вынесенный ему приговор.

Он произнес эти слова с таким жаром, что его духовник и наставник счел нужным, прежде чем ответить, нахмурить брови и поднять голову.

— Делайте, что хотите, — сказал он; — но берегитесь, чтобы ваша безрассудная юность не завела вас туда, куда вам, вероятно, совсем нежелательно попасть. Дон Диэго, может быть, и действительно, так знатен, как вы говорите, хотя, к слову сказать, происхождения он французского, а не испанского; но несомненно, во всяком случае, то, что он оказался изменником и предателем по отношению к своему королю.

— Дон Диэго, — возразил, резко изменившись в лице Рамиро, — благородный рыцарь, и никогда не может быть изменником и предателем, как утверждает ваша милость.

— А я повторяю, — гневно крикнул богослов, оскалив зубы, и два раза стукнул кулаком по столу, — что дон Диэго изменник и трус!

— А я говорю, что вы лжете! — вне себя от злобы, крикнул Рамиро.

Каноник шагнул вперед и занес руку для пощечик, но его остановило страшное лицо Рамиро. Тогда, пробормотав какие-то отрывистые слова, он закрыл руками лицо. Наступили торжественные минуты. Оскорбление реяло в воздухе, непоправимое, и, казалось, минутами снова и снова звучало в тишине. Каноник вздыхал, стонал, не открывая лица. Наконец, он отнял руки, злобно завернулся в плащ, ощупью по стене, как слепой,

добрался до двери и вышел из комнаты, яростным ударом ноги захлопнув за собою дверь.

Рамиро почувствовал, что вся его бессознательная привязанность к этому человеку сразу превратилась во вражду. Неразрешившееся еще злобное напряжение вызывало в нем новые вспышки ненависти к бывшему учителю.

Немного успокоившись, он сел в кресло и громко проговорил:

— Я не нуждаюсь ни в нем, ни в ком бы то ни было.

II.

Немного дней пережила Авила грустнее понедельника 17-го февраля 1592 года. Город проснулся в мрачном ожидании. Ужас неминуемой казни витал, казалось, всюду, сливаясь с утренним туманом.

Посреди Малого Рынка большим черным кубом возвышался эшафот; порывы северного ветра трепали траурное сукно, обтягивавшее сосновый его скелет. Вокруг него суетились зловещие служители правосудия. Около десяти часов принесли стол, канделябры, распятие. Несколько позже явились помощники палача с плахой и двумя черными подушками для преступника. По временам крапывал мелкий, холодный дождь.

Началось обычное будничное движение; но жители ходили с более серьезными, чем всегда, лицами, притаптывая выпавший накануне снег. Одни таинственно перешептывались при встрече; другие спорили в гостиницах и кафе с необычной горячностью, не возвышая голоса, но хмурая лица и хватаясь по временам рукой за низ живота, для придания большей силы своим вызовам и клятвам.

Огромные дворянские особняки с закрытыми дверями и окнами были похожи на сосредоточенные и безмолвные лица. В воздухе были разлиты тот ужас, то отвращение перед узаконенным убийством, что подавляют разум; и тень позора обволакивала весь город. Благороднейшему из его дворян предстояло быть казненным по повелению

короля. Не бóльшим оскорблением было бы снести все восемьдесят восемь башен, что в странной бедности ожидали теперь падения головы, как бы воплощавшей в себе всю гордость этих стен.

Говорили, что в два часа дня дон Диэго повезут из Хлебного Базара. Здание это служило местом заключения для дворян и находилось между башнями Клятвы Верности и Алькáсара, и фасад его возвышался напротив Большого Рынка в части города, расположенной вне стен. Когда Рамиро подошел к украшенному гербами фронтоном, чиновники королевского и коммунального суда толпились и жужжали, как мухи, по обеим сторонам портала и вокруг фонтана, а члены братств и орденов стояли длинной шеренгой от Рыночной площади далеко за монастырь Санта-Мария-де-Грасиа. Монахи молились. Из-под накиннутых на лица капюшонов виднелись только их бритые подбородки; на заложенных в рукава руках висели четки. Громкие и шепчущие голоса францисканцев, доминиканцев, августинцев, иеронимитов, театинцев, кармелитов сливались в однотонный хор, еще усиливавший страх и рождавший в душе представление о скорбных молениях загробного мира. Упорный дождь осаждался инеем на одеждах и, казалось, пропитывал все предметы своим унынием. Некоторые женщины рыдали.

Рамиро больше часа провел, затерявшись в толпе. Здесь было только простонародье, городские зеваки, рыночные торговки с голыми руками, парни из предместий, несколько сельских рабочих из долины, довольно много морисков и несколько проституток в желтых накидках и красных чулках¹⁷²⁾.

Наконец, привратник вывел из крытого под'езда здания мула в траурной попоне с двумя круглыми обшитыми белой тесьмой отверстиями на месте глаз. Все заволновались. Три альгвасила сели на коней.

Рамиро оглядывался по сторонам, ища знакомых, как вдруг из уст толпы вырвалось громкое восклицание, ударившееся в огромную стену. В дверях тюрьмы появил-

¹⁷²⁾ См. прим. VII позади текста.

ся дон Диэго де-Бракамонте. По левую руку от него шел настоятель босоногих августинцев, фра Антонио де-Ульоа.

Прежде всего бросалась в глаза серая бледность его лица, ее подчеркивала чернота наброшенного на плечи монашеского капюшона. Усы и борода его совершенно поседел. Он подвигался вперед, глядя на облака, прямой, непоколебимый, торжественный, твердой поступью человека, уверенного в своей чести.

Рамиро почувствовал внезапный озноб, а когда увидел, как дон Диэго садится на позорное верховое животное, и заметил, что руки его связаны черной тесьмой, а с правой ноги свисает цепь, он почувствовал, что сейчас же отдаст бы свою жизнь за освобождение этого благороднейшего человека, жертву своей старинной кастильской гордости. То был последний Сид, последний рептадор¹⁷³), влекомый на казнь презренными наемными палачами. Рамиро закрыл на минуту глаза, чтоб сдержать волнение, и ему показалось, будто он снова слышит речи идальго на собрании, эти речи, что слетали с его уст, раскаленные и грозные, как выходящая из горна сталь. Он уже больше не будет ораторствовать, упершись правой ногой в подставку брасеро и держа под мышкой шпагу. Он сейчас умрет!

Процессия вступила в город через ворота Большого Рынка и направилась по улице Святого Иеронима, потом по улице Андрин. Впереди шли братства Милости и Милосердия, позванивая своими жалобными колокольчиками. Громкий и резкий голос по временам выкрикивал оглашение казни:

„Вот приговор, который король, наш господин, повелевает исполнить над этим человеком, виновным в расклеивании в общественных местах дерзких воззваний, направленных против его королевского величества. Повелено казнить его смертью!“

Рамиро шел рядом с альгуасилом Педро Ронко, ехавшим на своем знаменитом вороном, без отметин, коне. Монахи пели мрачный, вселявший ужас псалом. За ни-

¹⁷³) Рептадор, от глагола рертаг, вызывать на бой.

ми, словно призрак гордости, ехал Бракамонте на муле. При виде его зловещей фигуры женщины у окон и дверей рыдали и призывали Святую Катерину, Святых мучеников и Пресвятую Деву. Промокшие черные камзолы альгуасилов и полицейских издавали запах застоявшейся мочи. Двенадцать нищих с зажженными факелами ожидали процессию у ворот Святого Иоанна, и дрожащая молитва их сливалась с треском дымных огней, вздрагивавших и загибавшихся на ветру.

На площади, у подножия эшафота, дон Диэго сошел с мула и спокойно поднялся по ступеням. Преклонив колени, он попросил молитвенник, чтоб исповедаться брату Антонио. Рамиро, стоявший совсем близко, слышал слова *Miserere*¹⁷⁴), символа веры и литаний.

Моросил дождь. Толпа заполонила всю площадь. Несколько любопытных ухитрились пристроиться на крышах, на западной окраине площади. Наконец, палач подошел сказать, что уже пора. Писец комиссии трижды предложил Бракамонте публично сознаться в своем преступлении. Рамиро слышал, как дон Диэго сказал, что дон Энрике Дáвила и лицензиат Даса невинны, а виновен только один он. Писец потребовал, чтобы он подтвердил это клятвой. Тогда раздался твердый голос, ответивший:

--- Не убеждайте меня. Я больше ничего не скажу.

После этого дон Диэго встал, и глаза его приковались к плахе, на которой ему должны были отрубить голову; лицо его покрылось смертельной бледностью, но он сейчас же овладел собой и, подняв голову, взглянул в последний раз на город, на небо, на бесценный свет жизни. Все думали, что он что-нибудь скажет, и послышался громкий гул, призывавший к молчанию. Рамиро стараясь привлечь на себя его взгляд, чтобы сказать ему последнее прости; но дух этого человека был уже далеко от земли; он уже приобщился к смерти.

Наконец, словно получив какой-то знак с неба, дон Диэго дал надеть себе на глаза черную повязку, сел на подушку, спиной к столбу, охватил его обеими руками,

¹⁷⁴) *Miserere* — начальное слово 50-го псалма Давидова: „Милдуй мя, Боже, по велицей милости твоей.“

прижался к нему затылком и, подняв подбородок, подставил шею страшному топору.

Рамиро следил глазами за бледной, сразу помертвевшей головой, которую палач, приподняв за волосы, показал на все четыре стороны площади, от имени короля. Тогда широким, гордым жестом он на виду у всех сорвал с головы берет и крикнул:

— Да примет Господь твою душу, благородный рыцарь!

Два альгуасила услышали это восклицание. Один хотел тут же арестовать Рамиро, но другой его отговорил. Рамиро удалился.

Когда он проходил мимо церкви Святого Иоанна, ему подали записку с восковой печатью. Дон Диэго де-Вальдеррабано сообщал ему, что в шесть часов вечера у него соберется несколько друзей, чтобы просить у коррегидора разрешения на похороны Бракамонте, и в настойчивых выражениях просил Рамиро присоединиться к их ходатайству.

В тот же вечер несколько одетых в траур дворян с факелами пронесли по городу на плечах длинный гроб и опустили его в склеп часовни Мосена Руби. По выходе из церкви, Вальдеррабано упал на плечо Рамиро и заплакал.

III.

Рамиро не мог заснуть всю ночь. Мрачные видения отгоняли от него сон, и подробности казни снова всплывали в его памяти, вызываемые мраком и тишиной. Как прекрасно умереть с таким мужеством! Однако, он, в подобном случае, непременно обратился бы с речью к толпе. И он выдумывал самые необыкновенные речи. Но, наряду с гордой его самонадеянностью, малодушный инстинкт заставлял его размышлять о могуществе монарха, об этом непреодолимом, безграничном могуществе, которое, расточая величайшие почести, могло в то же время пресечь самую доблестную жизнь одним росчерком пера.

На заре, когда зарождающийся свет стал просачиваться в щели окна, любовь к Беатрисе с небывалой силой

вспыхнула в его сердце. Он думал о ней с пылкой страстью. Восторженно мечтал о счастье жить и любить, вызывал иллюзию прильнувших к его губам уст, душистых шелковых волос, разметавшихся рядом с ним на подушке.

Первой его мыслью, когда он встал, было пойти к дому молодой девушки. Он подумал, что лица, ежедневно являвшиеся с выражениями сочувствия по поводу смерти дон Иньиго, отнимут у него весь день. Надо было избавиться от них. В час он начал одеваться. Когда слуга набросил ему, наконец, на плечи черный бархатный, расшитый шнурами колет, одна из прислужниц пришла сказать, что по лестнице поднимается Беатриса, и чтобы он принял гостью, так как донья Гиомар еще не одета.

— Ах! она сама идет ко мне! — воскликнул в душе Рамиро; и, в последний раз пригладив волосы, вышел из комнаты.

Он мог принять ее только в старой гостиной, потому что из остальных комнат ростовщики уже вывезли мебель. Но он подумал, что, несмотря на ветхость и запустение, гостиная эта все же поражала своей величавой пышностью и свидетельствовала о родовитости хозяев. Он снял засов и вошел.

Это была длинная и узкая комната, обставленная сборной мебелью в фламандском, итальянском и мавританском стиле времен Карла Пятого. После смерти доньи Брианды дель-Агила она стояла запертой, подобно покоям восточных сказок, хранящих какую-нибудь жуткую тайну. Дон Иньиго и его дочь тоже предпочли избрать другие комнаты, более доступные для ремонта. Говорили, будто в стенах ее священная хунта коммунеро собралась на свое первое тайное заседание; и долгое время в народе держалась легенда о том, что призраки казненных в лунные ночи сами открывают оконные ставни и собираются в ней. Может быть, из-за этих рассказов никто целых двадцать пять лет и не хотел жить в этом доме.

Истории эти не были тайной для слуг, и руки их дрожали, снимая засовы, в тот день, когда донья Гиомар

приказала отпереть двери и внести тело своего отца в гостиную доньи Брианды.

Комната, несомненно, имела странный вид. Стены были обиты старинным голубым бархатом, сгнившим вверху от воды сточных желобов, вытертым и покоробившимся по краям, как отставший и сморщенный плис на старых гробах. По стенам стояли дубовые стулья с инкрустациями из слоновой кости, столы, шкапчики; работа червей оставила на них следы, напоминавшие глазки пробкового дуба. Блеск бронзы, перламутра, черепахи потускнел от землистого налета. Мебель почти призрачная. Покрытые паутиной драпировки, ковры, шпалеры висели, точно сонные, и пыль лежала на полувековых их складках, словно полосы света. Входя, Рамиро услышал под мебелью проворное шуршанье. Древооточец прекратил свою работу и умолк.

Балюстрада с побледневшей от нетерпеливых рук былых любезников позолотой разделяла гостиную на две половины, и пыльные подушки на дубовой эстраде еще хранили отпечаток женских тел. Неуловимая тень миновавших любовных увлечений, казалось, носилась еще в этой комнате, как запах старых духов, или как пыль от букетов, что хранят в шкатулках старушки.

Мертвые предметы! Казалось, вся эта источенная червями роскошь ждет лишь легкого порыва ветерка, чтоб мгновенно исчезнуть. Шесть привидений, шесть выцветших портретов, обитали в этой комнате.

Рамиро ждал у брасеро, еще хранившего пепел от последних празднеств. В галлерее послышался стук башмачков и шелест шелка, и появилась Беатриса, одетая в черное и благоухающая, как зажженная курильница.

Пока Рамиро почтительно раскланивался, девушка сбросила с себя накидку. Сопровождавшая ее донья Альварес осталась в соседней комнате.

— Одни! — сказал себе юноша.

Оба дрожали. Таинственные лучи окружали их трепетом неведомого. Девушка с изумлением смотрела на мебель и шпалеры, на все это старье, этот тлен; потом стала разглядывать портреты. Пользуясь этим и не в

силах от волнения придумать какую-нибудь любезность, Рамиро проговорил:

— Это наши предки: Агила, знаменитые воины, и их жены, давным давно умершие.

Он помолчал и прибавил:

— И мы тоже умрем, как они, Беатриса!

И говоря это, устремил взор в глаза молодой девушки с проникновенным и смешанным выражением страсти и печали.

Один из холстов изображал поясной женский портрет. Капюшон с прилежавшей ко лбу кромкой совершенно скрывал волосы.

— Кто бы надел теперь такую току? Лучше умереть! — заметила девушка, потом сказала: — Посмотрите, у нее на шее такая же родинка, как у меня.

И, отогнув горжетку, показала Рамиро свою нежную шейку. Юноша смутился при виде ослепительно белой кожи; крошечное родимое пятнышко, как зернышко жгучего перца, распалило желание.

Вдруг Беатриса повернулась на каблучках, словно меняя па в танце, и воскликнула:

— Довольно мертвецов! — и прибавила с светской улыбкой: — Я знаю, что вы чрезвычайно знатного происхождения и можете рассказать много замечательных вещей о своих предках; но я предпочла бы услышать когда-нибудь о ваших собственных подвигах.

— Еще есть время, — ответил юноша, чувствуя, что краска неожиданно заливает его щеки.

— Отец мой, — продолжала Беатриса, — совсем мальчиком отправился на войну. Я говорю это только для того, чтоб вас раззадорить.

— Обещаю вам; но пусть никто не думает, что я буду страдать на войне больше, чем здесь, что я подвергнусь там бóльшим опасностям, более тяжкому плену и буду ближе к смерти.

— Вы становитесь непонятны!

— Скажите мне, — улыбаясь воскликнул Рамиро, — какое сражение может быть упорнее моего постоянства, какая крепость неприступнее вашего сердца, какие неверные опаснее ваших глаз, владычица моя?

— Вы льстите мне очень искусно. Хочу верить, что вы искренни.

Они умолкли.

Оба были одеты в черный бархат с шелковыми вышивками, и только на лицах и руках их отражался рассеянный в мрачной комнате свет. Тусклый от пылинок солнечный луч пробрался в полураскрытую ставню и осветил на противоположной стене большую шпалеру, привлекающую внимание Беатрисы.

Они пошли к свету и, поднявшись на эстраду, оба невольно поморщились. Здесь ощущался какой-то странный и тяжелый запах. Рамиро понял. Он узнал этот особенный, ни с чем не сравнимый запах, который он ощутил, по прибытии из Саламанки, в комнате дон Иньиго; и всякое сомнение исчезло у него при виде застывших на полу капель с восковых свечей.

Шпалера изображала любовный сюжет. Рамиро разобрал его содержание несколько дней тому назад при помощи отца-доминиканца. На переднем плане слева, среди сказочного желтого и голубого сада, сидела Мария Падилья, фаворитка дон Педро¹⁷⁵). Возле бассейна или пруда развевал свой пышный хвост павлин. Нежно опираясь правой рукой на плечо женщины, король Кастилии, в красном выцветшем камзоле, показывал ей сидевшего у него на пальце горного сокола в пурпуровом колпачке. Какая-то зыбь, какое-то призрачное дыхание, казалось, колыхало по временам старинную ткань.

Рамиро вкратце рассказал то, что читал об истории этой любви, и ему самому казалось, что от слов его исходит волнующий аромат. Зрачки Беатрисы загорелись.

Оба устремили взгляд на фигуры влюбленных, и глаза их восприняли лишь яркий румянец этих нетронутых временем губ, точно отдалявших из года в год, сладостную ласку.

Рамиро подумал, что с минуты на минуту его мать, или кто-нибудь, может войти и нарушить очарование этой уединенной беседы, которая, быть может, не повторится долго-долго. Он приготовил в уме решающую фразу.

¹⁷⁵) См. прим. позади текста.

Он решил сложить свою судьбу к ногам этой женщины. Чтоб овладеть собой, он отошел на несколько шагов к стене. Один угол шпалеры загнулся внутрь; он машинально взялся за него и сильно тряхнул полотно. И вдруг произошло что-то странное: окутанные облаком пыли, неожиданные, поражающие, из-под шпалеры вылетели бесчисленные рои моли. Целая туча испуганных, растерянных, серых, как сухая земля, бабочек, рассеивали на лету тончайший порошок и минутами вспыхивали в солнечном луче, как светляки.

Множество этих серых хлопьев опустилось на платье Беатрисы, прилипло к ее юбке и корсажу, покрыло накидку. Девушка отмахивалась со страхом и отвращением, не решаясь притронуться к ним; тогда Рамиро протянул руку и, смущенно, и в то же время улыбаясь, стал снимать бабочек одну за другой.

Запутавшись в локоне, два насекомых беспрерывно трепыхали крылышками. Чтобы снять их, юноша привлек к себе Беатрису, коснувшись рукой ее спины. Солнечный луч ударял ей прямо в лицо, и среди всей этой окружавшей его ветоши, разложения, смерти Рамиро вдруг увидел нечто волшебное, чарующее, — саму жизнь, саму юность, саму кровь, которая трепетала, угадывая его желание! То были губы, алые губы Беатрисы, — демон плоти научил ее слегка смачивать их и волнующим образом сжимать и разжимать. Рамиро обвил рукой шею девушки и нежно сжал ее. Она отодвинулась. Тогда юноша почувствовал непреодолимое желание прижаться губами к ее губам, выпить, сорвать с них любовь, страсть, безумие, бред! — и с бешеной страстностью привлек ее к себе.

Беатриса вскрикнула:

— Альварес!

Оба повернули головы. Широкая темная фигура дуэньи появилась в светлом пролете отворившейся двери. — Моль! Моль! — кричала Беатриса, отряхивая накидку.

Минуту спустя, не успела еще дуэнья смахнуть с платья своей госпожи последние следы насекомых, лакей доложил, что донья Гиомар ожидает Беатрису в своей

комнате. Рамиро не захотел пойти с ней; чувство стыдливости побуждало его уклониться в эту минуту от взгляда матери. Он безмолвно раскланялся и удалился по коридорам.

В тот вечер, в ту ночь и все следующие дни Рамиро без конца вспоминал разговор в гостиной.

Наравне с тиранической страстью, безмерно росла и его мужская гордость. В уме его не родилось ни малейшего сомнения, ни малейшего противоречивого соображения. Он чувствовал большую, чем когда-либо, уверенность. Крик Беатрисы был лишь воплем ее окончательно сдавшейся воли. Она дрожала в его объятиях той же дрожью, как сарадинка и другие женщины, когда он привлекал их к себе для поцелуя; и ему казалось, что он еще ощущает в руке безумное биение ее сердца под жестким стеклярусом корсажа.

Но и он сам был ранен Беатрисой и, быть может, навсегда. Он уже не мог представить себе свою жизнь без полного обладания этой девушкой и без ее любви. К чему мечтать, питать честолюбивые замыслы, стремиться, если он не добьется ласки, ускользнувшей от его желания? Что значит мир и весь блеск его славы без этой победы? Как допустить, чтобы другой мужчина...?

Любовные грезы его были полны восторга и нечистой страсти. Порой душа его одним взлетом достигала блаженства идеальной любви; иногда же кровь властно требовала пламенной ласки. То он грезил, что губы его впивают экстаз с губ возлюбленной, как райскую росу; то желания его уподоблялись злым пчелам, целым роем нападавшим на надтреснутый плод.

Потом он рисовал себе, что будет делать, когда станет ее мужем, чтобы укрыть ее от распаленной чувственности ее бывших поклонников. Он увезет ее в далекую, далекую страну, на какой-нибудь дикий остров; или запретя с ней в доме без всяких входов и выходов, кроме тяжелой железной двери, и будет выпускать ее только ранним утром в ближайшую церковь, закутав в широкое и плотное покрывало, закрывающее все лицо, так чтобы другие видели лишь ее смутную и мимолетную тень. А

если кто-нибудь посмеет любезничать с ней, когда она будет проходить, или дерзко последует за ней, он сумеет отправить его на тот свет по самой быстрой почте, с ярко-красной печатью на груди!

Раз ночью он заснул в постели, не погасив лампы. Огонь позлащал его сновиденья. Он был женат на Беатрисе и командовал латниками где-то в Америке. Он нашел огромный клад, сотни погребальных урн, полных золота. Он спас захваченную врасплох армию. Сам выиграл множество сражений. И был назначен вице-королем ...

На следующий день альгуасил Священной Инквизиции передал ему в собственные руки приказ явиться вторично для дачи показаний по делу морисков.

IV.

Настали дни, когда дон Алонсо Блáскес-Серрано стал считать себя жертвой злейших дьявольских козней, описанных богословами. Живой и блестящий ум его безвозвратно погрузился в мрачнейшие пучины меланхолии. Его беспрестанно терзал болезненный страх. Красноречие его перешло в молчаливость, бывшая самонадеянность — в глубочайшее убеждение в своем ничтожестве, а восторженная любовь к жизни — в полное отречение от всякой радости, от всякого торжества.

В какой проход, уставленный капканами, направил он свои шаги? По каким заклятым ступеням стал спускаться на склоне лет? Все обращалось против него; и он сравнивал себя с злосчастливым Лаокооном, задушенным змеей.

— За что, за что? О, Боже! — восклицал он иногда и устремлял взор к небу, как бы протестуя против жестокости Провидения.

В покаянные же минуты, наоборот, обвинял себя в воображаемых крупных проступках; и, вспоминая о былых своих языческих оргиях, о старых повадках соблазнителя, о своем пристрастии к богатству и непомерном тщеславии, начинал считать себя закоренелым гре-

шником, жалкой и темной душой, запятнанной всевозможными преступлениями.

Злой рок, чтоб ранить ему сердце, дожидался его старческих лет; и, наряду с угнетающими настроениями, окружающий его материальный мир тоже как-будто проникся к нему враждебностью. Даже знакомые предметы принимали участие в этом жутком колдовстве: неподвижная шпалера, полотнище черного бархата, старинный фамильный портрет, зеркало, кинжал — порой дышали на него смятением, ужасом и безумием. Казалось, некоторые предметы стараются высказать ему злое пророчество.

Он стал набожнее, чем когда-либо, чаще налагал на себя эпитемии, придумал особые власяницы и мучительные бичи, погрузился в непрерывную молитву. Ум его, проникшийся отвращением к миру, стал искать утешения в мечтах о загробной жизни. Но и здесь тоже он сталкивался с страшной неуверенностью: какая участь ждет его душу? будет ли она спасена? Мысль о вечности адских мук очень скоро перешла у него в неотвязную идею, парализовавшую его разум. И в то же время Иисус и Богородица рисовались ему уже не светлыми фигурами, сошедшими с итальянских картин, а длинными и бледными призраками, обливающимися мучительным потом, и глаза их как-будто бесконечно созерцали скорбь осужденных душ.

Этот философски мысливший дворянин, всегда издевавшийся над малодушными страхами, видевший в ежедневном риске богатой приключениями жизни лучшие шпоры для души, теперь постыдно ныкнул отяжелевшей от страха головой и трепетал из-за всякого пустяка, из-за видения, из-за тени. Сумерки были для него самым страшным временем. Прощальные лучи заката, дрожа умиравшие в комнатах, повергали его в неизяснимую тревогу. Порою в сумраке ему чудились эшафоты, костры, гробы; он поспешно звал тогда слуг, приказывал затворить окна и зажечь на столах, на конторках, на всей мебели бесчисленные канделябры, которые приносили изо всех комнат. Но и при этом ослепительном освещении, при этом восковом пожаре, отражав-

шемся на его лице, он вдруг бледнел и проводил трясущейся рукой по лбу, как бы срывая с него, по кускам, какое-то видение.

Правда, причин этому тяжелому состоянию было не мало. Придворные разочарования положили начало его бедам. Во времена благоденствия Антонио Переса, дон Алонсо устраивал в честь его банкеты, охоты и получил от него твердое обещание выхлопотать ему при первой же возможности кресло в итальянском Совете. Впоследствии, после оглушительного падения фаворита и даже после его бегства, дон Алонсо, верный заветам преданности, оказался, быть может, единственным царедворцем, осмелившимся защищать его. Этого было достаточно. Свыше был произнесен безмолвный приговор. Его подвергали всевозможным унижениям, на церемониях ставили в последние ряды, высмеивали в присутствии дам, доклады его бросались в брасеро. Кое-кто из духовных лиц осторожно заговаривал с ним и задавал, как бы для развлечения, богословские вопросы, затрагивавшие догматы религии. Он был конченный человек. И гордый идалго, думавший, что не знает боязни, познал страх, сверхъестественный ужас, ужас, превосходящий человеческие силы. То было заклятие, „дурной глаз“ короля.

Горделивая и мужественная осанка его сменилась убитым и мрачным видом. Цвет лица принял землисто-серый оттенок. Возобновились прежние приступы перемежающейся лихорадки.

В это время один художник, по имени Эль-Греко, написал его портрет. Изумительное полотно, на котором можно прочесть интимную тайну человека лучше, чем на его собственном лице, как-будто художник погружал свою кисть в живые соки озлобления, меланхолии и гордости. Высокие брыжи окружали пожелтевшее трагическое лицо. Видно было, что горевший в груди костер страстей иссушал тело, отравлял и губил соки. Радужная оболочка и зрачек, испещренные желчными жилками, казались зелеными и увлажнялись прозрачной влагой, точно постоянно обновлявшейся, как в живом взгляде; а губы сжимались под усами, как бы стараясь сдержать дерзкое оскорбление. Застывшая маска царедворца, на

половину прикрывавшая легко вспыхивающее чувство чести, задушенный пыл.

И в то же время мистическое умиротворение и свет религиозной надежды как бы окутывали всю фигуру и составляли атмосферу картины.

Когда дон Алонсо, пресытившись придворной жизнью и чувствуя приближение старости, решил удалиться в свой дворец в Авиле, рассчитывая поделить остаток дней между любовью к дочери и безмятежным наслаждением редкостями и сокровищами искусства, собранными в его барских покоях, — новые испытания, еще более неожиданные и жестокие, обрушились на его голову и подвергли опасности его честь, свободу, чистоту его рода и даже последние остатки его счастья на земле.

Дон Алонсо любил Беатрису слепой и снисходительной любовью увлеченного светской жизнью отца. Воспитание его состояло лишь в потакании ее капризам и восторженном преклонении перед всеми причудами ее маленькой непостоянной души. Достаточно было ласки ее шаловливой ручки, кстати состроенной гримаски, чтобы самая несуразная просьба представилась ему наизаконнейшим требованием. Этой мягкостью и баловством он воображал восполнить отсутствие материнской нежности: мать заплатила своей жизнью за рождение этой единственной дочери.

Он пригласил к ней учителей танцев, пения, игры на скрипке, — и она училась всему, чему можно выучиться без труда и что впоследствии умножает чары девической прелести. Его ужасала мысль обременить головку этого черноволосого ангела какою-либо напряженной работой. В пятнадцать лет девушка едва умела читать по складам. Рукоделие было для нее неведомым искусством. Многочисленные дуэньи скорее изображали ее парадную свиту, чем служили для охраны ее особы; и так как отец почти все время проводил при дворе, Беатриса командовала домом по своей фантазии, словно какая-нибудь восточная принцесса. Однако, донья Альварес, изучившая свое ремесло в знатных домах Мадрида, обыкновенно делала ей в присутствии посторонних строгие замечания;

она же выслушивала их с притворной досадой, понимая, что это только усиливает представление о ней, как о драгоценном сокровище, о дивном и совершенном создании, окруженном самыми заботливыми попечениями.

И вот, после такой искусной подготовки, Беатриса приступила к выполнению своей миссии на земле: смеяться, роскошно одеваться, совершенствоваться в легкости танца, метать, при каждом взлете юбочки, искры очарования. Под влиянием этой усердной перегонки, из нее получилась настоящая квинт-эссенция светской грации и обаяния. Все плоское и чересчур тяжеловесное для любви исчезло из ее хрупкой фигурки: осталась только живость, точность, острота, пикантность, концентрированная пряность, душистое зернышко гвоздики, способное зажечь своим ароматом одновременно тысячи желаний.

Несмотря на свою ревнивую любовь, дон Алонсо хотел выдать ее пораньше замуж за какого-нибудь юношу, могущего поддержать блеск их рода. Особенно подходящим ему казался Рамиро. Все в этом потомке славных рыцарей: ранняя серьезность, гордая осанка, речи внушали ему представление о том, что жизнь его будет полна геройских деяний. Кроме того, он заметил, что каждый раз, когда он произносил его имя при Беатрисе, лицо ее мгновенно заливалось краской. Поэтому он только один раз вывез ее ко двору, чтобы не подвергнуть риску свои планы, и постарался отдалить братьев Сан-Висенте, потому что близость с ними должна была внушать Рамиро постоянную тревогу. Для этого он приказал донье Альварес говорить Гонсало или Педро, если они будут приезжать в его отсутствие, что Беатриса не может их принять, пока отец ее не вернется из столицы.

Первым явился младший брат. Услышав отказ, он подумал, что это выдумки прислуги, и, так как явился он прямо из таверны, то решил пройти во что бы то ни стало, и начал грозить привратникам шпагой; но те, готовые умереть на пороге, остались непоколебимы.

Гонсало выбрал более верный путь: подкупил донью Альварес. По мере того, как четверти реалов сменялись реалами, а реалы дублонами, дуэнья размягчалась, по-

добно ремню в масле, и молодой человек мог рассчитывать, в самой спальне своей возлюбленной, на новую Селестину¹⁷⁶), отличавшуюся необычайной хитростью и изворотливостью.

Слух о жестоком оскорблении разнесся по городу и явился причиной ожесточенной вражды между обоими семействами. Расплату за него взяла на себя донья Уррака. Благосклонность, которою ее муж пользовался при дворе, и его звание комиссара инквизиции — были более чем достаточным оружием для того, чтобы сломить со временем гордость дон Алонсо.

В это же время, одним вечером дон Алонсо нашел на столе в своей комнате таинственную записку. Он опросил слуг и женщин. Никто не знал о ней. В записке этой, без подписи, ему сообщали, что Рамиро — сын мавра. Он рассмеялся над этой нелепой выдумкой и, разрывая записку, вспомнил прежние рассказы о дружбе молодого человека с мавританскими заговорщиками. Прошло несколько месяцев. Наконец, незадолго до смерти дон Иньиго, он снова получил письмо, с сообщением, что Рамиро — сын доньи Гиомар де-ла-Ос и одного мавра из Кёрдовы; в приписке добавлялось, что если в такой-то день и час дон Алонсо явится в такое-то место, ему расскажут всю историю рождения Рамиро.

Дон Алонсо отправился в назначенное место в сопровождении одного только слуги. Это был косогор, по близости от монастыря Воплощения; журчание ручейка смягчало суровость пейзажа. Когда он уже решил, что над ним посмеялись, из-за пробкового дуба вдруг вышел маленький скорченный человечек. То был Хосэ Франко, соборный звонарь. Держа в руке берет и обшаривая во время разговора маленькими живыми глазками всю местность, он повторил дон Алонсо историю, которую Медрано рассказал ему однажды под пьяную руку на колокольне. Он клялся всеми святыми, приводил самые правдоподобные доказательства и уверял, что, выходя

¹⁷⁶) Селестина — героиня (старуха-сводня) знаменитой книги, появившейся в 1499 году под заглавием „Трагикомедия о Калисто и Мелибее“.

замуж за кабальеро Лопе де-Алькántара, донья Гиомар уже была беременна от мавра.

Только тогда, связав этот рассказ с некоторыми особенностями, мельком замеченными в доме дон Иньиго, дон Алонсо впервые заподозрил недоброе. Он вспомнил о таинственном приезде отца и дочери, никогда более не возвращавшихся в свой дом в Сеговии; вспомнил, как через несколько месяцев в Авиле родился Рамиро; вспомнил о затворнической жизни, какую они вели в течение многих лет; о постоянной грусти доньи Гиомар; о равнодушии старика к внуку; о молчании, окружавшем память этого Лопе де-Алькántара, погибшего, между тем, такой славной смертью за своего короля. Донос казался довольно правдоподобным. Что делать? Было средство узнать: спросить самого дон Иньиго. Но минуты его старого друга были сочтены. — Все равно, — сказал он себе, и в тот же вечер отправился к умирающему.

Произошла торжественная сцена. Старик неподвижно лежал в кровати. Рокового конца ожидали с минуты на минуту, и потому больного одели в белоснежную мантию, предписанную для этого величайшего момента уставом ордена Сантьяго. Голова его покоилась на той же зеленой кожаной подушке, на которой супруга его донья Брианда испустила последний вздох.

Дон Алонсо попросил, чтобы их оставили наедине. Когда все удалились, умирающий печально устремил глаза на друга. Тогда Блáскес-Серрано извинился, что пришел нарушить минуты его благочестивых размышлений; но речь идет об очень важном деле, — сказал он, — и он пришел просить у него величайшего доказательства их всегдашней дружбы.

— Вы уходите, — воскликнул он, — а я остаюсь, и только ваше слово может помочь мне в этом затруднении.

Потом сообщил о своем желании выдать Беатрису замуж за Рамиро и о только что полученном доносе.

— Я подозреваю, что ваш внук — жертва гнусной клеветы; но в противном случае, — прибавил дон Алонсо, приблизив лицо к лицу старика, и заговорил сердечным тоном, — в противном случае, вы, мой верный друг,

не допустите, чтобы это несчастье распространилось и на мой дом. Заклинаю вас Господом нашим Иисусом Христом, скажите мне, здесь, с глазу на глаз, когда нас никто не слышит: правда ли это?

Дон Иньиго, казалось, не слышал ни слова, как будто дух его парил бесконечно далеко; но вдруг из больших глаз его, в которых жизнь угасала, как последний отсвет на поверхности неподвижной и тусклой воды, обильным потоком, без единого движения век, полились слезы. Немного спустя он медленно раздвинул губы, и один только слог, произнесенный с силой и твердостью, как бы каким-то другим, невидимым существом, слог, звучавший беспредельной скорбью, прорезал тишину:

— Да! — проговорил дон Иньиго.

И это „да“ было призрачно, зловеще, — долгое „да“ загробного мира. Последний вздох, последний всплеск души, навсегда погрузившейся в океан вечности.

Через несколько дней в Авиле появились мятежные воззвания, и хотя дон Алонсо, предупрежденный самим дон Диэго, уехал по его же совету накануне ко двору, сеньор де Сан-Висенте и его жена шепнули в послеобеденной беседе его имя доктору Пареха де-Перальта, придворному алькальду, присланному королем. Близость Блассеса-Серрано с виновными придавала доносу правдоподобность; во всяком случае, имелись основания представить его одним из тех лицемерных вассалов, что дарят монарху улыбку, а бунтовщикам сердце, и оказываются во дворце как раз в тот момент, когда в каком-нибудь месте государства взрывается мина, которую они же сами помогали заложить.

Письмо мажордома принесло дон Алонсо первое предупреждение. Из него он узнал, что 21-го октября днем толпа судейских наводнила его дом, проникла во все комнаты, обыскала шкафы и сундуки, взломала решительно все ящики в письменных столах, и в заключение унесла с собой большую кипу бумаг и аметистовую печать с гербом Бракамонте. Мажордом и другие слуги пытались воспротивиться, но альгюасил именем короля пригрозил им виселицей.

Дон Алонсо решил немедленно вернуться в Авилу, чтоб успокоить дочь и опровергнуть клеветнические наветы. Интрига велась очень искусно, и хотя отобранные при обыске бумаги как раз доказывали его невинность, процессуальная казуистика постаралась всячески извратить их смысл и слова. Наконец, приор монастыря Санто-Томас благородным вмешательством своим спас его на самом краю гибели и добился прекращения процесса.

Тем не менее, через несколько дней после казни Бракамонте, дон Алонсо, предупредив коррехидора, поехал в Мадрид, с целью просить заступничества у своего друга графа Чинчон и припав к стопам монарха, уверить его в своей невинности.

Филипп Второй находился в Эскориале¹⁷⁷⁾, и дон Алонсо поехал туда, заручившись письмом от графа. Дорогой, откинувшись на подушки кареты, он сочинял в уме драматическую речь, которой рассчитывал растрогать сердце монарха. Он репетировал мимику и интонации, заменял одни слова другими; переделывал целые фразы и, вполне успокоенный, похваливал себя за выдумку необычайно тонкого эпитета, изящнейшей гиперболы.

Два дня пришлось ему дожидаться аудиенции. Его ввел обер-штальмейстер короля.

Король находился в маленькой комнатке перед своей кельей; прилегавшие к ней коридоры были полны людьми в рясах, монахами, клириками, придворными. Целая толпа в черных или коричневых одеждах, двигавшаяся с молчаливой и торжественной деловитостью.

Осеннее солнце заливало монастырскую комнатку, где принимались послы. Входя, дон Алонсо ощутил запах лекарственных мазей. Два широких стола, заваленных бумагамп, занимали глубину комнаты. За одним работал Родриго Вáскес, за другим — косматый человек с черной бородой, неизвестный дон Алонсо. Брат Диэго де Чáвес отошел к окну и стал смотреть в поле.

Могущественнейший в мире монарх, король молчаль-

¹⁷⁷⁾ Эскориал — городок в 50 километрах от Мадрида с монастырем, основанным Филиппом II; любимая резиденция короля.

ник и канцелярист¹⁷⁸), сидел на монашеском стуле, вытянув на табурет ногу, и, опираясь локтем на грубый дубовый стол, безостановочно подписывал собственной рукой огромные груды документов. Слева стоял Сантойо, его камер-лакей, принимал от него листы и посыпал песком свежую подпись.

Филипп Второй был, вероятно, тяжело болен. Лицо его приняло сероватую белизну мокрого гипса.

В комнате не слышалось никаких звуков, кроме непрерывного скрипа перьев по бумаге.

Наружи воздух сиял, и голубое небо блистало над суровой каменистой равниной, как чистая эмаль. По временам король в раздумье поднимал голову, и лившийся в окна свет совершенно обесцвечивал его спокойные и жесткие змеиные глаза.

Дон Алонсо ждал у двери и, чтоб успокоить свое волнение, изредка бросал взгляд на странную картину, висевшую на стене: безумное изображение адского зодиака, кишящего грешниками и бесами.

Этот монарх не нуждался в пышности трона. Когда настал момент преклонить пред ним колени и вручить письмо графа, дон Алонсо почувствовал, что дрожит с головы до ног. Король быстро прочитал. Потом его холодные губы, синеватые и крепко поджатые внутрь, как будто он уже отведал едкого брения всякой земной славы, проронили, чуть шевелясь, почти неслышные звуки:

— Если вы были таким верным вассалом, как уверяет граф, — вы могли бы предупредить нас о низкой измене, которая замышлялась у вас на глазах.

Дон Алонсо хотел сказать то, что приготовил в памяти; но глаза его встретились с глазами короля, и ум его, внезапно парализованный, нашел лишь пустые, бессвязные, ненужные слова:

— Ваше Величество не должны сомневаться... я никогда не думал... я совершенно невинен.

Король остановил его движением бровей, и губы его снова зашевелились. Но на этот раз никто, даже при-

¹⁷⁸) Король-канцелярист — Филипп II лично вел свою переписку и просматривал все бумаги, проходившие через его канцелярию.

близив к ним ухо, не смог бы разобрать ни одного слова. Это было точно монотонное жужжание какого-то насекомого, та самая, непонятная, глухая речь, что приводила в отчаяние посланцев других государей.

Наконец, рука, покоившаяся на цепи Золотого Руна, мертвенно бледная рука, поднялась в воздух и указала на дверь; и, так как дон Алонсо медлил, выразительность королевского жеста подчеркнул властно вытянутый указательный палец. Всякое возражение могло стать роковым. Дон Алонсо повиновался.

Когда он снова очутился один в карете, на пути в Авилу, пламя чести зажгло ему кровь. Он уже не хотел думать о громадности нанесенного ему оскорбления, искал только форму мести. С восхищением и завистью думал он о своем друге Антонио Перес; решал бежать, как тот, к какому-нибудь иноземному двору и оттуда метать в тирана свистящие стрелы своей злобы. Таким образом, он увековечил бы свое имя, и его отмыченная честь сравнялась бы с величием короля. При этой мысли пред ним вдруг раскрылась воображаемая дверь, и глаза его снова увидели нечеловеческое лицо Филиппа Второго, провожающего его взглядом по дорогам. Весь его пыл погас. Он почувствовал себя уничтоженным, побежденным чем-то непреодолимым, вроде власти какого-нибудь рокового заклятья. Ах! с какой яркостью ощущал он теперь в горле тошнотворный осадок всех придворных честолюбий! Его охватило бешеное желание перестать существовать для мира, посвятить остаток своей жизни служению Богу, в четырех стенах монастырской кельи.

На следующий день, под'езжая к Авиле, он приказал кучеру остановиться у монастыря Санто-Томас. Он хотел проездом поговорить с приором.

Стоял холодный ясный полдень конца октября. Мориски, погонщики мулов, спали на краю дорог, возле своих кувшинов, лежа с запрокинутыми головами, как убитые. Город с ржавыми стенами и огромными башнями точно упивался солнцем. Вокруг царил ослепительный и мрачный покой. Дон Алонсо вспомнил стихи Алигиери:

Loco e in Inferno detto Malebolge,
Tutto di pietra e di color ferrigno,
Como la cerchia che d'intorno il volge¹⁷⁹).

Он пошел прямо в келью своего друга, миновав Двор Молчания. Тихонько отворил дверь. Монах дремал, лежа на спине, на деревянной скамье; полураскрытый рот его блаженно улыбался. Одна нога свесилась с койки, и туфля, держась на пальцах, касалась каменных плит пола. Бласкес-Серрано, прежде чем разбудить, несколько минут смотрел на него с завистливым восхищением.

Час спустя он отъехал от монастыря с решением вступить в орден.

Он вошел в свой дворец с заднего хода, тихонько поднялся по лестницам и направился в библиотеку, знаком приказав бросившимся на встречу слугам не шуметь.

Какое глубокое отвращение вызывали теперь в его душе эти обширные залы, где он с упорной страстью собрал столько драгоценностей, разыскиваемых и приобретаемых во время путешествий!

О, суетное тщеславие. Сколько напрасных трудов, какое ослепление, какое недомыслие представляли собой эти безделушки по сравнению с горькой правдой жизни! К чему затрачивать столько усердия на раскрашивание и резьбу слоновой кости и дерева, на придание причудливых изгибов расплавленной стеклянной массе, на вытравливание узоров по металлу, когда всех нас ждет смерть!

А что сказать о пышности зал, о роскоши ковров и обоев, о парадных livreaх!

Ах! прожить столько лет, не находя истины! Но теперь, по крайней мере, он видел ее перед собой, как бы начертанной огненными буквами на стене: избавиться как можно скорее от тягости богатства, идти на поиски покоя, смирения, духовного затворничества, вдали от

¹⁷⁹) „Ад“, песнь 18-ая.

„Есть край в аду, по имени Злы-ямы;
Он весь из серых, как чугуун, кремней,
С такой же вокруг стеною, в виде рамы.“

(Перев. Дм. Мина.)

светских интриг, вдали от лиц, искаженных алчностью и ненавистью, и направить все силы души на высшую цель спасения! Он уже старик и может принести Господу лишь преступное прошлое и хрупкое и жалкое здание тщеславия.

Он сел в кресло в библиотеке, дожидаясь, пока ему приготовят постель.

— Остается еще одно средство, — вдруг сказал он себе и поспешно встал, чтоб послать за духовником и немедленно сообщить ему о своем решении вступить в орден. Но, подойдя к двери, услышал аккомпанимент скрипки и молодой мелодичный голос. Он изумленно раскрыл рот. Дочь!

Переходя из комнаты в комнату, он дошел до спальни. Неплотно затворенная дверь оставляла порядочную щель, но дон Алонсо мог видеть только дуэнью, сидевшую на подушке и с полузакрытыми глазами кивавшую в такт музыке. Беатриса пела:

Счастье встретить вас судило
И любовь — любить глубоко.
А разлука — быть далеко,
Чтобы счастье не убило.
Это счастья выбор властный:
Тот счастливый, кто вас встретит,
Кто вас встретит, тот приветит,
Кто приветит, тот несчастный.

Это смертное страданье —
Образ муки настоящей;
Эта мука — предвещанье
Скорбной участи грозящей:
Смерти чувствую приход,
Ибо счастье так решило,
Чтоб страданье мне открыло,
Что меня в грядущем ждет¹⁸⁰⁾.

При последнем стихе этой старинной кастильской песенки, донья Альварес восклицнула:

— Вербное воскресенье, сахарный ангелок! Хотела

¹⁸⁰⁾ Перев. М. Лозинского.

бы я быть вашим кавалером, чтоб слушать у ваших ног эту нежную музыку и этот дивный голос, вызывающий сладчайшие слезы! Я знаю одного, который отдал бы зеницу ока только за то, чтоб сейчас послушать вас, сеньора.

— Ты говоришь о Рамиро? — спросила девушка.

— Не напоминайте мне об этом ночном привидении, зеленом, как оливка, гордом и напыщенном, как балаганный король! Вот уж не взглянула бы на него, хоть я вдова, и мне пошел шестой десяток! Я говорю о другом, белокуром, как ангел и красивейшем из красавцев. Ах, будь у меня ваша молодость и ваша прелесть, не стала бы я его мучить!

— Какой новый подарок прислал вам рехидор? Какую накидку, какой перстень, какие сласти?

— И это вы говорите мне? Господь хорошо знает, что эти дворянские руки чисты от всякого подкупа.

— Гонсало, правда, очень милый, — прервала Беатриса, приложив палец к щеке, и глаза ее приняли задумчивое выражение.

Потом, грациозно выпрямившись, воскликнула:

— Я не знаю, Альварес, что творится в моем сердце. Иногда я думаю только о Рамиро и чувствую себя точно околдованной. Ах, и как меня мучит ревность! Я ревную не знаю к кому, безумно ревную ко всем гостиним, ко всем жалюзи, и даже к водоему на площади с его водоносками! Уж не посыпал ли он мне платье и волосы каким-нибудь колдовским порошком в тот день, когда на меня села моль.

— Вполне возможно, потому что он очень увлекался мавританскими девушками из предместья, и они наверное научили его варить разные зелья, напускать порчу, заклятия, и всяким своим проклятым чарам.

— Вы — собака, как говорит Леокадия.

— Сама-то она настоящая язва!

— Иногда по ночам, в постели, мне страшно думать о Рамиро, Альварес. Мне кажется, будто он идет убить меня, что он спрятался где-нибудь в углу моей комнаты, шевелит шпалеры и скрипит ящиками. И на утро мне приятно слушать твои разговоры о Гонсало. Он, правда,

милый, сеньор рехидор. Он любит меня еще с тех пор, как я была вот такая. А как он покорен и деликатен! Но отец мой говорит, что род Сан-Висенте не стоит и двух оливок.

— Это он так говорит, — прервала дуэнья; но я, помнится, слышала от сеньора каноника Мигеля де-ла-Игера, большого знатока родословных, что сеньоры Сан-Висенте очень древнего рода, много воевали с маврами, происходят от Марии де-ла-Серда, и насчитывают двух коннетаблей Кастилии, а гербы их изображены на табуретах главной часовни церкви Сан-Висенте в этом городе. Да и самая осанка дон Гонсало разве не говорит о благородстве его происхождения? Видел ли кто когда-нибудь такого учтивого и такого храброго юношу? Кто искуснее его владеет оружием, кто так танцует и играет, как он? Нардис по красоте, Ахилл по храбрости, а в музыке — Орфей! И какая сдержанность в страдании, какое постоянство в любви! Клянусь честью, сеньора, если ему не удастся в один из ближайших вечеров хоть раз поговорить с вами наедине, вы убьете своей суровостью самого прекрасного кавалера, какого видел свет.

— Это невозможно без ущерба для моей чести, — резко и нервно ответила Беатриса.

Потом, словно позабыв только что сказанную фразу, продолжала:

— Конечно, Гонсало очень увлечен. Чем я с ним холоднее, тем сильнее он меня желает. Я его люблю, правда, люблю, Альварес. А Рамиро так же внезапно воспламеняется, как и раздражается; сегодня он мёд, завтра уксус. Другого такого гордеца не найти. Мне следовало бы не думать о нем и отдать свою руку рехидору; но чуть закрою глаза, я вижу перед собой его красивое лицо, такое бледное, бледное, приподнятую шпагой епанчу и большое черное перо, которое он всегда носит, — прибавила она, сделав жест над головой. — Я всегда узнаю его шаги на улице, когда подбегаю к окну. Шпоры его звенят по камням, трик, трик, трик, трик, а шпага иногда ударяется о стену, так, так... Отец мой говорит, что Рамиро происходит от самых древних и знатных семейств Кастилии.

— Трик, трик, так, так, — насмешливо передразнила дуэнья.

— Лиценциатом он мне не нравится, но если он вернется скоро с войны, с капитанской хинетой ...¹⁸¹).

Дон Алонсо не упустил ни слова из этого диалога. Одну минуту ему хотелось войти в комнату и откровенно вмешаться в разговор; но боязнь показаться перед дочерью человеком, способным подслушивать у дверей, остановила его.

В тот же вечер он позвал Беатрису и, приказав ей соблюдать тайну, в кратких словах рассказал историю рождения Рамиро. Потом, упомянув о любовных притязаниях юноши, поднял руку и закончил дрожащим и торжественным голосом:

— Лучше смерть, дочь моя! лучше смерть, чем замарать нашу чистую кровь мавританскою кровью!

V.

На улицах в городе мрачный покой кастильской съезды. Полуденный свет яростно пылает на каменных стенах, раскаляет железо, опалает мох на крышах.

Улицы пустынные и немые; но изредка резкий голос мориска, продавца овощей, нарушает монастырскую тишину и заставляет ворчать не одного идальго, дремлющего в полутьме алькова.

Петухи поют хриплыми и сонными голосами.

Рамиро ходит из конца в конец по пустой гостиной. Что случилось?

Пыль отмечает на стенах вертикальные следы шкалер, кое-где с гвоздей свисают нити и обрывки голубого бархата. словно вторглись варвары, сорвали все обои и портьеры, и, торопясь разграбить, разбили все до единой плиты пола, свернули ковры и унесли мебель, не оставив ничего, кроме флорентинского стола черного

¹⁸¹) Короткое копые, которое носили капитаны испанской пехоты.

дерева с инкрустациями из слоновой кости, да дубового стула.

Комната похожа на амбар после продажи урожая, и обычный запах старья и затхлости чувствуется в этом опустошении еще резче.

Однако, старинные портреты Агила водворены на прежние места на стенах.

Рамиро размышляет. Две глубоких морщины залегли между его бровями. Лицо осунулось, лоб стал еще бледнее, орлиный нос обрисовывается резче; но весь его облик по прежнему величав и пышен. Красивая цепь блестит на камзоле из черного горгорана. Золотые шпоры позванивают на каблуках.

Траурная суконная епанча аккуратно сложена на спинке стула.

Жизнь его внезапно закрутилась, точно в водовороте, перед неожиданным разговором врагов; и воли его вся словно вспенилась, разбиваясь о препятствия, как бурный поток.

Как усумниться? Его хотят принизить и покрыть позором. Одни, как корехидор и инквизиторы, в наказание за то, что он снял шляпу перед отрубленной головой Бракамонте; другие, как Сан-Висенте и альферес, из ревнивой злобы; а остальные, из завистливого страха, что он может достигнуть величайших почестей. Иначе, чем объяснить настойчивое обвинение в сообществе с морисками? Кто может серьезно думать, чтобы человек его касты был способен на подобное преступление против Бога, против государства, против собственной чести?

Он утешался воспоминанием о презрительном жесте, каким ответил на коварные вопросы трибунала. Он жалел, что не смог так простоять не прибавив ни слова, и смело смотря на них с высоты своей гордости. Но когда квалификатор Кирога с ехидным выражением указал на сарацинский кинжал, найденный в ящике его письменного стола, ему пришлось рассказать с самого начала все приключение, объяснить мотивы своего сближения с Аишой, описать сцену борьбы, заботы женщин и мориска и выяснить, наконец, происхождение этого по-

дарка, который он хранил, как почетный трофей своего подвига.

Однако, он не мог представить ни одного свидетеля. Но Аиша — неверная, его же собственная жертва, почти обезумевшая от пытки, — вместо того, чтоб воспользоваться представлявшейся ей такой легкой и страшной мезтью, подтвердила его рассказ, и назвала его вероломным христианином и плохим рыцарем, не умеющим держать данное слово. По счастью, судьи не сумели понять мучительно-страстного взгляда, который сарацинка бросила на него в последний раз, когда ее снова повлекли на пытку.

Потом дал показание каноник, и Рамиро перестали беспокоить.

Теперь он был свободен; но кто смеет с его чести пятно подобной клеветы? О, такая подлая обида заслуживает, в свою очередь, тайной мести! Он подумал о Гонсало, и, как если бы шпага составляла часть его самого, ему показалось, будто вдоль спрятанного в ножнах лезвия пробежала кровавая судорога, дикое упоение смертью и кровью.

Он остановился на минуту, потом подошел к окну. Неизменная картина, которую он столько раз созерцал с детства, приобрела для него теперь иной смысл. Безмолвный город, замкнутый в высоком зубчатом кругу, совершенно заграждавшем горизонт; суровая гордость дворцов, вызывавшая в памяти так часто произносимые имена, со всем сплетением ненависти, зависти, обманов; рутинa и пошлость этой городской жизни, сказывавшаяся в каждой мелочи, и наконец, бесконечное уныние, бесконечное однообразие — все это бросилось ему в глаза и подчеркнуло тесноту тюрьмы, которой до сих пор не замечала его пылкая душа.

Слова, сказанные Беатрисой в гостиной, прозвучали в его памяти. Да! нужно сняться с шестка и лететь на героическую охоту! Он сам признавал, что недостойно связывать свое имя с именем этой наследницы знаменитых полководцев, не сложив к ее ногам вымпела мусульманского судна или короны с зубцами в виде башенок, полученной за осаду городов Фландрии.

Что сделал он до сих пор достойного быть занесенным в хроники? Что такое его лучшие деяния, как не детские шалости? При этой мысли он улыбнулся с честолюбивой горечью, а из глаз, вдруг покрасневших, выкатилась слеза.

Он решил немедленно отправиться в Картахену и постараться разыскать капитана Антонио де-Киньонес. Может быть, им вскоре удастся столкнуться с каким-нибудь отрядом турецкого флота.

Он решил до тех пор скитаться по свету, пока не совершит какого-либо подвига, который прославит его имя среди людей. Теперь ничто не стесняло его воли. Он был свободен и сам себе господин; мать его два месяца тому назад удалилась от мира, поступив в монастырь Сан-Хосе, и ее отправили, вместе с другими послушницами, в принадлежавший ордену дом, в Кóрдову.

Он сел к столу.

Соборный колокол прозвонил три спокойных удара.

— Три часа, — проговорил оп, — а паж все не несет обеда.

Он вспомнил, что не мог дать ему денег, так как истратил все содержимое своего кошелька на покупку бриллиантового украшения для Беатрисы.

Сдержат ли генуэзские собаки свое обещание принести ему полтораста дукатов?

Накануне он лег спать, за весь день не проглотив ни кусочка хлеба; а за два предыдущих дня, — если бы не ветчина и капуста, принесенные Касильдой ...!

Еще день без пищи! Ну, чтож, он принесет эту эпитимию воздержания в дар Господу. Голод — свят.

Вдруг дверь отворилась, и в комнату вбежал Пабильос, в старой коричневой ливрее, держа на руке ивовую корзину с бобами, репой, луком, сосисками и бычьими ногами; через край ее свешивалась мертвая головка перепела.

— Как ты достал все эти припасы, мальчуган? — сухо спросил Рамиро, подозревая какое-нибудь мошенничество.

— Руководствуясь тремя главными добродетелями

голода, сеньор, каковые суть: изобретательность, смелость и быстрота, — ответил плутишка, подражая серьезному тону ученых.

В эту минуту слабый удар молотка у наружной двери разбудил эхо в сонном доме.

— Это гемуэзцы, — воскликнул Рамиро. — Беги, открой им, Пабильос. Кроме них, некому так осторожно стучать в такое время.

— А пока ваша милость будете принимать тех собак, я сварю эти дары нашей круглой матери-земли, — отозвался Пабильос и удалился по коридору, размахивая над головой корзиной.

Он был сыном повивальной бабки из Кадиса и знаменитого комического актера из Саморы; Рамиро взял его к себе на службу в Саламанке. Однажды днем, проходя по длинному мосту через Тормес, Рамиро увидел мальчика, упивавшегося солнцем; он стоял спиной к перилам, скрестив руки и устремив глаза в небо, словно ожидал, что спустившийся с облаков ворон, принесет ему, как Святому Павлу, чудесный ломоть хлеба.

Наружность у него была привлекательная. Из него мог выйти хороший паж. Рамиро спросил:

— Мальчик, ты ищешь службы?

Глаза его блеснули и, сняв берет, он подошел к Рамиро, шаг за шагом, подобострастно изгибаясь и жалобно смотря на него, как бездомная собаченка.

С того времени, одетый в ливрею, он стал прислуживать Рамиро, и в то же время посещал лекции в Университете, потому что был живого характера и очень понятлив. Рамиро привязался к нему за циническую ловкость, с какой он преодолевал или обходил величайшие затруднения; и теперь отпустив всю прислугу, оставил Пабильоса; мальчик, вместе с оруженосцем и Касильдой являлись последними опорами в его падении.

В галлерее послышался шум шагов. В дверь постучали.

— Войдите, — сказал Рамиро.

Вошли гемуэзцы.

Это были два ростовщика из старого еврейского квартала святой Схоластики. Один, молодой, с коротко остриженными спереди волосами, детским лицом и огромным

туловищем палача. Другой, старик, с красными глазками, маленьким носиком и синеватой, зернистой шеей, похожей на зоб индюка. У первого в ушах были коралловые серьги; у второго несколько перстней с поддельными цветными камнями, которые фабрикуют в Венеции торговцы жемчугом.

Старик вручил Рамиро кожаный кошелек, набитый монетами, и сказал:

— Сеньор может проверить. Здесь все полтора ста.

— Нет надобности, — ответил Рамиро, беря кошелек.

— Сеньору известно, — прибавил ростовщик, — что он должен покинуть дворец в последний день этого года?

— Да, — сухо проговорил Рамиро и молча скрестил руки, как бы приглашая генуэзцев удалиться.

Старик водил глазами по гостиной, ища не осталось ли чего-нибудь забытого, и заметив портреты, с минуту подумал, потом сказал:

— Если сеньор пожелает отдать нам эти картины, мы прибавим еще двадцать дукатов, с тем, что, если впоследствии сеньор поселится в другом дворце, мы возвратим их за маленькую надбавку.

Рамиро вскочил. Что такое он слышал? Продать портреты предков! Оскорбительное предложение заставило его грубо почувствовать глубину его падения. Неужели один факт потери состояния внушает виллану¹⁸²⁾, каков этот генуэзец, смелость предлагать человеку его сословия в глаза подобную сделку? Назначать ему цену за священные эмблемы его рода! О, нет! Скорее просить милостыню по дорогам, скорее изглодать себе пальцы, чем продать, за какие-то жалкие монеты, эти изображения, с которыми он никогда не расстанется, чтобы они охраняли его будущее и при каждом случае, вблизи и вдали, напоминали ему об образцах чести и набожности!

Он сказал:

— Пусть собака-ростовщик знает, что я прекрасно понимаю его намерение, и пусть знает также, что хотя бы

¹⁸²⁾ Виллан — крестьянин, в особенности крепостной или полукрепостной; соответствует русскому слову „мужик“.

он собрал все золото, которое уже успел накрасть до сих пор, и то, что накрадет в будущем, путем своей гнусной скаредности, он не сможет окутить крошечной частицы этих портретов, стоящих для меня дороже всех сокровищ Индии.

Гордая улыбка осветила его непреклонное лицо, словно он был уверен, что бессмертный дух предков видит его порыв, как бы приносимый им в дар. Потом, указав на дверь, велел генуэзцам удалиться.

Через несколько минут явился Паблильос с горячим обедом.

Рамиро ел с достоинством, не позволяя своему лицу выражать низменную радость желудка; тем временем паж, стоя за его стулом, рассказывал свои недавние приключения.

В час, когда привратники отдыхают, он отправился в лавку Педро Хиля, на Малом Рынке, сказал, что хозяин его, дон Диэго де-Вальдеррабано, только что приехал с гор и послал за такой-то и такой-то провизией для своего стола, при чем велел доставить ее как можно скорее, потому что она очень нужна. Затем, выйдя из лавки, он пошел к воротам этого сеньора, спрятал берет под камзол и стал прогуливаться у подъезда, как служащий в доме. Провизию не замедлили принести, и он принял ее с недовольным видом, сердито сказав мальчику: „Еще немного, и ты унес бы все обратно, черепаха этакая! хозяин приказал мне не принимать ничего, если не принесут сейчас же.“ Не успел мальчик отойти, как привратник окликнул его из окошечка. Он сейчас же подошел и извинился, сказал, что солнце очень печет, и он зашел на минутку в тень освежиться и передохнуть от своей тяжелой ноши.

Рамиро хотел рассердиться, но удовольствие от еды ослабило его волю. Он вынул монету и дал ее пажу, чтобы тот немедленно заплатил за украденное. Потом приказал вычистить своего коня, приготовить сбрую, платье и оружие для продолжительного путешествия, в которое он намерен отправиться завтра.

Откинув голову на спинку, он облокотился на ручки кресла, скрестил пальцы, и закрыл глаза, чтобы незаметнее

скоротать минуты до получения ответа от Беатрисы, который должна была принести Касильда.

Он видел обольстительный, то появившийся, то исчезающий, рот своей возлюбленной, море с фантастическими волнами, несшиеся на всех парусах суда, героические абордажи, странное оружие и иноземные знамена, и постепенно заснул. Из норки вышла мышь, за ней другие. Число их все увеличивалось, они с недоверчивой торопливостью пожирали упавшие со стола крошки. Вдруг Рамиро поднял ногу, чтоб закинуть ее на другую, и в мгновение ока, все, как один, грызуны исчезли в стенах, в молниеносном бегстве. Потом снова показались, приблизились, и, постепенно смелея, плотным кольцом окружили стул юного идадьго, как верные товарищи его нищеты.

Когда вернулась Касильда, Рамиро спал крепким сном. Девушка долго смотрела на него, боясь разбудить. Черные волосы юноши двумя влажными прядками спадали на лоб, веки были словно обвешаны тайной, а губы алым пятном пламенели на матовой бледности лица. Касильда тихо окликнула:

— Сеньор! Сеньор!

Наперсница принесла дурные вести. Она прибегла к обычному своему способу, попросила Леокадию доложить о своем приходе; но на этот раз сеньора не желала ее принять.

— Но она знала, что это я послал тебя? — спросил Рамиро.

Девушка ответила улыбкой.

— Ты поднималась в ее комнаты? Она тебя видела?

— Она видела меня очень хорошо, я показала ей издали письмо вашей милости; но она приказала мне передать, что одевается к выходу в гостиную и ей некогда сейчас заниматься письмами.

— Так и сказала?

— Так точно, сеньор.

— Почему же ты не передала письма с какой-нибудь служанкой?

— А еслибы ваша милость потом на меня рассердился?

— Я сержусь сейчас за то, что ты такая глупая — ответил, вставая молодой человек.

Глаза девушки покраснели; рука теребила красный передник. Вместо того, чтоб смягчиться при виде такой покорности, Рамиро рассердился еще больше. Схватив за плечо Касильду, он резко повернул ее и крикнул:

— Пошла вон отсюда, дура!

Она побежала к двери, и из коридора донеслось удаляющееся сдержанное рыдание.

Возможно ли, чтоб Беатриса не захотела принять его письмо? Гордость заставила его искать объяснения в собственном поведении. Но в каком же невнимании, в каком проступке могла она его упрекнуть? Разве он не прохаживается каждый день по ее улице, или не идет потом за город, ждать ее против башни их сада? Разве не посылает драгоценностей, не сочиняет сонеты и романсы, как самый преданный из влюбленных?

В этих размышлениях он до вечера не выходил из комнаты. Через два часа после ужина, он сказал пажу:

— Можешь идти спать.

— Ваша милость не слышали, в соседней комнате что-то вроде лязга цепи и стука, похожего на стук костей — спросил паж.

— Должно быть, кто-нибудь крадет известку со стены.

— Нехорошо смеяться, сеньор, а вдруг это покойник в саване! Я боюсь!

Пабильос удалился, а Рамиро вышел в галерею. Камень, воздух, поросшая травой земля во дворе, все остывало в светлую лунную ночь. Рамиро облокотился на балюстраду и поднял глаза. Большие светлые облака плыли в величавом молчании.

Свет луны озарял только две стороны галереи; призрачный свет, будивший мысль о привидениях. Жуткая тень ютилась под арками.

Полный любовной тревоги, Рамиро мог думать только о Беатрисе и видел ее лицо везде, куда падал взгляд. Видел на стене, и на темной дымке ночи; видел на небе, смутное и чудесное, и красота его сливалась с ночными

чарами. То вдруг появлялась она вся, в белоснежном брачном наряде, и шла под арками или по траве, как сомнамбула. Рамиро замирал от восторга. Торжественная тишина воздуха разливалась в его душе, ему казалось, что он вдыхает аромат бесчисленных венчиков, раскрывшихся внизу, меж камнями, и обесцвеченных, как и их стебельки, фантастическим пеплом луны. Не слышалось ни малейшего шороха. Царил глубокий покой, но дух его чувствовал, что он не совсем один. Как будто чье-то дыхание доносилось к нему из окутанных мраком уголков.

Прошел час. Свет передвинулся на противоположную стену. Справа начал озаряться другой край двора. Обрисовалась новая, украшенная каменными розетками аркада, и Рамиро, взглянув в ту сторону, заметил женскую фигуру, подобно ему любовавшуюся ночью. То была Касильда. Грудь ее по временам вздымалась, и глаза ярко блестели, словно были влажны.

Рамиро удивился внезапно охватившему его волнению. Эта подруга детских лет неожиданно предстала пред ним в ином, идеальном образе. Касильда тоже была женщина, и женщина несравненной красоты. Плод, созревший в его собственном саду, которым он пренебрегал, потому что всегда видел у себя под рукой. Он подумал, что достаточно поманить ее, сказать полслова, и она придет к нему, и при первой же ласке отдастся, покорно, как раба. Подумал о старых королях: они отдали бы свой венец за минуту этого наслаждения, а он может упиться им сейчас же. Да: одно движение губ, и прелестное создание придет наполнить усладой его одинокую ночь.

Но нет, сердце его слишком глубоко ранено, слишком встревожено, и, может быть, потому любовь Беатрисы представлялась ему более тираннической, более исключительной, чем когда-либо, единственной любовью, которой стоило добиваться.

Он выпрямился и, не замеченный девушкой, ушел и бросился на кровать, мечтать о поцелуе, вспугнутом криком Беатрисы, о ее соблазнительных и страшных устах, с того дня трепетавших и бившихся в его душе, как мотыльки.

VI.

На следующее утро, Рамиро в обычный час отправился на улицу Беатрисы. Он много раз прошел мимо дворца. Окно даже не приотворилось.

Под вечер он вышел через ворота Сан-Висенте и шел против стены. Крошечная фигурка с обращенным к нему личиком обычно показывавшаяся наверху, между зубцами, не появилась, и никогда больше не появится!

В следующие дни он без усталости ходил по улице своей возлюбленной. Каким ужасным разочарованием дышали на него зеленые жалюзи! Нет слов, более жестоких для влюбленного, чем речи этих безжалостно спущенных деревянных брусков, словно издевающихся или отгалкивающих от лица женщины.

Гневное изумление одновременно и возбуждало и смущало его; безграничная злоба, сдерживаемая перед загадкой, но готовая раздавить виновного, как камень. В этом отдалении Беатрисы надо было искать новую интригу его соперников. Она невинна, и сама являлась жертвой того же обмана. Как знать, какие подозрения заронили они в ее сердце!

Однако, он не хотел пока думать о Гонсало. Верный своей горделивой привычке, он старался скрыть от самого себя всякую мысль о мести, чтобы гнев разразился лишь в минуту безошибочного возмездия.

Случаю было угодно, чтобы однажды, когда Рамиро проходил под окнами Беатрисы, дон Алонсо направлялся по той же улице к своему дому в ручных носилках, в сопровождении лишь нескольких слуг. Рамиро открыто поклонился ему, сняв шляпу. Идальго поспешно опустил глаза и едва ответил легким кивком головы.

— Пресвятая Дева, что это значит?! — воскликнул про себя юноша.

У него явилось искушение вернуться и прямо спросить дон Алонсо. Но нет ...!

Придя домой, и все более углубляясь в свои мысли, он нашел новое объяснение. К таинственной клевете, вероятно, присоединились справедливые слухи о его разорении. Дон Алонсо узнал о нем, и, может быть,

годы, охладили его сердце и сделали расчетливым, скупым.

И его снова охватило отвращение к этой „дрянной деревушке“, как назвал в минуту скуки их город сам дон Алонсо. Город-тюрьма, говорил он, где от праздности ржавеют благороднейшие сердца; где чрезмерная общность честолюбивых стремлений рождает чудовищнейшее соперничество; где живуг среди постоянного шпионства, где в каждой щелке притаился глаз, за каждой портьерой — ухо, в каждом вздохе — злой язык; где каждый великодушный порыв наталкивается на стены, толще и глуше тех, что тесным кольцом окружают город, и где, наконец, могут спастись от разочарования и отворачивания лишь те, что обладают достаточно мощными крыльями, чтобы в любой момент улететь к Богу. Рамиро понимал теперь, почему так много дворян бросают свои дома и уезжают жить в столицу или искать счастья и славы, во Фландрию, Италию, в Вест-Индию.

По мере того, как он размышлял о своем положении, его все сильнее одолевала неотступная мысль: попытаться счастья, поставить все золото, полученное от ростовщиков на риск минутной случайности. Может быть, он увеличит свое состояние до фантастических размеров. Ему рисовалось уже, как он покоряет капризную Фортуну и хватает ее за шею, словно сопротивляющуюся женщину. Он наполнит свои сундуки и будет на несколько месяцев богат. Это все, чего он хочет. В городе подумают, что ему удалось поправить свое состояние, и дон Алонсо снова раскроет ему объятия.

Он был уже однажды, вместе с одним юношей, в игорном доме возле Мостовых Ворот, где ежедневно собирались виднейшие местные дворяне. Там он встретился с дон Энрике Давила, заключенным сейчас в замке Турегано за расклепку мятежных воззваний; с Вальдивесо, Эредиа, с братьями Вердуго, с Антонио Мухика и многими другими знакомыми, не исключая Гонсало и Педро де-Сан-Висенте. Он нахлобучил на лоб фетровую шляпу и, набросив на плечи суконный плащ, направился, предшествуемый пажом, в игорный дом.

Луна еще не вставала и, спускаясь по Главной Улице

к Адахе, Рамиро смотрел на звезды. Ах, еслиб он мог прочитать, что таится в их блестящих и мерцающих письменах!

В пять часов утра он вернулся в свою комнату.

— А ваша милость не прочитали молитвы, входя в игорный дом или садясь за стол? — спросил паж, продолжая начатый у ворот разговор.

— Оставь, Пабильос, теперь не время думать о том, что я сделал и чего не сделал.

— Дело в том, что я думаю, что если бы ваша милость... Когда я был в Саламанке и сидел играть с товарищами, всякий раз, как я читал одну известную мне молитву, я отбирал у них все деньги.

— Должно быть, этим способом ты и скопил такие богатства?

— Не смейтесь, ваша милость, я в то время был в связи с самой любостыжательной женщиной в мире.

Пабильос взял шляпу и перчатки и, снимая с Рамиро плащ, испуганно воскликнул:

— У вас украли день? Господи помилуй!

— Веревка ушла следом за ведром, Пабильос.

— Вы ее тоже проиграли?

— Проиграл.

— Значит, ваша милость проиграли все свое имущество?

— Все.

— Ах, вот беда! На что же я куплю провизию завтра и в следующие дни?

— Вот и думай об этом, раз ты виллан! — воскликнул Рамиро, готовый рассердиться.

— Я не такой уж виллан, сеньор; всем известно, что Мартинес всегда были благородной кастильской крови, и еслиб не пожар, уничтоживший поместье моих предков, я мог бы показать вашей милости вот какие пергаменты, свидетельствующие о моем дворянском происхождении.

Потом, сняв с своего господина штаны, он пробормотал с вкрадчивой покорностью:

— Ваша милость не забыли, что генуэзцы предлагали двадцать дукатов за портреты ваших предков.

Рамиро уже лежал в постели и, отвернув лицо от света, чтоб заснуть, ответил сквозь зубы:

— Отдай их, отдай, Пабильос; но пусть знают ...

Конец фразы затерялся под одеялом.

VII.

Горько было пробуждение юного идадьго. Пабильос принес ему деньги от генуэзцев, которым на заре снес портреты; но, доложив о подробностях этого дела, сказал:

— Я должен также сообщить вашей милости, что проходя по Малой площади, встретился с Педро Сан-Висенте, младшим братом, который как-будто ждал меня. Он рассказал мне под большим секретом, будто дон Алонсо Бласкес решил пойти в монахи, как только выдаст замуж дочь, и что брат его, старший, по вечерам гуляет по улице сеньоры Беатрисы, и не более часа тому назад получил письмо, которое может быть только от нее, и она назначает ему свидание на сегодня; потому что он слышал сквозь портьеру, как брат его долго вздыхал и говорил: „Да, возлюбленная красавица моя. Да, я приду! Сегодня же, сегодня же! Что бы вы ни делали, сеньор Рамирильо!“ И дон Педро велел мне передать вашей милости эти последние слова точка в точку, потому что они имеют для вас очень большое значение.

— Стану я обращать внимание на болтовню этого пьяницы? — презрительно ответил Рамиро.

Однако, внезапная дрожь пронизала его с головы до пят.

Он послал за Медрано, рассказал ему о своем странном положении, о пренебрежительном отношении Беатрисы, о холодности дон Алонсо и о последнем сообщении пажа.

Оруженосец вдруг побледнел и ответил, поглаживая бороду:

— Девичья любовь — вода в корзине. — Потом под-

нял голову: — Не кроется ли под этим какой-нибудь каверзы звонаря Франко?

Рамиро, думая, что Медрано намекает на дело морисков, отрицательно покачал головой. Потом сейчас же, как человек, решивший немедленно разрубить узел, надел безрукавку из буйволовой кожи и опоясался шпагой, подаренной ему дон Родриго дель-Агила. Обнажив лезвие, он прижал эфес обеими руками к груди и долго молился. Кончив, он перекрестился рукояткой, скользнул по шпаге загадочным взглядом, и молча вложил ее в ножны.

Все было решено. Он приказал Медрано дежурить возле дома Беатрисы. Ему нужно было знать, что там делается, минута за минутой, на случай, если история с письмом окажется правдой. Он сам пойдет ждать к воротам Сан-Висенте, а Пабильос будет исполнять роль гонца.

Был двенадцатый час утра, когда Рамиро и его слуга вышли из города; свернув налево, они направились по наружной дороге, проложенной с южной стороны под городскими стенами. Паж шел впереди с оживленным и счастливым лицом; хотя желудок его был пуст, как барабан, он инстинктом чуял, что здесь пахнет приключением, которое для него стоило хорошего обеда. Господин его не охотник до церемоний, и если соперник явится с музыкой под окна его дамы, то, конечно, произойдет стычка, достойная улиц Саламанки. Сам он обладал самыми резвыми ногами в королевстве, и если его неожиданно не ослепят, надев ему на голову пробитую об его же темя гитару, как это случилось однажды на берегах Тормеса, то за себя он был совершенно спокоен.

Утро было свежее и ясное. Пабильос чувствовал в крови кипение жизни, зуд пляски, бешеное желание топтать ногами по земле, кричать ветрам длинные пронзительные песни, которые отдавались бы эхом на холмах. Весна одела пшеничные поля блестящим волнующимся шелком, покрыла зеленой с серебром ризой бурый подрысник земли. Солнце играло на слюде камней, на лемехах плугов, на воде реки и низвергало словно ливень света на далекие горы Вильяторо. Все казалось пропитанным светом и утренней прохладой: звон коло-

колов, стук наковален, пение ткачей и лудильщиков в мавританском предместье Сантьяго. Несколько женщин жгли у подножия холма груды сухих листьев, и терпкий деревенский запах, ароматнее ладана, наполнял всю окрестность. Рамиро невольно вспомнил о своей любви к сарацинке.

Дойдя до ворот Сан-Висенте, он сказал пажу, чтобы тот ждал здесь, сам же он будет находиться против северной стены.

Время перешло за полдень, а Рамиро не получил никаких сообщений. Наконец, часов около пяти Паблильос пришел сказать ему, что дон Алонсо только что покинул в крытых носилках свой дом, и что, по словам одного старого лакея, этот сеньор с некоторого времени проводит ночи в монастыре Санто-Томас.

День умирал. Рамиро сел на камень и почти закрыл лицо полями шляпы. Лиловатая земля точно колыхалась у его ног в обманчивом трепетании полутени.

Время от времени молодой идальго поднимал голову и взгляд его блуждал кругом, равнодушный к волшебному блеску неба, к очарованиям пейзажа; но в душе его бессознательно запечатлевалась суровая красота этого приюта страстей и возвышенных порывов.

Перед тем как скрыться, солнце умирающим пожаром своим зажгло небесное золото. Зрачки Рамиро расширились.

Унылая печаль сразу окутала суровые внушительные стены. Рамиро думал о том, что башни следуют одна за другой через равные промежутки, как Отче наш в четках; что зубцы — это молитвы Богородице, а Собор, с его выдающимся куполом — крест, наполненный мощами святых и рыцарей.

Когда Паблильос явился без новых вестей, господин его заявил, что пойдет молиться в пещеры Сан-Висенте, и действительно пошел припасть к ногам Божьей Матери Подземелья.

Подходя к базилике, он опустил руку в карман и вынул четки о пятнадцати ступенях, подаренные ему первым его наставником, братом Антонио-де-Хесус. То были старые четки из Святой Земли; их зерна, выточен-

ные из верблюжьих костей, были нанизаны на толстый и плотный шнурок из белого шелка.

— „Носи всегда с собой это вервие для удушения бесов“ —, сказал, давая их, францисканец.

В церкви было пусто и темно. В алтаре горела серебряная лампада. Станный голубой с золотом памятник Мучеников показался Рамиро таинственнее, чем когда-либо. Он спустился в усыпальницу. Вокруг чудотворной иконы горели свечи. Две женщины, распростертые ничком на полу, стонали в углу; совершенно закрытые накидками, они напоминали двух огромных умирающих летучих мышей.

Рамиро набожно перебрал все пятнадцать ступеней своих четок. Затем, решив, что в наступившем сумраке сможет пройти неузнанным по улицам, он направился в город через ближайшие ворота, и встал в нескольких шагах от дома Беатрисы.

Он ждал долго.

Вдруг его задела человеческая фигура и прошла мимо. Немного спустя появился патруль. Впереди шел полицейский, размахивая по сторонам копящим фонарем с решеткой. Свет его ярко озарял лица дозорных. Рамиро узнал внушительное лицо альгуасила Педро Ронко. Брови и усы его казались нарисованными углем на белой, как сало, коже. Властный топот ног и звон сабель мало-помалу удалился.

Тогда он услышал голос:

— Сеньор! Сеньор!

Это был Пабильос.

Он сообщил, что несколько минут тому назад, человек в маске остановился против дома дон Алонсо, и что в тот момент, когда Медрано посылал его с этой вестью, показался другой замаскированный человек, подошел к первому и грубо его окликнул. Они уже готовы были вступить в рукопашную, как вдруг появился патруль. Альгуасил Педро Ронко сорвал с них маски, осветил лица и узнав обоих братьев Сан-Висенте, строго пригрозил младшему и приказал ему немедленно удалиться, если он не желает попасть в тюрьму. Старший тоже ушел; но, по мнению оруженосца, наверное, скоро вернется.

Рамиро перешел на соседний угол. Встретившись там с Медрано, он приказал ему и пажу оставить его одного.

На востоке собиралась выплыть луна, потому что с этой стороны начинали обрисовываться треугольные зубцы стены.

Больше часа провел Рамиро, не отрывая глаз от дома Беатрисы. Минутами ему казалось, будто калитка в воротах отворяется и снова затворяется. Вдруг в отверстие выглянула женская фигура. По белой токе и необыкновенной толщине он узнал донью Альварес. Набравшись храбрости, она высовывалась все дальше. Наконец, тихонько свистнула несколько раз. Никто не ответил. Калитка затворилась.

Рамиро подумал уже, что Гонсало, вероятно, не придет в эту ночь, как вдруг увидел идущую по улице мужскую фигуру; поровнявшись с домом Беатрисы, она остановилась под окнами.

Рамиро обнажил шпагу и, взяв ее за лезвие через плечо, быстро пошел вперед, держась темной стены. Это был Гонсало! Лицо его было закрыто черной тафтой, но Рамиро сразу узнал его по белому перу, прикрепленному к берету красивой бриллиантовой пряжкой, и по серому плащу, в котором он раньше видел его в игорном доме.

В ту минуту, когда юный рехидор собирался постучать в ворота, Рамиро подбежал к нему и схватил за поднятую руку. Потом, скомкав на лице его маску, сорвал ее яростным движением. Сан-Висенте тоже выхватил шпагу и с криком: „Умри!“ бросился на своего противника. Но тот уже ждал его, вытянув шпагу.

Гонсало остановился и, свирепо размахивая шпагой, снова крикнул:

— Проси прощения, предатель!

— Это вам, негодяй, надо просить прощения за вашу гнусную клевету.

— Так умри же, мавританская собака! — закричал Сан-Висенте.

— Говорите тише, сеньор рехидор, если не хотите, чтоб вам на помощь явился патруль.

— Не имею в нем надобности.

-- Тогда, если вам угодно, поищем какого-нибудь более укромного места, где звон шпаг не привлечет какую-нибудь дуэнью, которая может принять его за звон золота в вашем кошельке.

— Пойдемте, куда хотите.

Оба вложили шпаги в ножны; Рамиро свернул в узенькую улочку и пошел на север-восток, к глухому закоулку в стенах, замеченному им однажды во время прогулки.

Гонсало шел слева; в неверном лунном свете серый плащ его казался вытканым из серебра.

Дойдя до больших старинных ворот, Рамиро остановился и попробовал снять засов. Гонсало помогал ему, напирая плечом. Наконец, после тщетных усилий, они решили перелезть через забор. Гонсало оперся ногой на колено Рамиро, потом, сидя верхом на заборе, протянул сверху сопернику руку; и оба помогали друг другу, как на дуэлях в рыцарских романах, и как поступали отменно учтивые и отважные Амадис, Рухеро или Эспландиан¹⁸³⁾.

Это была заброшенная каменоломня. Скала, образовавшая сплошную глыбу в виде холма, не допускала возведения никаких жилых построек на своем каменном панцире, древнем, как мир. Стена возвышалась справа, зубчатая, бурая, величавая, окутанная жуткими тенями.

Выбрав место поровнее, молодые люди сбросили на землю плащи. Гонсало отбросил также и круглый щит, висевший у его пояса. Небо, затянутое прозрачными облаками, разливало над безмолвным городом таинственное мерцание зари. Со стороны востока перламутровый ореол окружал скрытую жемчужину полной луны.

Шпаги скрестились.

Гонсало искусно парировал удары, выжидая благоприятной минуты. Рамиро, с своей стороны, делал смелые и щегольские выпады, с невероятными мулине¹⁸⁴⁾; губы его, раздвинутые жаждой убийства, обнажали блестящие зубы.

¹⁸³⁾ См. прим. II позади текста.

¹⁸⁴⁾ Мулине — фехтовальный термин: быстрое вращательное движение шпагой.

Сан-Висенте чувствовал, что утрачивает свое искусство при виде этого жестокого лица, все — уверенность, все — сила, все — отвага; наконец, боясь окончательно ослабеть он сделал ложный выпад и поразил Рамиро прямым, быстрым, как стрела, ударом. Сталь прорезала насквозь бок безрукавки и скользнула по телу. Тогда Рамиро, в инстинктивном порыве, сделал два крупных шага вперед, чтоб шпага противника глубже проникла в кожу безрукавки и, повернув сам свою шпагу, как кинжал, одним ударом вонзил ее Гонсало в середину груди. Потом с ожесточением протолкнул глубже, сквозь безрукавку, всю целиком, до самой рукоятки.

Гонсало воскликнул:

— Кончено!

И упал, захлебываясь струей черной крови.

Руки и ноги его дергались с минуту, а помертвевшая голова склонилась на бок и упала на камень.

Глядя на распростертое у своих ног безжизненное тело соперника, Рамиро прочитал горячую молитву Богоматери Подземелья. Он отмщен! Словно сам источник гордости залил вдруг все его тело огромной и жестокой радостью. Он чувствовал, как перо его шляпы поднялось на ветру, словно гребень, чувствовал в ногах странное ощущение непобедимой силы. Ему хотелось бросить луне, из всей силы легких, воинственный клич своих предков.

Охваченный внезапной мыслью, он наклонился над трупом, расшнуровал завязки камзола и вынул лежавшее между безрукавкой и окровавленной рубашкой письмо без конверта. Развернул его. Свет был очень слаб; но, подняв голову, он увидел, что луна скоро выглянет в прорыв меж туч. Немного спустя, он прочитал следующее:

„Ваша милость может пожаловать нынче ночью, после одиннадцати. Постучите тихонько в калитку сначала три раза, потом два. Я вам открою. Тогда пройдите через двор и сад и поднимитесь в стенную башню. Госпожа моя придет туда побеседовать с вашей милостью.

Ваша верная служанка, А л ь в а р е с.“

Обеими руками он схватился за голову. Возможно ли?! Неужели Беатриса...? Нет ли во всем этом какой-нибудь гнусной хитрости дуэньи? Узнать это было нетрудно. Он перестал раздумывать; мгновенно, с нервной стремительностью, сменил свою черную шляпу на берет Гонсало. Потом подтащил труп к краю ямы, зиявшей подле стены, и сильным ударом ноги столкнул его вниз. После этого, подняв с земли светлый плащ убитого, закутался в него, а свой свернул и спрятал под мышкой.

Собираясь перескочить обратно через забор, он увидел за ним два смутных лица. Он вздрогнул. Но то были Медрано и Паблильос, наблюдавшие с этого места всю сцену. Когда он спрыгнул на улицу, оруженосец подхватил его на руки и воскликнул:

— Клянусь Богом, мастерской удар! Но бежим, бежим скорее, а то как бы не вернулся патруль.

Рамиро на этот раз приказал им не допускающим выражения тоном идти домой и ждать его, и передав им свой плащ, шляпу и щит, решительным шагом направился к дому Беатрисы.

Подходя к воротам, он заметил на земле маску Гонсало, быстро поднял ее и надел на лицо.

Он постучал пальцами три раза, потом еще два. От бархата плаща пахло женскими духами. Ум Рамиро начал туманиться. Перед глазами его несколько раз мелькнула подушка Аишы, расшитая золотом и драгоценными камнями. Он заметил, что гвозди на воротах украшены львиными головами. Постучал снова. Он точно опьянел от крайнего волнения. Наконец, засов слабо скрипнул и калитка приотворилась; донья Альварес высунула голову и, посмотрев на него с минуту, вполголоса проговорила:

— Наконец-то, сеньор дон Гонсало!

Потом, открыв совершенно калитку и нетерпеливо махая рукой, прибавила:

— Скорее, скорее; пройдите двор и сад и поднимитесь в башню.

Очутившись на верхней площадке башни, откуда мальчиком он в обществе карлика часто любовался закатом, Рамиро прислонился к зубцам и стал ждать. Непости-

жимая апатия охватила его: какая-то бессознательность, смутность чувств, похожие на начинающееся опьянение. Ум его размышлял, не соображая. Ночная прохлада вызывала улыбку.

Глубоко внизу волнистой линией желтели ржавые, как железо, холмы. Монастырь Воплощения с унылыми бледными стенами почивал в ночи блаженным сном. Мутный свет реял над обителью чистоты и страдания, как будто стены ее заключали в себе сад священных лилий. Низкие облака, похожие на потрескавшиеся льдины, покрывали небо, пропуская робкий пепельно-серый свет, благоприятствующий всяким волхованиям. Временами пели петухи, как перед зарей. Где-то внизу, у стены, жутко выла собака.

Вдруг на лестнице послышался шелковый шелест платья.

Рамиро выпрямился.

Окутанная черным покрывалом, на башне показалась женщина: рука в перчатке изящным движением откинула капюшон. Бледное лицо Беатрисы засияло тогда мраморной белизной, а блестящие волосы ее, схваченные золотым обручем, отливали во мраке синеватым блеском темных лат. Два локона отделились от остальной массы и извивались на ветру, словно две змеи.

Сапфирового цвета юбка ее была расшита широкими серебряными галунами, а ткань корсажа исчезала под бисером и канителью — стеклярусная кольчуга, безостановочно мерцавшая, как взбаламученная вода. Девушка подняла голову и с минуту стояла неподвижно с полужакрытыми глазами. Губы ее, казалось, пили текущий свет, струившийся с неба.

Рамиро точно обезумел при виде этого явления. Все существо его превратилось в один безумный порыв, в пламя, стремящееся пожрать находящийся рядом с ним тонкий газ. Перед ним стояла Беатриса, его Беатриса, его владычица, обожествленная волшебством ночи и безмолвия. Он забыл свои подозрения; забыл записку доньи Альварес и только что разыгравшуюся драму; забыл, как пьяный, как безумный, что на нем чужое платье; забыл, что лицо его скрыто маской, и ему показалось, что после

безнадежного сна, он встретился, наконец, с своей возлюбленной, на башне заколдованного замка, как супруг ее и господин. Он подошел к ней и нежно обнял. Беатриса слабо отстранилась. На влажных губах ее мерцало маленькое голубое пятнышко, капелька луны!

Сначала то был идеальный, почти бестелесный поцелуй, сорванный как-будто одним дыханием, в безмолвной вышине, над спящим городом и полями; но вскоре робкое прикосновение разбудило чувства, и уста слились, крепко сжались под яростным натиском мужчины. Беатриса застонала, не в силах вырваться, а Рамиро чувствовал, как по всему телу его пробегает трепет неземного блаженства. Наконец-то, он добился желанной, так долго жданной ласки! То был ее поцелуй, поцелуй Беатрисы, грезившийся столько раз! Но вдруг, среди этого безумного восторга, в мозгу его блеснула вспышка разума. Действительность внезапно ранила его сознание. Это было ужасно. Губы его еще вздрагивали на лице девушки, а он вдруг подумал, что на нем плащ и берет убитого, и на лице маска; что Беатриса, несомненно, думает, что находится в объятиях Гонсало, и наконец, что, этот поцелуй — поцелуй другого, победа другого, высшая ласка, предназначавшаяся другим губам, другому мужчине!

В это мгновение девушка подняла голову и страстно воскликнула:

— Ах, Гонсало, как я счастлива!

И снова протянула к нему ненасытные уста.

Вихрь безумия мгновенно закрутил Рамиро. Все существо его зашипело, как раскаленное лезвие, которое оружейник сразу погружает в воду. Он чувствовал, что ум его крутится в черном омуте, слышал в своем мозгу лай мрачных гениев мести; он видел только одну мысль, одну потребность, одну справедливость: истребление, смерть!

Однако, не в силах удержаться, он принял новый поцелуй Беатрисы, ответив на эту ласку бешеным укусом. Она закричала сквозь зубы, и так отчаянно стала отбиваться, что, в конце концов, вырвалась. Тогда Рамиро, сдернул с себя маску и прорычал:

— Тварь! Продажная тварь! — и девушка увидела его лицо.

Она не могла произнести ни слова. Из полураскрытого рта ее, черного от ужаса, вырвался глухой, невнятный, зловеющий стон. Рамиро бросился на нее, повалил на пол у парапета и зажал рот накидкой, чтоб заглушить ее крики. Он нащупал кинжал, и уж хотел выдернуть его из ножен, но инстинкт внезапно остановил его. Ремень! Веревку! Где взять? Что-нибудь, что можно завязать! Обезумев, он старался отстегнуть пояс, подвязки, перевязь шпаги, даже ленту на шляпе. Вдруг судорожная рука его скользнула по зернам четок брата Антонио, висевших из кармана. Под внушением Ада, он не колеблясь выхватил их, раскусил зубами возле креста, сбросил несколько зерен, и обмотав вокруг шеи Беатрисы, стал тянуть обеими руками в разные стороны, пока не затянул на нежной шейке страшного узла.

Потом сошел вниз. Миновал сад и двор. Сонная дуэнья ждала у калитки. Он вышел, не разбудив ее, но пройдя несколько шагов по улице, услышал за воротами как будто голос доньи Альварес. Он ускорил шаги и умышленно обронил на мостовую берет и плащ Сан-Висенте.

Пройдя площадку перед собором и миновав Главную Улицу, он подошел к своему дому. Оруженосец ожидал его у ворот. Оба исчезли в калитке.

VIII.

Уволив пажу и дав ему на прощание несколько дублонов, Рамиро условился с Медрано встретиться в назначенный день в маленькой деревеньке Себрерос, и на заре выехал из города.

Для выезда он избрал ворота Антонио Вела. Когда справа от себя он увидел предместье Сантьяго, ему вспомнилась его связь с красавицей-мавританкой, и он подумал, что эта женщина была причиной всех его несчастий, всех заблуждений и разочарований. Почем знать, не замешано ли во всем этом какое-нибудь колдовство! Он вспомнил последний взгляд ее на суде, и одно воспо-

минание об этих глазах наполнило его душу суеверной тревогой.

Подъехав к первым холмам, вздымавшимся с восточной стороны, он остановил коня. Окрашенная нежными тонами утра белая дорога бежала в будущее. Поехать по ней значило отправиться в поиски новой жизни. По обеим сторонам ее в косых лучах солнца блестели полосы росистого тмина. Рамиро повернул голову. Город призывал его нудным, вероломным голосом, а гордая стена, красная от лучей зари, вызвала в его уме мысль о красной мантии палача.

Вернуться значило умереть, — умереть, обремененным грехами, погубить навеки душу.

Доехав до первого перекрестка, он остановился. Сознание твердило ему, что если найдут тело Гонсало де-Сан-Висенте, то правосудие, несомненно заподозрит Педро, и сочтет его убийцей брата и Беатрисы. Вместо него будет осужден невинный.

Не зная, на что ему решиться и обуреваемый сомнениями, Рамиро решил последовать указанию свыше. Прочитал Отче наш и Богородицу, потом повернул лошадь головой к северу и выпустив повод, пришпорил ее. Лошадь взвилась на дыбы, но в следующую секунду, чудесным образом удаляясь от конюшни, во весь карьер помчалась по дороге к Себрерос.

— Божья воля! — подумал Рамиро. — Ее подстегнул ангел!

Вскоре он углубился в узкие горные проходы. Сбиваясь иногда с пути от неопределенных жестов пастухов, которые указывали ему обыкновенно какую-нибудь козью тропу на краю пропасти, и проехав под убийственным ветром ужасные горные степи, где не раз его охватывало желание лечь ничком на песок и так умереть, — он въехал, наконец, в один дождливый день, в Себрерос, в час съесты.

Он остановился на постоялом дворе на окраине и вечером лег спать на одеяле, между мехами с вином. Голоса нескольких мужчин, находившихся в комнате, не давали ему заснуть. Старый священник и крестьянин

с бритым лицом епископа обменивались первыми вопросами:

— А куда направляется ваша милость? Можно узнать?

— Сделайте одолжение. Я еду в столицу¹⁸⁵⁾, а оттуда в Толедо.

— Ваша милость из этих мест?

— Я из Торнадисос; но на старости лет мне захотелось увидеть ауто-да-фе¹⁸⁶⁾. Кроме того, капеллан монастыря Святой Клары мне приходится дальним родственником, и я хочу навестить его.

— Так, так... А я здешний, то есть, с равнины. Здесь родился и здесь же прожил все свои годы, а будущим Рождеством мне стукнет ровнехонько шестьдесят три. Отец мой — упокой Господь его душу! — был чистокровный идальго; но чтоб не умереть с голоду своих многочисленных детей, ему пришлось взяться за ремесло кожевника. Умер он от болезни, которую называют...

Священник воспользовался этой заминкой, чтоб заговорить самому, и стал рассказывать, что, несколько дней тому назад, через его деревню провезли двух мавританок из Авилы; их везли в зеленой телеге на инквизиционный суд в Толедо. Одну из них, знаменитую колдунью, дьявол вдобавок наделил изумительнейшей красотой. Один из конвойных рассказал ему, во всех подробностях, преступление обеих женщин.

И Рамиро услышал искаженную историю раскрытого им заговора.

— Кроме того, погонщик мулов, ехавший с этими людьми, — продолжал священник, — уверял меня, будто красивая мавританка, при помощи дьявольского зелья, околдовала одного из самых храбрых и набожных юношей этого благочестивейшего города. так что в короткое время тот отрекся от веры Господа нашего Иисуса Христа и примкнул к их заговору.

¹⁸⁵⁾ Мадрид.

¹⁸⁶⁾ Ауто-да-фе — португальское выражение, собственно „судбное действие, касающееся веры“. (По-испански: ауто-де-фе.)

— Спаси нас Господь и Пресвятая Богородица! — воскликнул крестьянин, в ужасе осеняя себя крестом.

Рамиро приподнялся на своей подстилке. Великий грех, великий позор его жизни облекся плотью, вышел за стены Авилы и странствовал теперь по постоянным дворам и дорогам.

Винный запах мехов, навозные испарения конюшни и беспрестанные укусы блох усиливали его мучительное состояние, и он видел во всем этом живой символ своего падения. Он чувствовал себя униженным и сокрушенным перед Богом, но гордость его злобно восставала при мысли о людях.

Прошло три дня, Медрано не появлялся. Рамиро решил ехать дальше, не дожидаясь его. Стояло дивное утро первых чисел мая. Он сам вывел своего коня под навес постоянного двора и уже собирался занести ногу в стремя, когда глаза его, ослепленные отблеском ярко-белых стен, увидели приближавшегося верхом на лошади хорошенького маленького пажа, как будто делавшего ему издали знаки. Наконец, паж под'ехал к нему и, спрыгнув на землю, застенчиво и со слезами взял его обе руки и поцеловал.

Это была Касильда, в ливрейном камзоле. Но ресницы ее, волосы на висках и все лицо были до такой степени покрыты пылью, что Рамиро не сразу узнал ее. Она рассказала, что в день его от'езда Хосе Франко, соборный звонарь, вернулся в церковь с сабельной раной на лице, и когда сеньоры каноники стали расспрашивать его, не пожелал ответить ни слова. Потом прибавила, что отца ее посадили в тюрьму до тех пор, пока не выяснится истинное происхождение этой раны.

— Он приказал сказать вашей милости, чтобы вы продолжали свой путь, сняли бороду, и ехали дальше, дальше-скорое, скрывая свое имя.

Затем, опустив глаза и краснея под белой пылью, покрывавшей ее лицо, она прибавила, что приехала предложить ему свои услуги и готова сопровождать его в качестве пажа, куда он пожелает.

— Нет, — холодно ответил Рамиро, — вы будете нужнее вашему отцу, чем мне. Вернитесь скорее к нему

и скажите ему под большим секретом, что я еду в Толедо и буду ждать его там.

Увидя, что священник и крестьянин вышли из постоялого двора, он быстро снял с правой руки перстень и отдал девушке, говоря:

— Возьмите это кольцо, может быть, оно вам на чтонибудь пригодится.

Потом небрежно кивнул головой, вскочил в седло и припори́л коня.

Он проезжал бесплодные, серые равнины, прорезанные редкими холмами, похожими на вытянутые хребты мулов, избегал городов и деревень, спал под открытым небом. там, где заставляла его ночь, и, наконец, однажды утром увидел перед собой знаменитый город церковных соборов и оружейных мастерских. Путь его не ознаменовался никакими особыми приключениями, кроме одного случая, когда на него напала шайка разбойников, и предводитель их, знаменитый грабитель Авенданьо, восхищенный его храбростью, приказал вернуть ему деньги и драгоценности и предложил поступить к нему в шайку, в качестве первого своего помощника.

В то время, как соборный колокол отбивал двенадцать ударов полудня, конь Рамиро шаг за шагом ступал по залитому солнцем мосту Алькántара.

Рамиро был в Толедо.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

I.

Две первые недели Рамиро провел, бродя по улицам и площадям Толедо, без товарища, без пажа, без любовного увлечения, одинокий среди шумной толпы.

Любопытство приезжего поднимало его раньше обыкновенного с постели, и почти каждое утро, миновав Сокодовер¹⁸⁷⁾, он направлялся по Оружейной улице к мосту Сан-Мартин, спокойным и неторопливым шагом, приличествующим человеку его происхождения. Здесь, прохаживаясь взад и вперед по настилу моста, или лениво прислонясь к парапету, он проводил час или два, без всякого иного развлечения, кроме созерцания, в приятной утренней прохладе, прибывающих деревенских припасов. Глаза его с удовольствием останавливались на пестром смешении разноцветных одежд, грубых загорелых лиц, полных корзин, и пыльных стад ослов, волов и баранов. То была ежедневная дань Веги¹⁸⁸⁾ и окрестных долин, направлявшаяся в город по головокружительно высокому мосту, позлащенному утренним солнцем, — вся нива, все луга, все виноградники, с деревенскими запахами, мычанием, звоном колокольчиков, песнями. Иногда молодой авиланец брал из какой-нибудь корзины на несколько медяков мосамборосского или ахофринского винограду, холодного от росы.

Возвращаясь, он с трудом проходил под многочисленными арками старинной зубчатой башни, венчавшей конец моста. Ноги его попадали в волнующееся стадо коз или баранов; здесь осел наступал ему копытцем на сапог, там какая-нибудь коровница отстраняла его ударом кулака. Нельзя было не оглохнуть под сводом этих ворот, где крестьяне, словно нарочно, старались кричать

¹⁸⁷⁾ Сокодовер — главная площадь в Толедо.

¹⁸⁸⁾ Вега — долина, в данном случае долина реки Тахо.

погромче, а колокольчики животных гудели, словно церковные колокола.

Несколько позже, полюбовавшись приспособлением Хуанело ¹⁸⁹⁾, поднимавшим воду из реки в Алька́сар, или осмотрев, одну за другой, выставки оружейных мастеровских, он заходил в церкви; и почти всегда, за час до вечерней молитвы, лишь подкрутив слегка усы, являлся на Сокодовер и гулял по площади или под аркадами до позднего вечера. Небритая борода, бледное лицо, дорожные сапоги, широкополая шляпа, длинная шпага и поношенное, пыльное платье придавали ему вид фламандского солдата, только что вышедшего из госпиталя Санта-Крус.

Это безвестное существование, без честолюбия и страстей, погружало его в состояние, напоминающее безмятежное настроение выздоравливающих. Он почти забыл об оставшейся за его спиной трагедии, и был уверен, что свободе его не грозит никакая опасность. Поэтому, он не испытывал никакой тревоги, кроме покоя. при воспоминании о своей любовной связи с мавританкой, и с легким сердцем спустил чуть не задаром последние свои драгоценности и только стеснявшего его коня. У него образовалось несколько дублонов, избавивших его на некоторое время от унижительной нужды в деньгах.

Сердце его терзала уже не несчастная любовь и не смерть неверной Беатрисы. Все это было как бы трагической страницей, навек перевернутой, роковой случайностью, отнюдь не могущей быть поставленной ему в вину. „Изменившая жена или невеста, — сказал он себе, — тотчас же превращается в нашего злейшего врага; раз преступление ее раскрыто, не остается ничего иного, как безжалостно убить ее, и потом забыть, забыть совершенно, вычеркнуть из сердца самое ее имя, зарыть поглубже всякое воспоминание о ней, как зачумленные лохмотья.“ Таков старинный закон чести. Зато краткий

¹⁸⁹⁾ Хуанело — итальянец Джованни Турриано из Кремоны; соорудил в 1568 г. в Толедо водоподъемную машину, прозванную „Artificio“, т. е. хитроумное измышление; она вскоре испортилась.

рассказ священника на постоялом дворе в Себрерос, вновь пробудил в его душе колебания и угрызения, которые он считал уже исчезнувшими навеки. Совершенно неожиданно, давнишние сцены связи с Аишей воскресли в его памяти с мучительной яркостью, и он стал думать, что все величайшие грехи в его жизни не могут сравняться с этим одним грехом, и что душа его погибла для вечности, если ему не удастся искупить столь тяжкой измены государству, памяти предков и Святой Христовой Церкви.

В то же время его начал терзать странный страх. Что это за рассказы о волшебном зелье, которым его, будто бы, незаметным образом напоили? Может быть, и в самом деле, тут замешано, как говорил священник какое-нибудь приворотное зелье, какой-то дьявольский напиток? Он вспомнил какой загадочный, необыкновенно глубокий взгляд, бывшая его любовница бросила на него перед инквизиционным трибуналом, когда ее снова повлекли на пытку, и подумал, что она напустила на него страшную порчу, действие которой может продлиться во весь остаток его жизни.

— Что за непонятное побуждение, — спрашивал он себя дальше, — заставило меня направиться в Толедо, куда солдаты Святого Судилица должны доставить и ее?

Это последнее соображение вызывало в нем по временам дрожь и наполняло нечеловеческим страхом; иногда же, наоборот, внутренний успокаивающий голос шептал ему, что Господу угодно было привести его в город казни, дабы осушить огнем костра болото его былой похоти.

В иные дни он долгими часами бродил по Собору, как по каменному лесу, расцветенному пылающими от солнца витражами, и, размышляя о своем грехе, бросался на колени в сумраке часовен. Но в минуты жгучей тоски он предпочитал одну из более уютных церквей как например, церковь Святого Андрея, Сан-Торкато, Санто-Доминго-эль-Реаль, Сан-Хуан-де-ла-Пенитенсия, и забивался там где-нибудь в уголке, у пустынного алтаря, закрыв лицо руками. Или же заглушал свою скорбь бесконечной ходьбой по улицам.

Тоledo покорял его своей сложной таинственностью. То был город совершенно непохожий на его родной город. Авила, помимо незначительных размеров, была проста, определена и понятна. И наоборот, ничего не было легче, как заблудиться в причудливых арабесках узеньких улиц Тоledo. Небо здесь всегда было видно, как из глубокого рва, и густая синева его выделялась узкой полоской между двойными рядами темных выдавшихся над улицей крыш. В некоторых улицах, тесных, как коридор, фасады домов были всегда темны, и только на самом верху на белой штукатурке вдруг загоралась неожиданная солнечная ленточка.

Над этими тонувшими в тени каналами, закрытые балконы маячили словно таинственные и что то высматривающие сундуки. Порой белая, как снег, рука появлялась между жалюзи и бросала Рамиро цветок или кусочек „алькорсо“¹⁹⁰⁾. Толстые окованные железом ворота напоминали о бдительности старинных сералей¹⁹¹⁾. Рамиро ощущал запах Востока; во всем ему чудилось волшебство, чернокнижие, Коран; и сердце его сжималось от религиозной ненависти, еще сильнее распаленной угрызениями совести, когда он проходил по мавританским кварталам, меж ниш, заваленных разноцветными шелками, красными колпаками, зерном, пряностями, духами. Стены на высоте человеческого роста почернели от того же лезвиевого прикосновения бесчисленных спин и плеч, от которого заметно утончаются колонны мечетей. Скрестив на прилавке волосатые ноги, какой-нибудь обращенный заманивал покупателей, громко ударяя в чашку своих медных весов. Здесь царили та же неумолчная болтовня, та же жестикуляция, те же яростные и безобидные угрозы, что и в предместье Сантьяго; но во много раз шумнее. Порой, проходя мимо окна, Рамиро слышал шум мавританской самбры¹⁹²⁾, и воображение, помимо его воли, рисовало ему босые, звеневшие браслетами ноги Аниси, ее накрашенные губы и тяжелые от любви и колдовских чар ресницы. Тогда глаз его искал суровых

¹⁹⁰⁾ Печенье из рисового крахмала с сахаром.

¹⁹¹⁾ Сераль — женская половина в турецких дворцах.

¹⁹²⁾ Самбра — шумное мавританское празднество.

эмблем религии: выставленных на улицах икон, высоких монастырских стен и, наконец, победоносного креста на верху колоколен, где еще блистали глазурные изразцы оставшейся после неверных облицовки.

Он вспоминал старинные предания, какие ему приходилось читать или слышать о Толедо — развратные истории, распространявшие, как одежды любовников, запах лихорадки и похоти. И потому город этот говорил с ним языком его собственной скорби, являлся как бы телесным отображением его души.

Толедо был город раскаяния и скорби, город искупления. Монастыри его смывали кровью и слезами нечестие сералей, разврат бань и диванов¹⁹³). Непреклонная девственность монахинь, в конце концов, навеки изгнала тень Шариф и Галиан¹⁹⁴). Иссоп освятил мечети, сняв чары с михрабов¹⁹⁵) и бассейнов для омовений. Толстые слои известки покрыли и растворили арабески. Исступленные голоса монахов на темных клиросах заглушили в памяти последние отголоски пения муэззинов. Воск и масло горели, не угасая. Древние минареты оплакивали свой позор рыданиями христианских колоколов.

Мечта о загробной жизни, жажда вечного спасения пылала в лихорадочных глазах идальго, одетых почти всегда в черное. Даже дома сделались похожи на монастыри. Жизнь в них протекала бесшумная, тусклая. Маленькая лампадка постоянно озаряла в темных прихожих образ какой-нибудь Богоматери, как у ворот беггинских монастырей, а сквозь жалюзи наружу плыли церковные ароматы. Этот оскверненный маврами и евреями город, представлялся Рамиро как бы единым существом, погруженным в беспредельную религиозную скорбь; и в предвечерние часы ему чудилось, будто на улицах его он вдыхает веяние вигилий¹⁹⁶), лихорадочное дыхание бессонницы и покаяния.

¹⁹³) Диван — государственный совет в мусульманских странах.

¹⁹⁴) См. прим. II позади текста.

¹⁹⁵) Место в мечети, куда во время молитвы верующие обращают глаза.

¹⁹⁶) Бодрствование. Также — канун праздника и предпраздничное богослужение.

Ему тоже надо было очистить свое сердце от бесов, стереть с него следы похоти и отступничества, и навсегда уничтожить позорное воспоминание, воздвигавшееся, как неприступная скала, между Богом и его душой.

Однажды, сидя на скамье на Сокодове, Рамиро разговорился со старым оружейником Доминго де-Агирре. Было время послеобеденного отдыха. Казалось, будто с боем часов, пробивших час, на город вдруг спустились гипнотические чары. Все мгновенно погрузилось в оцепенение. Даже разносчики повалились рядом с своим товаром там, где их застал бой часов. На площади многие спали, накинув на голову капюшон. Все лентяи и зеваки, сводники, нищие, увечные солдаты, безработные ремесленники, господа с нафабранными усами, при шпагах и в цветных штанах, и не один неимущий идальго наслаждались в перемежку общим покоем под полуденным солнцем. Дома с ослепительной белизной вырисовывались на сапфировом небе. Вдалеке во дворах пели петухи.

Рамиро внимательно рассматривал эти груды коричневых и зеленоватых плащей. А сидевший слева оружейник изредка поглядывал на него, как бы желая завязать разговор. Наконец, он указал на висевшую у Рамиро на перевязи шпагу и вполголоса проговорил:

— Не разрешит ли кабальеро полюбоваться вблизи его прекрасной шпагой?

Рамиро с готовностью подал ее.

Тот вытянул из ножен клинок приблизительно на четверть и внимательно осмотрел ближнюю к рукоятке часть.

— Не даром, — сказал он, — эта шпага сразу бросилась мне в глаза. Вот клеймо моего отца, Ортуньо де-Агирре, упокой Господи его душу!

Потом, обнажив совершенно клинок, он взял его другой рукой за конец и, согнув, как тростинку, быстро выпустил. Металл зазвенел, как далекий колокол.

— Да! теперь таких шпаг уж не выковывают; сеньор идальго, — добавил он. — Сталь с каждым днем становится все грязнее, а закалка хуже.

— Да, говорят, будто затерялись какие-то секреты, известные в старину, — отозвался Рамиро.

— По части секретов, сеньор, должен сказать, что их никогда не было. Вода Тахо все та же, грязи ее не изменились, огонь остался огнем, а то, что надо делать — известно всем. Чего не стало, так это чести. Нынче все — корысть и хитрость. За исключением одного или двух, вроде Айалы или Хусепе де-ла-Эра, все прочие стараются работать побыстрее да набивать мошну. В мое время, мы выковывали каждую шпагу так, как будто на нас смотрел весь мир и сам Господь Бог. Если она выходила не такой доброй и безукоризненной, как следовало, мы не выпускали ее в продажу за все сокровища Индии. Ах, когда я заканчивал клинок и в последний раз вынимал его, темнокрасным, как печень, из горна, и потом, смазав салом, ставил остывать концом кверху, — сердце у меня так и замирало, сеньор идальго!

Рамиро искоса взглянул на своего собеседника. На нем был красивый колет орехового цвета, а из-под него виднелся бархатный кармазинный камзол. На высокой шляпе поблескивал золотой галун. Желтое лицо, с широким выпуклым лбом, книзу суживалось на подобие смуглой фиги и заканчивалось остроконечной бородкой. Под черными еще бровями блестели пронизательные, живые глазки, привыкшие следить за надлежащим цветом клинков и арабесками вытравленных узоров. Огонь опалил его темные, покрытые бородавками руки, похожие на стволы старых виноградных лоз. Серьезная складка губ и суровый взгляд выражали честность и твердость.

Рамиро всегда относился с аристократическим презрением ко всякому человеку, унижавшему свои руки каким-либо ремеслом; но на этот раз он подумал, что искусная выделка оружия должна быть исключена из числа таких унижительных профессий, потому что способствует осуществлению самых возвышенных и благородных предприятий. Кроме того, он слышал, что толедские вельможи не гнушались общением с знаменитыми оружейниками, и что оружейные мастерские города являлись для местной знати местом сборищ и развлечений.

Мастера эти, несомненно, заслуживали особого уваже-

ния. Запертые в дымных мастерских, они, как циклопы, покоряли упрямое железо и свирепый огонь, и передавали друг другу, из поколения в поколение, суровое служение своему искусству. Страстность расы требовала от них, для благороднейших своих проявлений, этих единственных в мире клинков, благородных символов чести и владычества. Кинжалы, щиты, шпаги, латы прославили Толедо столько же, сколько и знаменитые церковные соборы.

Доминго де-Агирре вернул Рамиро шпагу и, опираясь обеими руками на рукоятку своей шпаги, продолжал:

— Да и чему же удивляться, сеньор, что оружие теперь уже не таково, как прежде, когда мы видим, что и вся нация вступила на путь гибели?

Рамиро сделал недоумевающий жест.

— Да, сеньор кабальеро, Испания гибнет. Кортесы вопят, но король их не слушает. Податное сословие задавлено тяжелыми налогами, промышленность точит червь алькабалы¹⁹⁷⁾, города унылы, деревни нищи. Нынче все искусство фаворитов заключается в том, чтобы грабить народ, высосать из него сегодня все соки, хотя бы завтра он от этого погиб. Давай и давай, а там разделявайся с кем хочешь.

— Неужели ваша милость думает, — возразил Рамиро, — что ради того, чтоб одним налогом было больше или меньше, нам следует отказаться от почетных войн, которые распространяют нашу славу по всему миру и сделают испанский народ предметом изумления грядущих веков?

Он предложил этот вопрос вежливым тоном, не имея в виду прекратить эти речи, начинавшие интересовать его и минутами напоминавшие ему слова Бракамонте.

— Почетные войны, сеньор, велись в старину, когда государства завоевывались острием меча, — ответил оружейник, а не нынешние, в которых все проигрывается или все выигрывается с помощью дублонов. Уж не думаете ли вы, что нынче терции идут на войну ради сла-

¹⁹⁷⁾ Пошлина, взимаемая с продаваемых предметов. Ср. русское слово „кабала“.

вы или ради торжества нашей святой религии? Нынче, как говорит один солдат в недавно написанной мной интермедии...

Он сделал паузу, откашлялся и актерским тоном, декламировал следующую речь:

— Нынче, ей-ей, нет щита надежнее того, что позванивает в кошельке, нет барабана, который заставил бы маршировать стройнее, чем дублоны, реалов блестящее тех, что вычеканены из серебра. Встарину рисковали жизнью за славу короля, нынче за его портрет, выбитый на монетном дворе в Сеговии. Герцогства завоевываются дукатами, французские крепости — французскими же пистолетами: и клянусь святым Андреем! раньше чем четвертовать еретиков я с удовольствием учетверил бы содержимое своего кошелька¹⁹⁸).

— Очень остроумно! — воскликнул Рамиро. Потом, подняв голову и окинув взглядом весь Сокодовер, он вдруг спросил:

— Не можете ли вы мне сказать — это та самая площадь, где Святое Судилище совершает ауто-да-фе?

— Та самая.

— И эти ауто-да-фе действительно так грандиозны, как говорят?

— Теперешние совсем мизерны, — ответил оружейник и с грустным выражением прибавил: — ах, сеньор идадьго, как быстротечно земное величие! Не успеет еще вишня созреть и налиться соком, а на нее уж напал червь. Да и не одни ауто-да-фе, а взять хотя бы нынешние игры и развлечения — что имеют они общего с теми, какие я видел в своей юности? Куда девались та роскошь и то великолепие? Кто увидит теперь такие монаршие выходы и пышные празднества, такие иллюминации и маскарады, чудесные фейерверки, с салютами и волшебными ракетами? Где прежние общественные зрелища, когда кадрили¹⁹⁹), участвующие в турнире,

¹⁹⁸) Речь построена на непрерывной игре слов: щит — escudo означает также золотую монету, реал — одновременно серебряная монета и армейский корпус. Герцогство и дукат — монета — ducado, пистоль — золотая монета и пистолет и т.д.

¹⁹⁹) Кадрилья — четверка; группа из четырех всадников.

разодетые в шелковые камзолы, дефилировали перед народом, а жрицы радости, в золоте и тончайшем газе, танцовали на зятянутых парусиной улицах? Да, сеньор идалго, Толедо уже не Толедо, — воскликнул он, отрицательно помахивая указательным пальцем. — Вместе с двором, уехали знатнейшие вельможи, а мастера его, которыми он так славился, нынче словно источенное жучком зерно. Известно ли вам, что даже крутильщики шелка, обремененные непомерными налогами, прибегают к мошенничеству и бесчестным приемам, что они подбавляют в шелк соль или масло для увеличения веса, скручивают хорошую нитку с сырцовою, некрученою, а для удешевления платы рабочим берут рабов или морисков? Ах, нет! уже не тот, нет, не тот стал этот город, глава всех областей Испании!

Сьеста подходила к концу. Несколько безжизненно лежавших груд обнаруживали несомненные признаки пробуждения. Два альгвасила прошли по солнечной стороне.

Затем Агирре, рассказав о льготах, предоставленных его искусству, сказал:

— Вапа милость, без сомнения, знает, что профессия оружейника — благородная профессия, и скорее облагораживает, чем унижает кровь; иначе ни отец мой, ни я не занимались бы ею. Потому что род наш очень старинный и еще со времен Мудрого Короля состоит в родстве с сеньорами Аро, то-есть с древнейшим родом в Испании.

II.

В следующие дни дружеские отношения Рамиро с новым знакомым быстро укрепились. Агирре показал ему красоты древнего города, неуловимые для приезжих, но точно реющие в воздухе, как треск невидимых кузнечиков. Почти всегда прогулки их заканчивались посещением кузницы Хусепе дела-Эра. При входе знаменитого мастера, рабочие на минуту приостанавливали работу и те, что были в колпаках, почтительно обнажали головы.

Здесь Рамиро впервые увидел, как обделываются ра-

скаленные шпаги, и ослепленные глаза его геройски выдержали блеск несметного множества этих стальных клинков, что немедленно разлетались по разным странам в неистовой жажде крови и славы.

Одни лежали на наковальнях, готовые принять удары молота; другие, при быстром погружении в чаны с водой, шипели пронзительным, животным шипением; готовые — смазывали свиным салом, как после пытки натирают пытаемого, или же уносили в соседнюю мастерскую, чтоб подвергнуть дамаскировке.

Из бурой угольной и железной грязи беспрестанно рождались дивные предметы: синие с радужным отливом шлемы, с насечками пурпурного золота, турнирные щиты с продиктованным любовью неизгладимым девизом, сарацинские кинжалы с вытравленным на клинке незапятнанным христианским именем, парадные шпаги для короля и боевые мечи, спешно заказанные сражающимися во Фландрии полководцами.

Слышалось пыхтенье раздувальных мехов и звон наковален. По временам, полуголый под обгорелым фартуком мужчина открывал дверцу горна, бросавшую на его потное тело отблеск адского пламени, кидал горсть песка, или вынимал щипцами какой-нибудь предмет вооружения, напоминавший цветом кожуцу фантастического красного плода.

В глубине выбеленный внутренний дворик чаровал вольным воздухом, и солнечные лучи проникали сквозь обвитый столетним виноградом решетчатый навес. Здесь принимали гостей, и не один знатный сеньор приходил сюда лично выбрать себе клинок для шпаги.

Агирре уже более пяти лет не занимался своей профессией. Он был богат и жил широко. Дом его, рядом с церковью Сантьяго дель-Аррабаль²⁰⁰), отличался оригинальной обстановкой. Несколько лет тому назад он любил собирать в нем своих друзей на веселые пиры, облагораживаемые, по итальянской моде, музыкой; но в последнее время сердцем и мыслями его все сильнее

²⁰⁰) Сантьяго-дель-Аррабаль — церковь Св. Иакова в предместьи имени того же святого.

овладевали какая-то странная печаль, отвращение от всех светских удовольствий и все возрастающее желание закончить свои дни в каком-нибудь монастыре. Он был чрезвычайно набожен. Состоял членом многих обществ и братств. Когда в церквах он падал ниц перед образом Пресвятой Девы Милосердия, который особенно чтит, губы его дрожали, а обращенные к небу глаза закатывались так, что виден был только белок.

Однажды, когда Агирре снова заговорил о своем происхождении, Рамиро, позабыв о диктуемой обстоятельством осторожности, сказал ему свое настоящее имя и родословную. Потом, не обвиняясь, поведал о своей неудачной любви, о смерти соперника и возлюбленной.

— Ваша милость прекрасно поступили, — спокойно ответил оружейник. — Жалок мужчина, который поступил бы иначе! Тем более, что убив соперника в честном поединке, вы приобрели право покарать также и женщину. Ах, если б и я мог рассказать вам о своем горе!

Агирре умолк, и они больше не возвращались к этой теме.

И только, подсчитав однажды утром, что от всех денег, полученных с мориска за драгоценности и коня, на дне кошелька осталось всего три золотых монеты, да несколько серебряных реалов, Рамиро с тревогой призадумался над грозившей ему нуждой. Что делать? Разумеется, нечего было думать о каком-нибудь ремесле — лучше смерть! — и еще менее о том, чтоб жить на счет ремесленника, каким был его приятель оружейник. Что делать, что делать?

После долгих размышлений, ему представились только два возможных выхода. Иногда он решал укрыться в пещере в окрестных горах и жить святой жизнью анахоретов; а иногда — разыскать Гаспара де-Авенданьо, разбойника, так любезно пригласившего его к себе в помощники. Он твердо решил избрать один из этих двух путей, но сильно колебался в выборе между ними.

Наконец, он решил поделиться своими заботами с оружейником, и тот обещал попросить графа де-Фуэнсалида принять его к себе на службу в качестве камер-пажа. Рамиро знал, что служба у такого могущественного и

высокородного вельможи скорее является честью, нежели бесчестьем, и согласился.

Его приняли в свиту графа на должность помощника хранителя серебра. Кроме того, он должен был приносить таз для мытья рук, полотенца и лимон, когда граф изволил вставать, и держать перед ним таз, преклонив, согласно церемониалу, одно колено. На его же обязанности лежало подавать на подносе плоенный воротник и носовой платок, держать ночной сосуд, который приносил мальчик, приставленный к уборной, и держать ящичек с инструментами, когда врач пользовал графа от застарелой язвы на бедре.

Вначале роскошная жизнь во дворце пленила его воображение; но, спустя несколько времени, когда ему пришлось надеть изодранную ливрею умершего дворянина из свиты графа, терзаться собачьим голодом среди всего этого великолепия и пускаться вместе с остальной прислугой на гнуснейшие проделки, чтобы добиться каких-нибудь об'едков, — у него явилось страстное желание бросить Толедо и бежать, куда глаза глядят. В довершение несчастья, судьба дала ему в сожители по комнате андалузского дворянина, грязного и льстивого, как цыган, о котором остальные рассказывали самые забавные истории.

Зато с первых же дней он почувствовал симпатию к эконому Алонсо де-Веласко, уроженцу Саморы, за его привлекательную внешность и открытый нрав. Однажды утром Веласко застал его в прихожей. Рамиро сидел на скамье, отвернувшись к стене и держась за лоб.

— Что с вами, сеньор дель Агила? вы предаетесь философии, или дремлете? — спросил он.

— Я размышлял, сеньор Веласко, — ответил Рамиро, — о крупных разочарованиях этого мира, и о том, что маленьким мальчиком я был уверен, что когда-нибудь буду вторым Фернандо Кортесом или Гонсало Кордуанским. А вот теперь сделался самым последним и жалким из пажей. Ах, если б глаза мои умели плакать!

— О, я мог бы сделать из вас важного сеньора, — воскликнул Веласко, и глаза его заблестели от какой-то тайной мысли.

— Меня?

— Да; но я боюсь, что вы не соблюдете, как следует, тайны.

— Разве, по вашему, я похож на мавра? — с раздражением проговорил Рамиро.

— Тогда пойдите на площадь, я вам скажу.

Когда они сели на скамье против собора, эконом заговорил первый и спросил:

— Слышали ли вы о Книге Откровения?

— Да, но не знаю, что это за книга.

— Ну, так вот: что бы вы сказали, если бы сразу, только исполняя в течение короткого времени некоторые обряды и эпитемии, которые вам предпишет один мудрец, не прибегая к книгам, без денег и хлопот, — если бы вы вдруг очутились обладателем всех тайн царя Соломона, и следовательно, знали бы добро и зло всех вещей и явлений, знамения светил, язык животных, могли бы делаться, по своему желанию, невидимым, или видеть под землей, где залегают золотоносные жилы или прячутся драгоценные камни; словом, делать в этом мире все, что пожелают ваша душа и чувства, не зная иных законов, кроме каприза своей фантазии.

— Обладая хотя бы одной из перечисленных вами способностей, сеньор Веласко, — лукаво ответил Рамиро, — любой человек сделался бы королем мира.

— Королем мира . . . rey del mundo . . . Раймундо! — задумчиво пробормотал его собеседник.

— Ведь если бы кто-нибудь, — продолжал Рамиро, развивая свою мысль, — мог делаться по своему желанию, невидимым, то любое предприятие явилось бы для него детской забавой, все армии пожелали бы иметь его полководцем, а все народы — императором.

— Значит, вы согласны пойти со мной сегодня вечером к этому мудрецу? Я недавно спрашивал у вас, чтоб сообщить ему, день, год и час вашего рождения; никогда не видав, он уже знает, вас, как родного сына, и поставит вас превыше всех людей, наравне с ангелами . . . Вы смеетесь?

— Мне кажется, — заметил Рамиро, — что вы напали на искусного кудесника. Но, в добрый час! пойдите,

куда хотите, потому что я предвижу, что мне придется спасти вас от какого-то опасного колдовства.

Рамиро и его товарищу удалось выйти из дворца только вечером, в половине одиннадцатого. Лунный свет местами прорезывал мрак улиц белизной погребальных саванов и рисовал на маленьких площадях тени башен и крыш. Черепицы голубели волшебной лазурью, а ярко освещенные местами окна реяли в вышине, грезя о любви и приключениях. Из всех кварталов в тихий ночной воздух плыл страстный рокот гитар и лютней.

Свернув в какую-то улицу, они услышали слева звон мечей, и тотчас вслед за этим хриплый голос громко крикнул:

„Исповедаться! Исповедаться!“

Рамиро хотел побежать туда, но Веласко удержал его, сказав:

— Пойдемте, мы ведь не монахи и не полицейские.

— Вот, здесь! — воскликнул вдруг эконом, останавливаясь перед низенькими воротами в квартале Сан Мигель.

Миновав два дворика, они стали подниматься по полусгнившей лестнице и дошли, наконец, до площадки с дверцей на чердак. Веласко тихонько свистнул три раза и произнес какое-то непонятное слово. Дверца отворилась и они вошли.

Они очутились в узкой и длинной комнате. С правой стороны, в таинственном полусвете, вырисовывался небольшой мраморный алтарь, покрытый бараньей шкурой. В комнате не было никакого иного света, кроме лунного луча, проникавшего сквозь пыльное стекло и падавшего прямо на страницы огромной, как сборник гимнов, книги, раскрытой на совершенно черном аналое из кованого железа. В разных местах виднелись небольшие горны, длинная подозрительная труба из желтой и красной меди, черегонный куб с трубой, проходившей сквозь отверстие в стене в соседнюю комнату, и много других предметов, которые трудно было рассмотреть в лунном сумраке комнаты.

— Подождите, — сказал Веласко, — подождите; стоим немного здесь.

Рамиро остановился и стал смотреть на странную фи-

гуру, нарисованную на странице фолианта меж двух переплетенных золотых треугольников.

Никто не являлся.

Вдруг страница книги медленно, медленно, с прищущим пергаменту характерным шелестом, приподнялась и перевернулась — сама собой! Рамиро задрожал с головы до ног, об'ятый ужасом тайны. Руки его тряслись. Между тем, подобно предметам, медленно выявляющимся из-под предрассветного тумана, над книгой непостижимым образом стала обозначаться склоненная человеческая фигура. То был мужчина неподвижно стоявший к ним спиной. Сначала вырисовались его длинные волосы, потом опушенный кундией казакин, спускавшийся ниже колен, потом правое плечо и, наконец, лежавшая на странице рука. Когда он стал виден весь, он повернул голову и медленно, медленно направился к Рамиро. Лицо его, необычайной бледностью напоминавшее слоновую кость, было изрезано глубокими вертикальными морщинами, терявшимися в бороде, седой бороде, в часы размышлений закрученной нервными пальцами в кольца. Всеки отяжелели от утомления и бессонницы. Он положил руку на шею Рамиро, и юноша ощутил неприятную шероховатость обожженной кислотами кожи.

Человек заговорил:

— Рожден под знаком Сатурна, обуреваем жаждой власти и славы. Горд и великодушен. Чело это вылеплено Козерогом.

Потом повернул лицо его к луне и, пристально глядя ему в глаза, продолжал:

— О, я вижу здесь разрыв, произведенный дурным глазом. Демон свободно входит и выходит через него. Но ничего: Саломея его околдовала, дева спасет. Подождите, — сказал он потом и, взяв с алтаря серебряную шпагу, направил кончик ее в глаза Рамиро.

Юноша почувствовал на лбу холодное дуновение.

— Вы раскроете на исповеди всю свою жизнь, но обо мне не упомянете ни единым словом, иначе вам грозит гибель, — прибавил маг, опуская шпагу. — Будете прищачаться семь дней в семи разных церквях, по пятницам

будете питаться хлебом и водой, и в первые семь дней новолуния — читать молитвы, которым вас научит этот брат. Потом, вы придете ко мне, и я сделаю вас могущественнейшим из людей, ибо сочетание созвездий, под которым вы родились, неповторяемо!

Рамиро шевельнул губами, чтобы спросить, нет ли во всем этом чего-либо противного святой Христовой церкви; но маг, приложив палец к его губам, раскрыл наугад книгу и прочитал:

„Не может быть всемогущим Владыкой тот, кто испытывает перед чем-либо страх.“

„Лучше быть свободным в желании, воспоминании и знании, нежели обладать королевством или империей.“

Закончив чтение, он снова растаял в воздухе, как призрачное видение.

Когда они вышли на улицу, Рамиро спросил:

— Как зовут этого человека?

— Мосён Раймундо.

— А вы знаете, каким образом он делается невидимым?

— Я полагаю, что посредством камня гелиотропа, подвергнутого какой-то таинственной обработке.

— Но если он обладает такой огромной силой, почему он сам не делается властителем какого-нибудь государства? — спросил дрожащим голосом Рамиро.

— Потому что они все принадлежат к святому семейству магов, к которому принадлежали и три волхва: Гаспар, Валтасар и Мельхиор, и знаменитый Симон²⁰¹⁾, и наш король Альфонс, прозванный Мудрым; теперешние волхвы, в наказание за то, что не могли раз'яснить некоторые тайны, ключ к коим погиб во время пожара одной большой древней библиотеки, живут уединенно в своих тайных убежищах и все время изучают разные науки. Но как только один из них сможет сказать: Эврика²⁰²⁾! так они сейчас же снова возьмут в свои руки управление миром, ранее принадлежавшее им, по свидетельству древнейших документов.

В эту ночь душа молодого человека металась в безум-

²⁰¹⁾ Симон маг, или Симон Мудрый. См. о нем в Деяниях Апостольских VIII, 9 ст.

²⁰²⁾ По-гречески — „я нашел“.

ном бреду. Он долго не мог заснуть, и во сне пред ним бурной вереницей мелькали триумфы, сокровища, обольстительные женщины, сверкающие драгоценными камнями. Состояние это продолжалось несколько дней, и, бродя по улицам, он с наслаждением повторял ослепительную фразу: „И я сделаю вас могущественнейшим из людей, ибо сочетание созвездий, под которым вы родились, неповторяемо!“ Он не сомневался в том, что мудрец сдержит обещание, и уже мысленно намечал, что должен сделать, когда Мосен Раймундо посвятит его в тайны магии. Однако, сознание подсказывало ему, что церковь безусловно осуждает тайные искусства и всякого рода гадания. Но воля его, уязвленная соблазном и жаждавшая во что бы то ни стало восторжествовать над миром, громко требовала чуда. Он придумывал все новые доводы, которыми старался обмануть свою совесть. Во-первых, он разобьет чары сараинки, а затем, сделается сильным, неподражаемым Божьим рыцарем, могущественным и славным ...

Он приступил к молитвам и посту.

Когда подошло время исповедоваться, Рамиро попросил оружейника указать ему какого-нибудь выдающегося по уму и образованию священника. Агирре свел его к дон Антонио де-Мендоса, соборному канонику и бывшему архидиакону Гуадалахары²⁰³). Дон Антонио, человек, обладавший огромными знаниями в области духовных и светских наук, жил в старинном родовом дворце, возле церкви Сан-Хуан де-ла-Пенитенсия. В обширных залах его, обитых по римской моде шелковым кардинальским штофом, собирались по воскресеньям, в полдень, многочисленные ученые сборища. Здесь знатный дворянин сталкивался с искусным позолотчиком запрестольных образов или со скромным мастером, собственноручно выковывавшим красивые решетки для клиросов.

У Рамиро не хватило мужества раскрыть сразу свою душу, и он решил исповедоваться постепенно, а тем временем посещать воскресные собрания. Он услышал здесь самые неожиданные речи, непристойные монастырские

²⁰³) Гуадалахара — город в 57 километрах от Мадрида.

анекдоты, забавные истории о священниках, имеющих наложниц; услышал, как каноник Сапата назвал папу ослом; услышал, как капитан Паломинос, с цинической развязностью, рассказывал, что во время португальской кампании²⁰⁴), солдаты его, после сражения, продолжавшегося целый день, ворвались в церковь в Опорто и выпили святую воду из чаш, а ему, как своему начальнику, принесли масло из горевшей в алтаре лампады.

Так как никто не затрагивал непогрешимости догматов, то дон Антонио снисходительно выслушивал самые вольные речи, и даже сам любил ставить втупик монахов и натравливать на них остряков из своей „академии“.

Он очень любил духи, и монахини монастыря Святой Анны изготовляли их для него по каким-то особым рецептам. Садясь, он закидывал ногу на ногу, чтоб показать шелковый чулок и золотую пряжку на башмаке. Руки его были белы и пухлы, как у женщины; но орлиный взгляд и звучный голос, от глубоких нот которого звенели окружающие предметы, свидетельствовали о мужественности и силе. На переплетах его молитвенников были вытиснены гербы фамилии Мендоса. Когда он проходил по залам, паж-шлейфоносец в фиолетовой ливрее поддерживал длинный шлейф его муаровой сутаны.

В первые два раза, когда Рамиро приходил припасть к ногам каноника, он встречался в коридорах с закутанной в накидку дамой. В последний раз, так как никто не вышел доложить о нем, он по нечаянности отворил дверь в какую-то комнату и увидел красивую женщину, лежавшую на бархатном турецком диване. Юбка, приподнятая выше колен, обнажала короткие плотные ноги, соблазнительно обтянутые перламутрового цвета чулками. Висевшее на стене дивное серебряное паникадило окутывало комнату клубами благовонного дыма. Женщина испуганно вскрикнула и вскочила, а Рамиро поспешно затворил дверь. Минуту спустя каноник выслал к нему пажа с просьбой придти после вечерней молитвы.

Он принял его в зале смежной с молельной. Лицо у

²⁰⁴) Поход Филиппа II в качестве претендента на освободившийся португальский престол (1580 г.) закончился установлением владычества испанцев в Португалии на 60 лет.

него горело, и пока юноша, отважившись, наконец, рассказывал историю своей связи с мавританкой, дон Антонио, полузакрыв глаза, изредка смачивал носовой платок под краном янтарного боченочка, стоявшего справа от него на фигурном табурете.

Когда Рамиро закончил свой рассказ, этот служитель церкви, направляемый несомненно своим изощренным инстинктом исповедника, начал распространяться о колдуньях или ведуньях, о магии, волхвованиях, заклинаниях, амулетах и других подобных суевериях, представляющих собою дьявольскую паутину, в которой навеки запутываются многие души. Рамиро воспользовался случаем, чтоб спросить, противно ли искусство чернокнижия Святой Христовой Церкви.

— А вы уже прибегали к нему когда-нибудь, сын мой? — вкрадчиво спросил каноник.

Юноша медлил ответом. Неожиданная дрожь пробежала по его рукам и лицу. Глаза исповедника пристально впились в его глаза.

— Нет еще, — ответил, наконец, нетвердым голосом Рамиро, — но многие отзываются о нем с большой похвалой.

— Неразумный я, никогда не могу вложить перста в рану! — воскликнул дон Антонио с горделивой улыбкой. — Ясно видно, — продолжал он, обращаясь к юноше, — что эта связь оставила в вашем сердце свою проклятую отраву.

И тотчас же, встав с кресла и прикинувшись сильно разгневанным, он воскликнул:

— *Vade retro! vade retro!*²⁰⁵) Лицемер, зачумленный, колдун, сатанинское отродье! Пусть знает красавчик, что душе его грозит близкая гибель, если она уже не продана дьяволу, и что не будь тайны исповеди, он был бы немедленно предан чинам Святого Судилица! *Nego absoluteone, nego, nego!*²⁰⁶) С нынешнего дня наложите на себя непрерывную эпитимию, изгоните из своего тела демонов, пусть священник вашего прихода вымоет вас мылом и заставит прополоскать рот, и бере-

²⁰⁵) „Отыди.“

²⁰⁶) „Отказываю в отпущении, отказываю.“

гитесь, как бы вам не кончить жизнь на костре. *In nomine meo daemonia ejicient. Obmutesce et exi ab eo! Obmutesce et exi ab eo. Obmutesce et exi ab eo!*²⁰⁷⁾ Больше я ничего не скажу.

Рамиро спустился с лестницы, протирая глаза и рассуждая сам с собою вслух, как безумный. Этот страшный человек говорил с ним, повинуюсь, несомненно, вдохновению свыше. Не кто иной, как Бог, бросал ему через свою служителя, это предупреждение, эту страшную угрозу, это он уличал его, ради его же спасения. И лишь божественное дыхание, могло таким образом разодрать сверху донизу плащ его гордости и оставить его нагим и безгласным, на подобие первого человека после грехопадения.

И словно озаренные молнией, величайшие проступки его жизни воскресли в его сознании. Он увидел себя на груди мавританки, окончательно забывшим свою веру, честь, родину; вспомнил о своих лживых исповедях, о развратных мыслях, какие разжигал в себе, жадно рассматривая в церкви распростертые женские фигуры, вспомнил как часто бунтовала его гордость против непререкаемых велений Господа, о долгих неделях, в течение которых он не налагал на себя никакого искуса, не перебрал ни единого разу четок. Чему приписать все это, как не любви его к Аише? Несомненно, язычница, с лицемерной кротостью, влила ему в душу свою собственную мерзость. Священник на постоялом дворе в Себрерос, Мосен Раймундо и каноник Мендоса — все говорят правду. Он стал чувствовать стеснение в груди, как-будто вокруг нее обвилась змея. Новый ужасный страх: борьба с дьяволом! Он пришел к убеждению, что колдовство сохранило всю свою силу, и не уничтожится до тех пор, пока Аиша не исчезнет с лица земли. Предстоящее ауто-да-фе оставалось для него единственной надеждой.

В тот же вечер Рамиро покинул дворец графа де-Фуэнсалида и поселился в Севильской гостинице.

Несколько дней спустя, проходя незадолго до вечер-

²⁰⁷⁾ „Именем моим он будет изгонять бесов. Умолчки и изыди из него . . .“

ней молитвы вместе с Доминго де-Агирре по площади Четырех Улиц, он увидел блестящую процессию, подвигавшуюся под визг гобоев и грохот барабанов по улице Шапочников.

— Это герольды Святого Судилица, возвещающие ауто-да-фе, — воскликнул оружейник. — Если хотите, мы можем подойти поближе.

III.

Стояло одно из тех июньских утр, когда город церковных Соборов как-будто лепечет по-арабски восточные песни. Небо, без единого облачка, затянуто тафтой чистойшей лазури; местами из-под коричневых крыш выглядят ослепительно белые стены; розы и гвоздики пылают на балконах, а кое где, над потонувшими в чудесной тени улочками, поблескивают изразцы куполов и минаретов.

Но в то время, как воздух, лазурь и цветы, подчеркивали эти остатки сарагинской прелести Толедо, большинство жителей сменили свое обычное платье на печальные траурные одежды. На площадях и перекрестках еще оставались маленькие черные трибуны, с которых монахи всех орденов накануне проповедовали с жутким красноречием; а на Широкой улице, на Ленсерии²⁰⁸), на Лонхе²⁰⁹), и вокруг церкви Сан-Висенте полотнища траурного бархата и сукна свешивались почти изо всех окон, одевая в траур стены.

Между тем, Сокодовер с рассвета кишел толпой. Слух о том, что мавританская колдунья, наделенная от Дьявола поразительной красотой, будет сожжена на ауто-да-фе этого года, в немного дней разнесся по самым глухим окрестным деревушкам, и не мало нашлось паломников, рассказывавших по постоянным дворам историю заговора и отрекшегося от своей веры юного идадьго.

Рамиро с нетерпением ожидал у ворот гостиницы. До-

²⁰⁸) Ленсерия — торговые ряды, где продаются полотняные товары.

²⁰⁹) Лонха — биржа.

минго де-Агирре обещал зайти за ним, чтобы отправиться на ауто-да-фе.

Немного спустя, оба, описав большой круг, вошли на площадь со стороны Широкой Улицы, рассчитывая увидеть отсюда всю процессию. Один дворянин, узнавший Агирре, подал им из невысокого окна два табурета. Встав на них, они видели перед собой весь Сокодовер, заполненный тесно сгрудившейся шумной толпой.

На западной стороне, залитый в этот момент утренним солнцем, возвышался огромный траурный эшафот, который в скором времени должны были занять, согласно обычаю, Святая Инквизиция, городские власти, городской совет, дворянство, высшее чиновничество и все духовенство. Для преступников был приготовлен другой эшафот, поуже, но такой же высоты, занимавший южную сторону площади.

Потрясенный до глубины души ожиданием торжественной минуты, Рамиро скользил по всем предметам недоуменным и рассеянным взглядом. Он почти не видел тускло блестящих на эшафоте серебряных вышивок на черном бархате, гербов инквизиции и короля, вышитых на фиолетовом балдахине, осенявшем алые кресла, а ближе к середине площади — затканную золотом кроваво-красную напрестольную пелену, составлявшую ритуальную принадлежность этого страшного жертвоприношения. Но, взглянув на высокий зеленый крест, покрытый длинным темным флером и возвышавшийся над алтарем среди двенадцати пылающих факелов, он ощутил внезапный трепет, как будто сам Бог заговорил с ним этим немym языком.

Площадь не могла уже вмещать больше народа, а со стороны улиц все время слышались крики толкавшихся и дравшихся любопытных. От Арки Крови²¹⁰) неслись вопли и проклятия, и толпа волновалась там, как вода потоков, вливающаяся в озеро. Каждый балкон, каждое окно, каждая трибуна представляли собою компактную гроздь дам и кавалеров; кроме того, множество людей,

²¹⁰) Арка Крови (Христовой) — отделяет площадь Сокодовер от улицы Сервантеса.

неизвестно как туда залезших, облепляли все крыши; и все это кишело, кипело, гудело грандиозным волнением толпы, пьяной от солнца и горящей одним и тем же нетерпением.

Но вот в церкви Сан-Висенте звонят колокола, возвещающая о выходе преступников; по обеим сторонам Широкой Улицы солдаты с трудом оттесняют аллебардами чернь, — непрекращающийся натиск ее грозит снести двойной деревянный частокол, идущий от тюрьмы и окружающий оба эшафота.

Процессия приближается. Аллебарды сверкают на улице Шапочников.

При мысли о том, что сарадинка пройдет через несколько минут мимо него, Рамиро опустил руку в карман и крепко сжал бронзовый крест.

Во главе процессии шли „защитники веры“, гордясь яркими перьями на шляпах и медными цепями, пожалованными им Святым Судилищем. Это были случайно набранные солдаты, вооруженные аллебардами, пиками, мушкетами. Они шли торжественным шагом, одновременно и смущенные и гордые, не решаясь взглянуть на окна. За ними следовали двенадцать священников церкви Сан-Висенте с хоругвью; потом, по двое в ряд, верхом на конях темной масти, испанские гранды и именитые кастильские дворяне, все одетые в черное, но осыпанные драгоценностями. У некоторых на плащах были вышиты эмблемы Святой Инквизиции. Рамиро узнал графа де-Фуэнсалида по узкому камзолу из шитого золотом черного горгорана, издали похожему на стальной панцырь с золотыми насечками. Народ смотрел на них сосредоточенно и безмолвно, слышался лишь стук подков, ударявших о камни. Точно процессия черных погребальных конных статуй.

Появление первых „раскаившихся“ снова вызвало шум в толпе. Более двадцати человек этих несчастных, без шапок, без поясов, без кашюшонов, шли, подавленные стыдом, держа в руках незажженные свечи желтого воска. Это были отрехшиеся от своих заблуждений, которым предстояло получить прощение пред алтарем. Почти все плакали, бросались к ногам шедших с ними мо-

нахов, или с глубокими вздохами целовали им руки и края ряс. У одних в знак определенных им сотен ударов висели на шее узловатые веревки, и народ, считая вслух узлы, затягивал хором унылые и насмешливые песни, чтобы увеличить их позор. Другие выделялись издали желтым полотном санбенитов²¹¹), и сведущая в деле толпа определяла их преступления и кары при одном взгляде на раскраску этих позорных одеяний, с изображением то четверти, то половины, то обеих перекладин креста св. Андрея.

Далее следовали несомые служителями Трибунала на длинных зеленых жердях, и покачивающиеся над процессией шесть человеческих фигур, сделанных из соломы и редкой шерстяной ткани. Шесть бесстрастных манекенов с большими глазами из горной смолы и покрашенными суриком ртами, шесть, мрачных чучел, с чересчур легкими ногами, беспрерывно плясавшими в воздухе, напоминающая судорожные подергивания повешенных.

Заметив изумленный жест Рамиро, оружейник сказал:

— Это изображения умерших и бежавших, которых будут судить вместо них с беспристрастным правосудием.

Вдоль улицы, находившиеся у окон и на балконах люди стали проявлять сильное волнение: мужчины высовывались как можно дальше, женщины то и дело кристились, возводя глаза к небу. Немного спустя изо всех уст вырвалось одно и то же восклицание:

— Вторично отпавшие²¹²)! Еретики!

Оружейнику пришлось наклониться к самому уху Рамиро, чтоб сказать:

— Это те, что будут казнены.

Крики росли, крепи, становились оглушительными; и вскоре на всем пространстве Сокодовера чернь редела в дикой ярости, стремясь упиться этим позором и ужасом.

²¹¹) Сан-Бенито — остроконечный капюшон, который надевался на участников ауто-да-фе.

²¹²) Под словом *relajados* собственно понимаются все те преступники, которых церковный судья передавал светским судебным властям для приведения над ними в исполнение смертного приговора. К таким *relajados* принадлежали, между прочим, и вторично уличенные в вероотступничестве.

Рамиро выпрямился на табурете.

Два служителя Святого Судилища и четыре солдата охраняли каждого из преступников, а монах-доминиканец, не переставая, отчитывал его, держа перед его глазами святое изображение креста. На всех, кроме санбенитов, были надеты трагические и шутовские колпаки, желтые „карочи“²¹³), разрисованные страшными изображениями огненных языков и бесов. Ужас, мужество, упорство, раскаяние, и даже веселость отражались на лицах этих отверженных. То была процессия шабаша, какой-то адский караван, и даже утренний свет становился мрачным, озаряя эти мертвенно бледные лица, перепачканные холодным потом и пылью подземелий женские волосы, страшные глаза, словно сохранявшие еще выражение ужаса и мольбы, застывшие в них во время пытки.

Касаться преступников было запрещено; но чернь брала свое, осыпая их бранью и проклятиями.

— А! А! Мученики дьявола, вот увидите, как вас поджарят!

— Вам подсыпят две горсти соли да щепотку душицы!

— А этой надо всунуть под хвост петарду, чтоб мать признала ее, когда она будет гореть!

Одна женщина крикнула из окна:

— Раскайтесь, несчастные! Подумайте об аде!

Но мальчик, перегнувшись корпусом через частокол, ответил снизу, потрясая кулаками:

— Нет! Нет! В огонь, и пусть отправляются ужинать с дьяволом!

Тогда изо всех глоток загредел новый взрыв святой и кровожадной ненависти:

— В огонь! В огонь!

И осужденные стали проходить под дикий свист и крики, напоминавшие треск пожара.

Многие узнали в числе осужденных торговца воском

²¹³) Высокая, в виде цилиндра, шапка еретиков из папки или бумаги с изображенными на ней фигурами дьяволов, надевавшаяся во время ауто-да-фе на приговоренных инквизицией к смерти на костре.

из Оргаса, который воображал себя Иоанном Крестителем и проповедывал по деревням какое-то новое учение. Бедняга по временам останавливался, поднимал руку и делал жест божественного Предтечи на Иордане. Бледная девушка, по словам некоторых, вероотступница-монахиня, о которой много говорили в Толедо, выслушивала оскорбления толпы с детским выражением любопытства и нежности. Изредка она опиралась на плечо монаха и, закинув голову, весело смеялась, точно пьяная. Мориск, известный всем в предместьи по своим непристойным речам, по временам проделывал быстрый и неприличный жест: служителям приходилось энергично подталкивать его. Прошла старуха, сухая и прямая, со связанными назади руками и заткнутым черной тряпкой ртом. Рамиро узнал Гулинар. Наконец, человек, предложивший им табуреты, воскликнул, глядя в глубину улицы:

— Ага! Сейчас пройдет мавританка, околдовавшая христианского юношу.

Крики мгновенно смолкли.

Аиша подвигалась медленно, устремив глаза к небу. Она слышала, должно быть, божественные скрипки и неизъяснимо сладостные голоса, а дух ее, бесконечно далекий от земли, предвкушал наслаждения Альджанны²¹⁴⁾ и величайшие награды, которые ее религия сулит мученикам. Но гибкое тело ее все еще дышало соблазном и влекло к танцу, а босые ноги переступали ритмично, как-будто на них все еще позвякивали браслеты. Бледность ее лица внушала ужас, зубы были обнажены в непроницаемой улыбке, что появляется на губах покойников.

Рамиро с минуту смотрел на нее, потом должен был прислониться к стене и снова сжал в руке распятие, чтобы запечатлеть, чтобы врезать в свое тело образ Спасителя. Вся остальная часть процессии промелькнула перед ним, как во сне: бесчисленные монахи всевозможных орденов; служители святого Судилища верхом на конях и с выложенными серебром палицами черного дерева; священники на мулах в траурных попонах; ковчег

²¹⁴⁾ Альджанна — по-арабски „рай“.

с приговорами на лошаке, волочившем по земле золотую бахромку лиловой попоны; алое знамя веры; белые воротники и сверкающие драгоценностями черные одежды.

Наконец, оружейник, назвав ему нескольких рехидоров, тронул его за локоть и воскликнул:

— А вот и кардинал-архиепископ. Взгляните, ваша милость, какая у него почтенная наружность.

На рослом гнедом коне, внушительный и застывший в своей позе, дон-Л'аспар де-Кирога, кардинал-архиепископ Толедо, генерал-инквизитор и первый государственный советник, приближался, окруженный пажами и аллебардщиками. Он был испанским папой и священной маской короля. После мрачной процессии, его красное облачение действовало на душу, как трубный звук. За исключением короткой лиловой инквизиторской мантии, весь он, от шляпы до башмаков, представлял собою пурпурное пламя. Чело его выражало священную суровость, глаза ни разу не мигнули. Он проехал беспощадный, как пытка, пышный и мрачный, как ужасное жертвоприношение, которое должен был возглавлять, красный, как костер. Утреннее солнце ярко играло на серебряном чеканном седле, и на золоте и жемчугах светло-лилового чепрака, спускавшегося почти до копыт коня. Никто не осмелился нарушить виватом почтительное молчание.

Более получаса потребовалось на то, чтоб все участники процессии заняли свои места; большой эшафот покрылся именитой толпой. Инквизиторы поместились в центре, духовное сословие расположилось на северной стороне, городской совет и дворянство — на южной.

Преступники, сопровождаемые служителями и монахами, заняли меньший эшафот.

Все взгляды обратились теперь к скамьям поношения и позора. Любопытство достигло крайнего предела. Здесь обыкновенно появлялись колдуньи, заключившие договор с дьяволом и замышлявшие на ночных шабашах всякие козни против людей; иудействующие, убивавшие христианских малюток и пропитывавшие их кровью священную облатку, употребляемую при отвратительных церемониях; лютеране, старавшиеся разрушить святую Христову церковь, распространяя в Испании еретическую заразу; ве-

роломные мориски, продолжавшие проповедывать мошеннические выдумки своей секты и необходимость восстания и мести.

Приговоренные к смерти расположились на самых верхних ступенях. Рамиро стоял у выхода на улицу и видел их сбоку, и потому не мог рассмотреть, где стоит сарацинка.

Еще два часа, и эти гнусные жертвы будут пылать на костре, подобно козлам отпущения в Писании; города и деревни будут очищены, и Бог современного Израиля, вдыхая с неба обильный дым жертвоприношения, смягчит свой гнев и ниспошлет свое благословение на правосудный город, правовернее Рима, благочестивее древнего Иерусалима.

Обряд начался. К алтарю приблизился епископ. Дьяконы сняли с него роскошную митру, осыпанную символическими геммами — дар перковного Капитула. Вскоре густое облако ладана взвилось в лучезарную высь, как при первых жертвоприношениях Ветхого Завета. По окончании проповеди и мессы, докладчик прочитал текст народной присяги, и Рамиро присоединил свой голос к внезапному и оглушительному „Да, клянусь!“ произнесенному одновременно всей толпой; по словам крестьян, оно было слышно за милю в окружности.

Затем певчий собора прочитал перечень преступлений против веры и запретных суеверий; тех, что отреклись от своих заблуждений, повели сейчас же к деревянной клетке, возвышавшейся посреди площади; они должны были выслушать, каждый в отдельности, в присутствии всего народа, обвинительные акты и приговоры, прежде чем получить прощение.

Эта часть ауто-да-фе обыкновенно вызывала общую скуку. Толпа, жаждавшая поскорее увидеть вторично отпавших еретиков, проявляла ежеминутно признаки нетерпения. Агирре несколько раз зевнул, а Рамиро, полукрыв глаза, прислонился головой к черному полотнищу, свисавшему из окна.

Прелюбодеи, несколько двоеженцев, раскаявшиеся иудействующие, самозванные священники, нищий, выдававший себя в деревнях за комиссара Святого Судилица,

и несколько крестьян, произносивших кощунственные слова и ругательства, были приговорены к наказанию плетью, тюрьмой и ссылкой на галеры.

Дух скуки веял над всей площадью, и многие прелаты и сановники покинули свои места и отправились за скамьи амфитеатра выпить прохладительного, или наскоро закусить. В окнах и на балконах дамы откидывали вуали, показывая прославленную белизну своих лиц, и брали из рук кавалеров прохладительные напитки и глазированные фрукты. Рамиро улавливал сквозь ресницы движение озаренных солнцем шелков на трибунах. Любовный шопот неся к нему вниз, и минутами ему казалось, будто он ощущает запах женских духов. Слышались взрывы звонкого и веселого смеха. Над его головой, кабальеро, давший им табуреты, разговаривал вполголоса с дамой. Он услышал, сам того не желая:

— Скажите: страх, а не презрение, сеньора; я не желал бы упасть, подобно новому Икару.

Женщина ответила:

— Тогда попросите настоящих крыльев у любви, а не у каприза: они никогда не тают, хотя сами и несут в себе огонь.

— Ах, что за щечки! что за губы!

— Ради Бога, дон Гонсало, мне больно от колец!

Услышав это имя, Рамиро резко выпрямился и широко раскрыл глаза, чтоб светом прогнать горестное воспоминание.

Солнце, склоняясь к западу, отражалось на фасадах домов на противоположной стороне, и в лучах его сверкали в окнах и на балконах драгоценные камни, стеклярус, белая кожа перчаток и золоченые веера.

Наконец, настала очередь приговоренных к смерти. Сильное волнение заставило смолкнуть все шумы.

Несчастные, которым суждено было через два-три часа превратиться в отвратительную грудку обуглившихся тел, поднимались в клетку и выслушивали свои приговоры, одни равнодушно, другие — обезумев от страха, и зажженные зеленые восковые свечи дрожали в их руках.

Гулинар втащили, как мертвую; ужас заставил ее отречься от своей веры! Лиша же, отстранив монаха,

поднялась по ступенькам с загадочной уверенностью сомнамбул. Рамиро с изумлением услышал, что ее судили, как вторично отпавшую; оказалось, она привлекалась пять лет тому назад к второстепенному ауто-да-фе в Мурсии и была признана примирившейся с церковью. С эстрады, с крыш, с балконов, со всей площади, тысячи голосов побуждали ее раскаяться; но многие, желавшие увидеть, как она будет пылать на костре, не подвергшись предварительному удушению, протестовали громкими криками. У нее невозможно было вырвать ни слова; а когда сопровождавший ее монах показал ей зеленый крест, покрытый темной пеленой, она отвернула лицо и с отвращением отстранила его правой рукой. Тогда страшный рев, похожий на взрыв мины, внезапно прокатился по всему Сокодоверу. Послышались грубые и циничные ругательства. Несколько крестьян терли себе глаза галисийскими амулетами из стекляруса или крестами от четок и громко читали молитвы. Стоявшая рядом с Рамиро красавица-крестьянка, с черными, спущенными на лоб волосами и закрытыми большими серебряными пластинками ушами кричала, не умолкая: „Ступай околдовывать бесов! Ступай околдовывать бесов!“ Монахи всех орденов, встав на ступенях, поднимали руки, стараясь успокоить толпу.

Шел уже пятый час пополудни, когда секретарь Святого Судилица передал еретиков коррехидору и его помощникам.

Преступников посадили на чахлах кляч, и трагическая процессия направилась по Оружейной улице, к месту сожжения. Ауто-да-фе продолжалось, но сыщики инквизиции, согласно новому обычаю, сели на коней, чтоб присутствовать при казни. Большая часть черни потоком хлынула вслед за ними. Агирре удалился уже более часа тому назад, и Рамиро, спрыгнув с табурета, смешался с толпой и стал подвигаться вперед, без мыслей, без цели, как трагический обломок, увлекаемый волнами.

Пройдя несколько минут по берегу Тахо, людское стадо остановилось на плоском и открытом месте, за ко-

торым начиналась Вега. Рамиро, побуждаемый бессознательным импульсом, протолкался сквозь толпу и встал рядом с аллебардщиками. Глаза его увидели тогда в нескольких шагах, на широкой насыпи из песка и гранита, шесть столбов для виселиц, с железными ошейниками, несколько куч дров и огромный, выкрашенный белой краской крест. Даже символ высшего милосердия производил в этом месте отвратительное впечатление жестокости.

Беспорядочно столпившаяся группа монахов, палачей, альгуасилов в одну минуту заполнила широкую площадку костра, окружив осужденных.

Рамиро без волнения смотрел, как вешали раскаявшихся. У некоторых после казни кароча сваливалась на землю, у других она все так же покрывала страшную повисшую голову.

Солнце, почти скрывшееся за длинной серой тучей, заливало золотистым сиянием равнину, холмы, белые домики соседнего предместья Антекеруэла.

Вечер был ясный и теплый. С Веги доносился запах влажной земли. В этот час не одна рука мориска открывала искусственные каналы, чтоб напитать поля.

Фигура Аиши вдруг появилась на краю костра. Желтое позорное одеяние с красными рисунками, казалось, впитывало пламя заката и придавало ей пышный и грозный вид. Она напоминала жрицу какого-нибудь страшного культа самоуничтожения и экстаза, готовую ввергнуть в пламя свое священное тело. Монах-доминиканец непрерывно увещевал ее и, то прося, то угрожая, подносил к ее глазам образ распятого Спасителя. Наконец, все услышали резкий голос монаха, прокричавшего точно в безумии:

— В последний раз: скажите, что отрекаетесь от вашей дьявольской веры!

Аиша отрицательно покачала головой. Альгуасилы, чиновники, и монахи все одновременно стали указывать ей на кучу дров, приготовленную для казни. Она по-прежнему покачала головой. Тогда доминиканец схватил ее за плечи и толкнул к палачу.

Движение это словно развязало сдерживаемую злобу

толпы, и двадцать или тридцать фанатиков, мужчин и женщин, прорвав цепь солдат, устремились к костру, чтоб растерзать неверную. Но желавшие, чтоб она сгорела заживо, все в один голос закричали:

— Не убивайте ее! Не убивайте ее!

Палачи вооружились поленьями, и Рамиро заметил, что одна из аллебард приподнялась вся в крови. Однако, одному крестьянину удалось добраться до мавританки и ударить ее по плечу дубиной; старуха ткнула ее в спину привязанными к палке ножницами; неизвестно откуда взявшееся небольшое копьё вонзилось ей в бок.

В эту минуту четыре помощника палача, воспользовавшись возрастающим замешательством, подняли Аишу на кучу дров и, обнажив до пояса, стали привязывать к столбу. Она предоставляла им свое тело и сама откинула назад руки, чтоб облегчить эту пытку. Дивная нагота ее засияла в лучах заката, как светлая слоновая кость.

Когда первые, почти невидимые, языки пламени, лизнули ей ступни, Аиша подняла глаза к небу и устремила взор на тонкий серп месяца, слабо мерцавший над городом среди золотых облаков.

Дрова, раздуваемые огромными мехами, затрещали. Дым по временам вспыхивал, образуя желтые и колеблющиеся языки, уносившиеся в пространство. Аиша не шевелилась. Вспыхнули ее длинные волосы. Оставленная на ней юбка вдруг загорелась. Страшная судорога пробежала по всему ее телу. Потом, огромный столб дыма и искр сразу окутал ее всю и быстро и грозно взвился в вечерний сумрак. Огонь забушевал. И вдруг, первый порыв вечернего ветра отогнал назад густое дымное облако, и показалась голова Аиши, свисавшая с деревянного столба, словно страшный кошмарный плод.

При виде этого зрелища Рамиро содрогнулся до самых недр своего существа, и горло его сжалось от неожиданной скорби при воспоминании о красоте и очаровании этого прелестного тела, уничтоженного огнем. Но, какая-то таинственная сила задушила, при самом рождении, этот первый порыв нежности, и внушила ему, что мрачный дым костра — его отвратительный грех, его похоть,

его позор, улетающие в виде мертвых частиц, чтоб развеяться по воле ветров, чтоб совсем и навсегда исчезнуть в беспредельности...

Он постарался вызвать в себе чувство громадного облегчения; старался радостно думать о том, что глаза сарадинки лопнули от огня; что проклятое тело ее превратилось в пылающий комок, разваливающийся на куски в огне костра; что таинственная сила и дьявольские чары ее погрузились вместе с ее душой в адские пучины; и, чувствуя, что по лицу его катятся слезы, он упал на колени, под ноги толпе, и громко воскликнул:

— О, святая, святая инквизиция, твое правосудие искупило меня, твой костер спас меня!

Трупы других осужденных уже пылали кучей на огромной груде раскаленных углей, а народ толпился кругом, с озаренными подвижными огнями лицами, показывая друг другу высывавшиеся из огня человеческие руки и ноги, поднимавшиеся по временам, как будто в них еще сохранялись остатки жизни и страдания. Порой раздавалось характерное шипение, сопровождаемое продолжительным треском, словно от упавшего на угли куска жира, и Рамиро слышал над своей головой дикие возгласы и страшные взрывы смеха, от которых дутались его мысли.

Наконец, задыхаясь от трагического запаха, распространяемого этим человеческим жертвоприношением, он встал с колен, и закутав плащом лицо, поспешно удалился по направлению к городу, рассуждая сам с собой и произнося горячие благодарственные молитвы. Тропинки чернели в тени.

На западе, на краю дымного и темного неба, медленно угасала узкая полоска зари, похожая на последний отблеск погасающей печи.

IV.

Возбужденный огромной надеждой, вспыхнувшей в его груди, Рамиро всю ночь не мог заснуть ни на минуту. В то же время, мысль его, помимо его воли, цеплялась за самые докучные образы прошлого, подобно бурной реке,

что мутнеет от увлекаемой с собственных берегов земли.

Рамиро испытывал страстную потребность одиночества, и всякий чужой голос, всякое постороннее лицо вызвали в нем ужас.

В шестом часу вечера он вышел из своей гостиницы и направился к поднимавшимся на юге каменистым холмам. Когда он проходил по мосту Сан-Мартин, закутанная женщина преградила ему дорогу и грациозным движением внезапно приподняла и снова опустила покрывало, показав ему свое лицо. Оно блеснуло, как молния. Однако, Рамиро мгновенно узнал глаза Касильды, но, вместо того, чтоб остановиться, плотнее запахнул плащ и поспешно зашагал к противоположному берегу.

Пройдя более получаса в юговосточном направлении, не удаляясь от реки, он увидел среди камней крест. То был крест обители отшельника, стоявшей на краю пропасти. Он подошел ближе; и несмотря на огромную душевную муку, неожиданная картина захватила его на время, вызвав благодетельное для его души волнение.

Перед ним, на противоположном берегу, с востока на запад простиралось Толедо, громоздясь на высоком холме серыми крышами, светлыми стенами и бесчисленными башнями. Гладкий отвесный склон устремлялся от города вглубь ущелья, покрытый как бы давнишним легким пеплом, словно здесь прошел Божий огонь, попавший все корни и все семена. Рамиро с религиозным трепетом подумал об адских скалах, по которым грешники должны взбираться, цепляясь руками и ногами, чтобы снова падать в огненные волны, и снова взбираться, и снова падать, без отдыха и пощады, во веки веков.

Он сел на камень.

Река струилась на страшной глубине меж диких, ржавых скал. Она представилась ему рекой преступлений и искушений, как те реки, что рисуются в воображении при мысли об аде. Казалось, будто там, внизу, проходят профессии скорбных призраков, задевая своими темными покровами волны.

Между тем, по мере того, как шло время, дома забелели упылой белизной костей в пустыне, и весь город, видимый на расстоянии сквозь зыбкий сумрак, казался городом по-

тустороннего мира, городом вне жизни и времени, мистическим и страстным, как псалом.

В самой возвышенной его части, вздымался Алька́сар, облитый бледным сумеречным сиянием. По странному внушению Рамиро вспомнил, что стены эти служили приютом одного из славнейших королей истории, монарху над монархами, в конце концов отвергнувшему скипетр и корону и удалившемуся в безвестный монастырь; и вдруг призрак императора Карла Пятого предстал перед его глазами, наполовину скрытый капюшоном монашеской рясы ²¹⁵).

О, эта власяница на властелине мира!...

Солнце скрылось за холмами, и город окрасился в фиолетовые блеклые тона, как будто созерцаемый сквозь прозрачный аметист. Несколько стекол на минуту запылали в нем и погасли. Рамиро весь отдался чувству благоговейной сосредоточенности, ожидая знака, голоса свыше. В эту минуту колокола в городе зазвонили к вечерней молитве. Звуки сливались на отдалении в протяжную волнующую песнь, напоминавшую надгробные молитвы, и казалось, будто камень, служивший фундаментом этим бесчисленным колокольням, тоже звучит, как корпус органа. Рамиро вспомнил о колоколах Авилы, вспомнил вечера своего детства в старинной башне и свою мать, всегда в слезах, всегда в трауре, всегда безмолвную.

Он прочитал молитвы Богородице. Он был спасен, очищен, но сердце его было пусто и уныло, как пересохший поток. Ему захотелось войти в обитель и излить у подножия алтаря свою глубокую тоску. Он встал. Земля и камни вокруг него колебались. Облегченное тело его, несомненно, вознесется над землей. И вдруг, огонь, пылающая стрела, слетевшая сверху, вонзилась ему в грудь и погрузила на несколько секунд в состояние неопишемого восторга, которым наслаждалась лишь его душа.

Потом, все прошло. Тогда он подумал, что Божий огонь пронизал его, как мать Тересу де-Хесус, и что Бог спустился к нему во всем своем могуществе и мило-

²¹⁵) Как известно, Карл Пятый отрёкся от престола в 1556 г. и остаток дней своих (ум. в 1558 г.) провел в монастыре Юста

сердц, чтоб дать ему испить один лишь глоток тех наслаждений, что ждут его, когда его душа, победив мир, отдастся, наконец, с всепобеждающим пылом уединению и покаянию.

Минуту спустя он направился обратно в город искать монастыря, где бы ему сменили дворянское платье на рясу отшельника.

V.

Одетый в грубую власяницу, держа на плече посох, а на конце его — скромную котомку, приготовленную ему в путь францисканскими монахинями монастыря Сан-Хуан де-ла-Пенитенсия, Рамиро вышел на следующее утро из Толедо, и направился в горы, держа путь на юг.

Волосы его были зачесаны назад, лоб разгладился, глаза были влажны.

Он шел много дней, с восхода до заката, пил из ручьев, питался корками хлеба, что подавали ему крестьяне. Не один сострадательный путник предлагал ему подвезти его на крупе своего коня или мула; но он улыбался святой улыбкой и только крепче отбивал в пыли следы своих сандалий. Спал под навесами постоянных дворов или на краю дороги, где заставляла его ночь.

И наконец, однажды утром, после долгого пути, он увидел с вершины холма белый город Кёрдову, залитый влажным и ярким румянцем зари. Он попросил проходившую торговку фруктами показать ему отсюда монастырь кармелиток, и при мысли, что под этой близкой кровлей находится его мать, почувствовал, как слезы пресекали ему дыхание.

Не желая приближаться к городу, он удалился от торных дорог, и, наконец, нашел на склоне горы пещеру, скрытую меж кустарниками и мелкими деревцами. Внутри ее стоял стол, сделанный из неободренных сучьев пробкового дуба, чернильница из корня апельсинового дерева, скамейка, заступ и несколько полузасыпанных землею глиняных горшков. Под самым сводом пещеры висело старое дворянское платье и похожая на два копченых окорока пара дорожных сапог со шпорами.

В тот же вечер, зажегши принесенный с собой ночничек, и собираясь лечь спать на куче сухих листьев в глубине пещеры, он увидел высохший труп старого анахорета, еще державший в иссохших руках зерна чекток. Рамиро упал на колени и простер руки к небу, благодаря Бога за то, что он послал ему на пути желанное убежище и пример этой смерти.

На следующий день утром он похоронил отшельника и, по возможности, привел в порядок внутренность мрачного приюта, где решил провести остаток своих дней.

Вскоре необыкновенное блаженство преисполнило его сердце. Постоянная молитва, полное презрение к миру и, в особенности, суровые и разнообразные аспетии, какие он налагал на себя, дали ему познать неопишемую гордость святости; величайшую гордость, от которой душа его бесконечно расширялась и поднимала его, в возвышенном полете, над всеми людскими скорбями. Он сравнивал себя с великими отшельниками Фиваиды, и был уверен, что в будущем историю его будут читать у семейного очага и в монастырских трапезных для назидания душ.

Толедские монахини положили ему в котомку несколько сочинений по мистике, и руководствуясь этим чтением, он решил пройти все три духовные пути²¹⁶⁾, описанные в этих книгах, чтоб достигнуть, наконец, той высшей славы, которой до сих пор искал на обманчивых путях.

Но пыл первых дней не мог удержаться; он уже не испытывал восторгов, зажигавших в тайниках его души огненные светильники, о которых говорил брат Хуан де-ла-Крус²¹⁷⁾. Холодная и мрачная ночь пала на его сердце; темнота и сырость логовища начали угнетать его; чтение стало ему несносно.

Иногда по вечерам, желая подышать свежим воздухом, он до темноты бродил по горам. Ветерок был всегда ласковый и приносил из окрестных ферм запах апельсиновых цветов, расслаблявший волю и прогонявший вся-

²¹⁶⁾ Три духовных пути познания Божества, согласно учению средневековых мистиков были: *meditatio* (размышление), *cogitatio* (раздумье), и *contemplatio* (созерцание).

²¹⁷⁾ Хуан-де-ла-Крус — монах, автор мистических трактатов.

кую мысль о покаянии. Женские улыбки, кармин полураскрытых уст, лукавый трепет ресниц — рисовались ему в розовом сумраке или в голубой тени деревьев.

Апатия, непобедимая лень сковали, словно чарами, его тело и ум, и он стал проводить большую часть дня, растянувшись на кровати отшельника, и считал углубления в скале или капельки падавшей со стен воды. Ящерицы, мокрицы, крысы и много неизвестных ему насекомых ползали по его телу, а он, вместо того, чтоб согнать их, лежал, не шевелясь, и наблюдал за всеми их движениями.

Несколько недель он не перебирал четок и не спускался в город прослушать воскресную обедню и попросить с'естных припасов, как делывал раньше.

Однажды утром он услышал в нескольких шагах от пещеры женский голос:

Поют об Оливьеро, поют и о Ролане,
Молчат о Сурракине, отважном капитане.

Воспет Ролан, воспет и Оливьеро,
Забыли Сурракина, лихого кабальеро²¹⁸).

Это была песенка, которую без конца напевал оруженосец Медрано. Рамиро показалось, что он узнал голос Касильды. Уж не обманывает ли его слух? Он встал и выглянул наружу. Женщина в зеленоватом покрывале, поспешно спускалась по косогору, и песенка грациозно замирала и удалялась вместе с ней.

В другой раз, собирая по близости от своего жилища хворост, он нашел у подножия дерева заржавевшую шпагу. Он принес ее в пещеру и отчистил мокрым песком. Шпага была дворянская: на черных кожаных ножнах было несколько серебряных колец; на лезвии клеймо-Ортуньо; рукоятка ажурной и тонкой, как кружево, чеканки.

Этот незначительный случай вывел его из апатии. С этого дня он стал проводить целые часы, отчищая шпагу в мельчайших ее скважинках; ему нравилось обнажать ее на свету, подставляя лезвие под солнечное пламя, под-

²¹⁸) Герои французского эпоса о Роланде.

нимать и с силой ею размахивать, чтобы она свистела в воздухе.

Он уже не выходил без нее в лес; а иногда, оглянувшись по сторонам, словно опасаясь, как бы кто-нибудь не увидел его, он вонзал острие ее особым образом в древесный ствол, в напоминание о страшном ударе, отнявшем жизнь у Гонсало.

Кровь его снова загоралась, и дух, раздуваемый ветром честолюбия, опять стал мечтать о житейских почестях и славе и обо всех подвигах, какие он мог бы совершить в миру.

В один сентябрьский вечер он сидел на высокой скале и размышлял о своем намерении посетить в недалеком будущем свою мать; вдруг он увидел, что в гору поднимается худой стройный старик на сером муле; старик наклонял голову и с необычайным вниманием смотрел по направлению к пещере.

Человек этот появился и на следующее утро, и проявил то же любопытство.

Наконец, однажды, когда Рамиро испытывал нестерпимые муки голода, таинственный старик появился под вечер, везя перед собой на седле небольшую корзину с лепешками, и перекинутую через плечо связку луковиц.

Рамиро пошел к нему, крича:

— Ради Бога, дайте мне одну луковицу и кусок хлеба!

Человек не остановился.

Тогда Рамиро повторил громче и с некоторой угрозой:

— Ради Бога, дайте мне кусочек хлеба!

Но незнакомец, придерживав на секунду мула, сухо ответил:

— Было бы много лучше, если бы вы пошли зарабатывать его собственными руками. Уж не думаете ли вы, что подобная гнусная праздность может искупить преступления и предательства?

Рамиро преградил ему дорогу и, схватив одной рукой мула за узду, другой поднял бронзовое распятие и повторил:

— Говорю вам, дайте же мне несколько крошек, ради господа нашего Иисуса Христа!

Тогда старик, перегнулся вперед и вместо ответа, с

дикой яростью плюнул дважды на святой образ Спасителя. Рамиро вскрикнул от ужаса. Он зашатался, раздираемый двумя противоречивыми чувствами. Наконец, побежал в пещеру, схватил шпагу и бросился прямо на старика, намереваясь убить его на месте. Но в ту минуту, как он занес шпагу, чтоб вонзить ее в эту кощунственную грудь, громкий и властный голос, проникший в самую глубину его души, остановил его:

— Ах, Рамиро, Рамиро, одного только и недостает, чтоб ты зарезал того, кто породил тебя!

С этими словами, старик снял свою широкополую шляпу, чтоб лучше было видно его лицо. Рамиро с глубоким волнением узнал таинственного незнакомца, появлявшегося в предместье Сантьяго, самоотверженного мориска, спасшего ему жизнь и подарившего ему потом на память драгоценный сарацинский кинжал.

— Да, я зачал тебя с гордой доньей Гиомар, — продолжал старик, — но дед твой предпочел выдать ее за престарелого дон Лопе, из ненависти к моему племени и к моей вере. Потом, в Авиле, я вторично подарил тебе жизнь, когда спас от кинжалов правоверных; за это меня изгнали из Кастилии, как изменника. Ты же, Рамиро, заплатил мне полновесной христианской монетой, ты нарушил свою клятву и предал инквизиции несчастную Гулинар и Аишу, благородную Аишу, святую Аишу, чтобы их бросили на костер, за то, что они лечили тебя и ухаживали за тобой со всей любовью, какую к тебе питали!

Слезы хлынули из его глаз, и он воскликнул дрожащим голосом:

— Ах, я не прокляну тебя, потому что проклятие отца всегда бывает услышано Аллахом ... нет, я боюсь проклясть тебя...!

С этими словами он махнул левой рукой назад и сильно ударив пятками мула, бросил на землю все лепешки и исчез между скалами.

Рамиро молча смотрел ему вслед, потом вернулся в пещеру и сел в самый темный угол, прижимая к груди распятие.

Что он слышал? Его отец? Мориск!

Все мучившие его в жизни загадки теснились в его памяти: одинокое детство, суровость деда, постоянная печаль и слезы доньи Гиомар, странные слухи, вызванные его приключением с маврами, внезапное отдаление Беатрисы, оскорбление, брошенное ему Гонсало на улице... бескорыстная любовь этого человека чужой веры, чужой расы! И он увидел, что все становится ясным и понятным при свете этого ужасного сообщения.

Неужели это правда? Неужели он, действительно, сын мавра?! Ах! тогда лучше вскрыть себе жилы, и пусть вся кровь его впитается в землю этой безвестной пещеры! Рассудок его рухнул в головокружительную бездну. Мысли выли и крутились в голове, как вихри в бурную ночь. Он не хотел, не хотел думать, и вонзал себе в лоб ногти, махал во мраке руками, шумно дышал, как человек, обезумевший от страха; но мысль возвращалась все более и более беспощадная, яркая, впивалась все глубже. Он то смеялся над своей доверчивостью, отвергая, как величайшую нелепость, слова мавра; то проникался полным убеждением в их истинности и удивлялся как это он до сих пор сам ничего не заподозрил, среди стольких указаний.

И вдруг ужас такой неуверенности заставляет его вскочить на ноги. Он зажигает ночник. В голове его мелькает какая-то мысль. Он встает на скамейку, снимает со стены пещеры старое платье и сапоги. В штанах зазвенел кошелек с деньгами.

Сменив свою власяницу на это старинное одеяние и опоясавшись шпагой, он вышел из пещеры и ночью пустился в путь. В голове его оставалась только одна мысль — бежать без отдыха к морю, только одна надежда — попасть на какой-нибудь галион!

Он мечтал о далеких краях Вест-Индии, где растения, плоды, птицы, звезды — все было бы для него ново, где ничто не напоминало бы ему старую и недобрую страну, где он родился, страну, принесшую ему только бедствия, колдовскую порчу, несчастье. Только так он сможет спастись от проклятия, которое поразило его, быть может, еще в материнской утробе.

Он шел не останавливаясь, гонимый, как Агасфер,

таинственным ветром, не шевелившим древесную листву, но противостоять ему он не мог бы, даже напрягая все свои силы.

По вечерам, когда он появлялся на постоянных дворах в своем старинном одеянии и с длинной всклокоченной бородой, не один крестьянин проглатывал залпом свою кружку вина и, крестясь, спасался на двор.

А днем, когда он проходил по деревням, мальчишки издевались над его наружностью и бросали ему вслед ореховую скорлупу и пригоршни пыли.

На деньги, найденные в платье анахорета, он купил мула для сокращения пути и плащ для защиты от непогоды, и после бесчисленных перипетий, прибыл, наконец, в середине декабря, в Кадис²¹⁹).

В тот же день, проходя по улицам, он увидел вывешенное из одного окна боевое знамя; он попросил проводить его к начальнику отряда, ему ответили, что он накануне уехал в Херес²²⁰). Рамиро собрался уже уходить, когда солдат, сидевший на каменной скамье у ворот, крикнул ему:

— Если се-ор кабальеро желает переговорить с альфересом, Пабло Мартинес, так вон он идет, по правую руку от вашей милости.

Рамиро повернул голову и, к великому изумлению своему увидел, что через улицу переходит его бывший паж, в блестящем военном мундире.

Пабильос только что возвратился из Фландрии. В стычке возле Гронингена, два отряда испанских солдат, захваченные врасплох неприятельской атакой, обратились в бегство. Один Пабильос остался на своем посту, без малейшего движения. На следующий день его нашли на том же месте; он лежал ничком, утратив способность речи, и был сильно контужен. За это он был произведен в чин знаменосца. В то время одни говорили, будто к месту его пригвоздил страх, а другие — будто он забился под лафет кулевины; но теперь новые солдаты смотрели на него, как на героя, а все население — как на славу и красу Кадиса. Узнав Рамиро, он

²¹⁹) Кадис, или Кадикс — порт на юге Испании.

²²⁰) Херес — город в Андалусии, известный своим вином.

обещал ему помочь, чем сможет, а когда услышал о его решении поступить солдатом в отряд, сам повел его купить все необходимое для морского путешествия. Они собирались отплыть в Перу в конце декабря.

Двадцать четвертого числа этого месяца, часов около шести вечера, три больших галиона вышли из бухты, распуская один за другим свои многочисленные паруса, быстро окрашивавшиеся в сумерках в яркие золотые и кроваво-красные тона.

На одном из этих галионов находился Рамиро. Он стоял у борта, и взгляд его, воображение и вся душа устремлялись к сказочной надежде, таившейся за горизонтом.

Зажглись три кормовых фонаря, и суда взяли курс на Америку.

А на берегу, у косы Сан-Фелипе, на самом последнем камне, лежала ничком молодая девушка в стоптанных башмаках и смотрела сквозь слезы на эти все бледневшие, все уменьшавшиеся и все более и более удалявшиеся огоньки. Волны прилива, постепенно отделяя скалу от суши, играли скромным зеленым покрывалом девушки, заглушали ее жалобы, уносили слезы и шептали ей на ухо вольную, как беспредельность, безжалостную песнь, смеявшуюся пеной их гребней.

ЭПИЛОГ

1605-й год, в Перу́, в „Городе Царей“²²¹⁾.

Ночь в конце октября. Город спит в ярком блеске звезд, и колокольни его вздымаются местами, чернее ночного мрака. Светящиеся мухи и червячки миррадами зажигаются в садах и пронизывают потонувшие в тени деревья. Влажный воздух напоен ароматами, и, как в тиши полей, звенит концерт сверчков и лягушек, лишь изредка прерываемый голосами ночных сторожей или шагами какого-нибудь гуляки, возвращающегося из притона.

Мало-по-малу сонный свет румянит вершины холмов Сан-Кристобаль и Аманкаэс. Легкий и томный ветерок тянет с моря. Петухи еще не пели.

Недалеко от Большой Площади, по дорожкам садика при скромном доме, взад и вперед, как беспокойный призрак, ходит женщина в белом платье, точно сияющем в сумраке. Это Роса²²²⁾, младшая дочь Гаспара Флорес и Марии де-Олива. Каждое утро, до восхода солнца, она набожно срывает в насаженном ею цветнике цветы, и потом относит их Богоматери с Четками, в соседнюю церковь Санто-Доминго.

Даже в самые темные ночи глаза ее умеют отыскать наиболее пышно распустившиеся венчики, и ей кажется, будто все они зовут ее тайными голосами, стремясь умереть на непорочных алтарях.

В уголке сада, маленькая дверка выбеленной известкой кельи бросает во мрак золотое сияние горячей восковой свечи. Это домашний скит, который Роса построила себе, чтоб предаваться созерцанию и покаянию, не удаляясь от родителей, сестер и братьев.

Не раскаяние и не печали побудили ее избрать такую жизнь. Она родилась святой. Она творит чудеса с колы-

²²¹⁾ Город Царей — Лима, столица Перу, в Южной Америке.

²²²⁾ Роса — испанская форма имени Роза.

бели. Первый вздох ее обвеял весь дом дыханием рая. Она — монастырская лилия, благословенная Богом от корня и до семян. Словно ангелы выполняют и украшают все, за что она берется. Приходящие к ней люди видят вокруг нее неземной свет и ощущают неземную прохладу; а по ночам ее узнают в самых темных комнатах по таинственному сиянию, излучаемому ее волосами.

Ей еще нет двадцати лет, а в Лиме не найдется человека, который не знал бы поразительных чудес, коими Господь выражает ей свою милость. Она одна находит естественным, что птицы садятся ей на плечи, или аккомпанируют своим пением пламенным гимнам, которые она импровизирует под звуки гитары; или, что в дни тяжелых испытаний, когда мать ее или сестры больны, чудесные вышивки появляются мгновенно из под ее иглы, и покрывают одно за другим полотна, а мотки шелков никогда не истощаются.

Она с ранних лет поняла, что для Бога страдание и бедность — высшие добродетели земной жизни; и постоянно посещает больницы, входит в хижины „чолов“ и индейцев, всюду, где свирепствуют лихорадка, язвы, проказа; дает приют в своей молельне старухам, выискивающим себе пищу в кучах отбросов; собственными руками обмывает чумных, больных раком, от которых отказались родные.

Красота ее — ангельская и в то же время волнующая. Она, как свеча — непорочность и пламень. Большие глаза ее горят таинственным огнем и зажигают, помимо ее воли, внезапную страсть в сердцах богатых и добродетельных кабалеро. Мать хочет выдать ее замуж и заставляет наряжаться, подобно другим девушкам; но Роса в каждом наряде умеет найти для себя истязание. Цветочная гирлянда, украшающая ее головку, скрывает терновый венец; надушенные перчатки пропитаны ед'кой жидкостью, растрavляющей ей руки. Наконец, преследуемая угрозами и насилием, она заявила, что принесла бесповоротный обет безбрачия и тайно обручилась с Иисусом Христом.

Однажды ночью, заработавшись при свече, она видела

во сне, будто готовит платье для своей духовной свадьбы и вышивает по золототканной материи девять чинов ангельских и символы Троицы и святой евхаристии. Вдруг, ей почудилось, будто у нее берут из рук иголку. Бледный ангел с черными кудрями вдруг засиял перед ней и подал ей посланные Господом венец из слез и белую ризу, сотканную из струщев прокаженных; а потом развернул венчальную фату, невещественный покров, видимый только душе, фату, сотканную из вздохов и рыданий земного мира.

С бесконечной осторожностью, чтоб не разбудить спящих, отворяет Роса калитку, и выходит из дома, прижимая к груди цветы, что несет Богоматери. Она идет медленно, чуть шевелятся простые и целомудренные складки ее туники. Минутами от сильного запаха цветов она как будто лишается чувств.

Нежный румянец озаряет над крышами опалы зари. Местами соломенные кровли свисают на улицу, словно влажные белокурые волосы.

Одна за другой отворяются двери. Из зарешеченных окон зажженные в комнатах курильницы струят монастырские ароматы. То тут, то там, сквозь жалюзи бесшумно просовывается обнаженная рука и поливает горшки с базиликой. Слышится робкое пенне рабынь, моющих внутренние дворики и крытые галереи.

Роса входит в церковь, благоговейно ступая по темным плитам. Две восковых свечи горят в глубине, у алтаря. В унылом и дрожащем свете их виден черный гроб, и в нем скрещенные руки мертвеца и покрывающий его желтый саван. Ни цветка, ни молитв, ни траурного покрова.

Девушка подходит ближе.

Монах-доминиканец, с бородой и без тонзуры, дремлет на скамье, в нескольких шагах, от гроба. Роса идет к нему. Послушник открывает глаза и бормочет, словно в ужасе:

— Святый Боже! Ее я видел во сне, в этом самом платье, в этом покрывале, с этими цветами!

Потом, поборов свое изумление, тихо прибавляет:

— Господь привел вас, святая дева! Чьи уста молятся о душе этого усопшего лучше ваших?

— Кто это?... — спрашивает Роса, смотря на лицо покойника.

— Точно, я и сам не знаю, — отвечает монах. — Он ни за что не хотел открыть ни своего имени, ни звания; но я могу сказать, что Трагический Рыцарь, как все его звали, совершил великий подвиг покаяния, и что необыкновенную историю его обращения следовало бы обнародовать во всеобщее сведение, для назидания грешников.

Монах колеблется с минуту, потом, устремив на девушку восторженный взгляд, словно перед ним небесное видение, говорит дрожащим голосом:

— Я встретился с ним в Хуанкавэлике, лет шесть тому назад. Он собрал там шайку разбойников, и, по наущению дьявола, я вступил в нее. Мы отправлялись на поиски так называемых „погребенных“ старых гробниц и тайных рудников; и добивались всего ножом и веревкой. Мы забирали в плен касиков²²³⁾, пытали их, а если они упорствовали в молчании, обрушивались на их дома и упивались кровью. Ах, никто не свирепствовал так, как мы! Потом мы являлись в здешний город, в Лиму, и расточали в разврате плоды своих преступлений... Много мог бы я рассказать, но сейчас не время.

Роса вздохнула, а послушник провел рукой по лицу, поднял голову и продолжал свой рассказ:

— Велико всемогущество Божье, сколькими путями ниспосылает оно свет в души, погруженные во мрак! Узнайте же, что однажды тот, что спит сейчас сном вечности, придя со мной причащаться в эту церковь, — ибо он никогда не забывал о величайшем из таинств, — увидел, как вы выходили из двери ризницы, и покинув меня, отправился вслед за вами. Узнав впоследствии о вашей набожности и о том, как вы далеки от всех страстей и приманок света, он все же решил соблазнить вас, или похитить силой. С этой целью, однажды утром,

²²³⁾ Касики — вожди американских индейцев.

он приказал мне принести к вашему дому крытые носилки, а сам перепрыгнул через садовую ограду.

Через час он вернулся с совершенно изменившимся лицом. Подойдя ко мне, он обхватил меня руками за шею и воскликнул: „Она святая, невеста Христа; это Он говорит ее устами.“ И стонал, как человек, не решающийся вырвать из груди вонзившуюся в нее стрелу. С этой минуты он стал следить за вами издали, и видел, как всюду вы изливали свою христианскую доброту. Святая зависть проникла в его очерствевшее сердце, когда он услышал благословения несчастных, и когда увидел, сколько отверженных бросается на колени, чтоб облобызать ваши ноги. Он снял с себя роскошные одежды, роздал свои драгоценности и деньги нуждающимся, и, заразив и меня своим новым увлечением, увел меня с собой в поля, чтобы загладить добром все зло, причиненное там нами. Клянусь! никогда я не мог бы представить себе такого глубокого раскаяния, таких подвигов милосердия и покаяния! Да простит ему Господь его грехи и да даст Он мне время очиститься от моих в этой святой монастырской обители.

— А отчего он умер? — робко и печально спросила девушка, садясь на край скамьи.

— Смерть его, — ответил послушник, — ясно свидетельствует о глубине его раскаяния. Приблизительно в августе месяце, одного туземца, которого он пользовал от страшной ломоты в костях, отправили в Хуанкавелику, на работы в рудник, который называют „Зловонным“. Трагический Рыцарь решил отправиться вместо него, и, переодевшись туземцем, проводил каждый день больше пяти часов в недрах земли. Он схватил там такую жестокую лихорадку, что меньше, чем в неделю, потерял способность двигаться. Я не мог придумать ничего другого, как положить его на мула и привезти сюда, в этот монастырь Богоматери с Четками. И здесь, после долгих мучений, он скончался, сегодня вечером, в девять часов, поразив всю братию своим смирением и высокой верой в милосердие Божие. — А теперь я должен вам сказать, — прибавил он прерывающимся от волнения голосом, — что в последние свои минуты он произносил ваше имя,

святая дева, вместе с именем Христа и Пречистой Его Матери.

Роса подошла к гробу. Сомнений не было: перед ней лежал труп того неизвестного, что перескочил однажды утром через ограду ее сада, она же, не дав ему времени раскрыть уста, сразу заговорила с ним об истинной и божественной любви словами, внушенными, несомненно, свыше.

Тогда, взглядевшись пристально, с глубоким вниманием в его почти бесплотное лицо, она уловила выражение неиз'яснимого блаженства, веявшее от закрытых век, и поняла, что глаза эти, прежде чем окончательно угаснуть, созерцали какое-то ослепительное райское видение.

Она уронила на его грудь цветок, потом второй, третий...

Заря едва освещала храм бледными лучами, проникавшими сквозь витражи, и застоявшееся облако фимиама, дремавшее над хором, по временам разрывалось, как будто в сумраке пролетали ангелы.

Роса де-Санта-Мария благоговейно опустилась на колени и прошептала молитву о упокоении души этого усопшего.

... Таков был подвиг дон Рамиро.

ПРИМЕЧАНИЯ

К стр. 33

I. Мориски (*moriscos*) — крещенные испанские мусульмане, или мавры (*moros*). В течение первых веков „Реконкисты“, т.-е. борьба за отвоевание областей, захваченных мусульманами в восьмом веке, испанские короли терпимо относились к тем маврам, которые становились их подданными. Но, начиная с царствования Фердинанда и Исабеллы Католических, политика эта изменилась, и испанские власти начали принуждать мавров к принятию христианской веры. Насильственному или вынужденному обращению подверглись сначала население Гранады, а затем и мусульмане, проживавшие в Кастилии и Арагоне (так называемые мудехары) и в течение нескольких столетий пользовавшиеся различными привилегиями. Отказ креститься влек за собой изгнание из пределов королевства. Карл I и, в особенности, Филипп II неуклонно проводили эту политику нетерпимости. Но несмотря на гонения, которым они подвергались, мориски продолжали соблюдать мусульманские религиозные обряды, сохраняли свои обычаи, одежду и чуждались общения с христианами. Усиление репрессий против мнимо-обращенных со стороны светских властей, и, главным образом, со стороны Инквизиции вызывало неоднократно восстания морисков, напр., длительный мятеж 1568—1571 гг., о котором идет речь в романе. Наконец, в 1609 году, в царствование короля Филиппа III, мориски подверглись поголовному выселению.

К стр. 35, 61, 95, 269

II. Рамиро с интересом слушает рассказы своего дядьки и зачитывается рыцарскими романами. Вот вкратце раз'яснение тех имен, которые упоминаются в разных местах книги Э. Ларрета.

О мавре Абиндартр áесе (стр. 35) подробно говорится в нашем предисловии. Его походжения описываются в многочисленных „романсах“ и романах. Что касается до авиланских преданий, которые Медрано рассказывает мальчику, то в них нет ни слова исторической правды. Уже в начале XVI столетия были распространены сказания об основании Авилы сыном Геркулеса, „даря испанского“, и о прочих мифических событиях, прославивших в средние века Город Святых. Все эти измышления, в перемежку с истинными фактами, были собраны в 1607 году бенедиктинцем Луисом Арисом в книге, которую М. Мендес-и-Пелайо называет „чудовищной и в первых своих двух частях способной поспорить с самыми умопомрачительными рыцарскими романами.“ Длиннейшее заглавие этой „Истории величия города Авилы“ со-

держит указание на следующие факты: . . . О том, как император дон Алонсо (Альфонс) защищался в Авиле против своего отчима, короля Арагонского. Об ответе Авилы, и о том, как король пошел на Авилу и убил инфантов, которых ему выдали в качестве заложников. О том, как на Бласко Хименеса пал выбор, вызвать короля на поединок и о том, как вероломно убили его . . . Как после смерти короля Альфонса VI военачальники Авилы отправились защищать Толедо против мавров, избравших царем Иесмина, правителя Талаверы, за которого должна была выйти замуж Аха Галиана, жена Нальвильоса Бласкеса, двоюродная сестра Святой Касильды и инфанта Петра. О том, как вследствие ее обращения в христианство инфант вторгся в Кастилию и пошел войной на короля Фернандо I . . . Как Химена Бласкес, тетка Нальвильоса Бласкеса, в отсутствие своего мужа алькайда Эрнана Лопеса-Трильо и военачальников и авиланских воинов, вместе со своими дочерьми и невестками, переодетыми в мужские одежды, защитила город, против могущественного царя Абдаллаха Альхасена . . .“

И Рамиро (стр. 61) и каноник Варгас-Ороско (стр. 95) увлекаются рыцарскими романами. Романы эти проникли в Испанию из Франции (циклы Карла Великого и бретонского короля Артура), отчасти из Италии, где те же темы были очень распространены. К героям бретонского цикла относится Ланселот (стр. 95), влюбленный до самоубийства рыцарь, ради которого королева Жиневра покинула своего мужа, короля Артура; к соратникам Карла Великого принадлежит в позднейших переделках французских эпических поэм и Руджеро (по-испански Рухеро), одно из главных действующих лиц знаменитой поэмы Ариосто „Неистовый Роланд“.

Гораздо большей популярностью пользовались в Испании рыцарские романы, возникшие на испанской почве, но многими своими частностями обязанные французским романам. Первым из них по времени и наиболее прославившимся был рассказ — в трех книгах — о похождениях Амадиса Галльского, написанный Гарси-Ордоньесом-де-Монтальво на основании более старых, не дошедших до нас повестей. Первое сохранившееся до наших дней издание вышло в 1508 г. Амадис — образец совершенного рыцаря, покровитель слабых и угнетенных, бесстрашный защитник справедливости и общественного порядка и в то же время идеал влюбленного. В описании походов Амадиса отсутствует историческая правда; отсутствует правдоподобие и в отдельных фантастических приключениях, которые выпадают на его долю. Но именно фантастика, в связи с высоко-нравственным обликом героя, роман обязан своей долголетней славой; он подготовил также благодарную почву для появления множества других рыцарских романов, высмеянных впоследствии Сервантесом в „Дон-Кихоте“. Многие из этих произведений служат продолжением „Амадиса“: к ним принадлежит четвертая книга „Амадис“, того же Монтальво, известная под заглавием „Сергас де Эспландиан“, где слово „Сергас“ — искаженное греческое „эрга“ — деяния. В ней излагаются похождения сына Амадиса, Эспландиана; Последним в ряду этих подра-

жательных романов была 12-ая книга цикла Амадиса, описывающая подвиги Спльвес-де-ла-Сильва (1546 г.), принадлежащая перу неизвестного автора. Герои всех этих произведений являются детьми, внуками, правнуками героев первого Амадиса; так после Амадиса Галльского появляется его правнук Амадис Греческий. Рыцарь Галаор, имя которого упоминается на стр. 95 — брат Амадиса Галльского.

Имена мавританок — Галиана и Шарифа (стр. 269) заимствованы либо из гранадинских преданий — они упоминаются в числе прекрасных дам Гранады в романе Хинеса Переса-де-Ита (см. вступительную статью), — либо из другого источника; так, скажем о Карле Великом передают, что в молодости своей император жил одно время в Толедо при дворе мавританского царя Галафра и влюбился в его дочь Галиану, которая последовала за Карлом и приняла христианство. Одно из зданий в Толедо было в конце XIII века названо „Дворцом Галианы“.

К стр. 56

III. Антонио Перес — секретарь Филиппа II, снискал полное доверие монарха, но затем впал в немилость (1579 г.). История преследований, которым он подвергался со стороны короля до момента бегства во Францию (1591 г.), полна драматического интереса. В защиту Переса от несправедливых обвинений, выступили граждане Арагона, пользовавшегося в течение веков различными привилегиями; два раза они даже поднимали восстание против представителей короля в Сарагосе. Эти восстания привели к отмене вольностей и к гибели многих свободолюбивых арагонцев, о чем упоминается в романе.

К стр. 105

IV. Соколиная охота была одним из любимых развлечений испанской знати. Редкие породы соколов привозились в Испанию из разных стран Европы. Ряд писателей (в том числе король Альфонс X Мудрый и его племянник Хуан Мануэль) посвящали сочинения вопросу о соколиной охоте и об уходе за птицами,

К стр. 114

V. „Слово о девице Каркайоне, дочери царя Нахраба, и о ее голубке.“ В Каркайону влюбляется ее отец, царь Индийский, и отвергнутый ею, приказывает отрубить ей руки и оставить ее на произвол судьбы в горах. Здесь ей дает приют белая лань. Охотясь за лапью, в пещеру попадает принц Антиохийский и берет Каркайону себе в супруги. Но возненавидевшая молодую женщину мачеха принца изгоняет ее из дому. Готовясь к смерти, Каркайона произносит слова молитвы Аллаху, который навевает на нее сон. Пробудившись, она видит, что Аллах вернул ей руки. Рассказ кон-

чается возвращением Каркайоны к нашедшему ее вновь супругу. Эта легенда, многими своими частностями напоминающая другие популярные в средние века повести, пользовалась большим успехом в Испании и содержит много мусульманских черт, в частности, в эпизоде с голубкой, которая прилетает к покинутой всеми Каркайоне, посвящает ее в тайны Ислама и раскрывает перед нею блаженство рая и муки ада.

О философе Абентофаиле (ум. в 1185 г.) и его сочинениях см. более подробно в статье И. Ю. Крачковского.

К стр. 202

VI. Восстание Общин — движение, охватившее в начале царствования Карла Пятого большую часть главных городов Испании. Города боролись за сохранение и расширение своих вольностей, а также протестовали против явного предпочтения, которое молодой король, избранный в 1519 году на германский императорский престол, оказывал своим приближенным — иностранцам. В числе недовольных было и авиланское самоуправление. В Авиле в июле 1520 года состоялся съезд испанских городов, провозгласивший „Священную Хунту“ для защиты своих прав, и решивший не останавливаться даже перед вооруженным выступлением.

К стр. 209

VII. Согласно старинным законодательным постановлениям (1337 и последующих годов), женщины легкого поведения обязаны были носить желтые чепцы, а впоследствии (постановление 1589 г.) желтые накидки (мантильи). Но прочие гражданки, в интересах которых вводились эти отличительные признаки, старались подражать проституткам в их костюме, что в свою очередь причиняло не мало забот законодателю.

К стр. 216

VIII. Педро I, прозванный Справедливым и Жестоким (1350—1369). Его связь с Марией Падилья, ради которой он бросил свою жену, Бланку Бурбонскую, вызвала волнение среди испанской знати и привела к ряду восстаний, беспощадно подавленных королем.